ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

Поэмы

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

Поэмы

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р2
Ф33

Оформление художника
Ю. Бажанова

Ф $\frac{4702010200\text{-}143}{028(01)\text{-}83}$ 75-83

ОТ АВТОРА

Составляя эту книгу, с некоторым удивлением заметил, что добрую половину всей моей поэтической продукции представляют поэмы. Пристрастие к этому жанру проявилось во мне с первыми стихотворными опытами. Разумеется, первоначальные опыты в этом жанре не были поэмами в моем нынешнем понимании, а, скорее всего, представляли рыхлые композиции, видимо, потому и не удержавшиеся в памяти.

Более серьезная, точнее — более целенаправленная работа над поэмой началась для меня после «Лирической трилогии», вышедшей отдельной книжкой в 1947 году в новосибирском издательстве. Эта небольшая книжица стала прародительницей всех моих последующих поэм — от «Далекой» до «Седьмого неба» и «Женитьбы Дон-Жуана». Такая роль выпала ей не в силу ее первенства, а по той причине, что в ней были заложены темы, которые я потом разрабатывал уже более крупным планом — например, тему Родины в «Белой роще», красоты в «Проданной Венере», любви в «Золотой жиле». А что касается «Далекой», то она непосредственно примыкает к «Лирической трилогии».

«Лирическая трилогия» рождалась под знаком музыки. Музыка играет в ней конструктивную роль. Через нее не только передается настроение лирического героя, но и организуется материал.

О, музыка,
Где в каждой гамме
То вознесенье, то обвал...

Такую же роль она играет и в «Далекой», даже большую. Здесь через музыку намечены даже характеры, которые появятся затем в других моих поэмах уже без ее посредничества. Музыкальные мотивы первых вещей позволили мне потом подойти к созданию характера Бетховена. Словом, между всеми моими поэмами есть видимые и невидимые связи, что, на мой взгляд, делает эту книгу не механическим собранием разных поэтических произведений, а единым сложным организмом, пережившим разные этапы своего развития.

Одним из таких этапов было для меня написание «Проданной Венеры». В основу замысла поэмы положен действительный факт жизни. В годы строительства Магнитки и Кузнецкстроя мы вынуждены были продать за рубеж ряд шедевров мировой живописи, среди которых находилась Венера Тициана. Она-то и помогла мне создать образ деревенской красавицы Наташи Граевой, в труднейших испытаниях жизни, в непомерном труде военных лет утратившей свою красоту. Сопоставление двух судеб, столкнувшихся в поэме, красоты вечной и земной, дали мне возможность вывести поэтическую формулу:

За красоту времен грядущих
Мы заплатили красотой.

Шел 1955 год. К этому времени мы залечили самые глубокие раны войны. Понесенные утраты обострили в нас чувство прекрасного. Время созрело для красоты. Поэма была замечена. Критика отмечала, что в ней впервые тема красоты рассматривается, как категория социальная. Но это потом. Поначалу же были и упреки. Один критик, к слову сказать, упрекал меня за то, что на примере Наташи Граевой я принизил роль труда. Слава богу, что нашим женщинам уже не приходится теперь спускаться в шахты, стоять у мартеновских печей и таскать на своих плечах пятипудовые мешки.

С появлением «Проданной Венеры» я еще больше утвердился в своем пристрастии к жанру поэмы. Возможности этого жанра для меня расширились до воссоздания характеров таких, как Аввакум и Бетховен из

одноименных поэм, как Глаша и Харитон из «Золотой жилы».

Мне много дала работа над образом Ленина в поэме «Ленинский подарок». Давать вождю внешние характеристики было почти бессмысленным, ибо его облик, воссозданный искусством и литературой во множестве, стал уже достоянием всего человечества. На мою долю оставался, может быть, речевой акцент, подкрепленный жестом. В поэме зафиксирован момент, когда Владимир Ильич спорил с меньшевиками, пытавшимися сорвать брест-литовское перемирие с немцами. На вопрос раненого солдата — надо ль замириться с буржуазией мировой? — Ленин отвечает:

Когда за власть буржуи ссорятся,
Война народу не с руки...
Нет, нет! И пусть не хорохорятся
То-о-варищи меньшевики!

Словом, эпический элемент в моих поэмах стал преобладать над лирическим. Герои с их страстями потеснили автора и начали диктовать ему свои условия.

В этом есть любопытнейшая закономерность. Характер или наметки характера, взятые из реальной жизни и перенесенные в поэму, начинают жить своей собственной автономной жизнью. Чем выразительней образ, тем он самостоятельней и требовательней, поэтому надо особенно чутко следить за внутренними связями поэмы, за ее самостоятельным кровообращением. Поэтическая логика становится для поэта выше фактов жизни в их реальных подробностях. Некоторых поэтов подводит фактография. Ложно понятая «верность жизни» приводит к искажению образа. Мне более по душе пушкинское признание: «Над вымыслом слезами обольюсь». Но для этого требуется еще большее знание жизни.

Что такое поэма и чем она привлекает меня?

Нет более ошибочного представления, что поэма — это просто-напросто большое стихотворение. Прежде всего, для поэмы нужны конфликтные ситуации, а для стихотворения они не обязательны. Притом нужны конфликты, приводящие к качественным изменениям: Ната-

ша Граева до испытаний и после, Харитон до встречи с Глашей и после, и т. д.

У поэмы бо́льшая достоверность событий, их связей и столкновений, особенно у поэмы характеров. Герои поэмы контролируют материал, принимают или не принимают то, что предлагает поэт — и в смысле поступков, и в смысле их словесного выражения. Не говорю уже о прямой разговорной речи героев, требующей полного соответствия их характерам и поступкам. Здесь не должно быть авторского произвола. Бумага все стерпит, а человек нет. Поэма с героями всегда трудней.

О поэме, ее отличительных признаках можно было бы говорить много — о формах ее стиха, о ритмах, об интонациях, об атмосфере и колорите, о ее коммуникациях, о полифоничности, но все это требует специального разговора, а не скороговорки. Разумеется, работая над поэмой, автор не думает обо всем этом в отдельности. Но в такой работе должен присутствовать бо́льший элемент сознательности, который тем легче может потом проявиться стихийно.

Работа над поэмой требует от поэта много, но и много дает. По существу, рабочий процесс над ней — это процесс познания жизни. Для меня написать поэму — это узнать, что́ бывает и ка́к бывает. Важен исходный толчок, в остальном же полагаюсь на художественную логику, которая открывает все остальное. Есть логика движения, развития, логика характеров и поступков, которая позволяет мне моделировать свой поэтический мир. Такой метод работы, как и физиков в их опытах, приводит порой к результатам, неожиданным даже для самого поэта. Вспомните Пушкина, который с удивлением сообщал друзьям, какой фортель выбросила его Татьяна. Я например, знал, что мой друг Дон-Жуан женится, но я не знал, что бывает, когда женятся Дон-Жуаны. Для этого нужно было написать большую поэму с печальным концом.

Счастливые концы всего милей,
Но я писал без мысли, чтобы легче,
Нет, не стихи, а судьбы человечьи
В мучительных исканиях путей,
В исканиях любви — до пониманья
Ее, как высшего
В нас достоянья.

Меня давно тянуло к большой многоплановой форме поэмы, но первые опыты оказались неудачными. Одна из них, начатая после «Марьевской летописи», разбухла до двух тысяч строк, однако потом две трети ее объема оказались лишними. На этом этапе мне очень помог совет А. Твардовского, однажды сказавшего, что поэту важно выиграть бой на малой площадке. Тогда-то и была написана «Белая роща» и другие поэмы, получившие известность. К поэме «Седьмое небо», отнявшей у меня около девяти лет, я приступил, когда мной было уже написано пятнадцать поэм, часть которых в эту книгу не включена.

«Седьмое небо» — это произведение о моем поколении с его довоенной романтикой и суровой реальностью войны. Эта поэма о годах нашей юности с их взлетами и социальными издержками. Я писал ее в пору, когда новое поколение открыло космическую эру и Гагарин совершил свой первый звездный полет. Известие о его полете совпало со временем работы над четвертой главой с названием «Земля и Вега», в которой мой герой Василий Горин рассказывает о своем фантастическом пребывании на далекой звезде. Реальное событие стало продолжением сна. В этом счастливом совпадении я увидел добрый знак и закончил главу размышлением о дерзком полете.

Чтоб, дерзкий,
Ты взлетел с рассветом
И возвратился в добрый час ,
Мы всё стерпели,
Но об этом
Я поведу другой рассказ.
Я расскажу иными днями,
В словах по сердцу и уму,
Какими трудными путями
Мы шли к полету твоему.

Гагаринский полет не принизил аэроклубных полетов моих героев, а космический аппарат не развенчал те боевые самолеты, которые они строили. Наоборот, и аэроклуб, который я закончил вместе с ними, и самолеты, что строил я восемь лет, высветились для меня по-новому. Во мне проявилось чувство причастности к великому событию века, что особенно дорого. Как сказано в одной из глав: «Кто хоть однажды был крылатым, приписан

к небу навсегда». Судьба Горина во многом автобиографична, и когда я писал от его имени, я, по существу, писал о самом себе.

В «Седьмом небе» мне, на мой взгляд, в какой-то мере удалось реализовать свою давнюю мечту о многоплановой поэме с эпическими героями. Не каждый герой дает возможность рисовать социальную картину мира, а вот Горин, Марьяна и Борис с их сложной любовью даже и не мыслились вне социальных потрясений. Другое дело — Дина. Она вошла в жизнь Горина, как явление частное, по-своему нравственное. Потому-то главу о ней я и назвал «Лирическим отступлением».

Философы
И просто умницы
По песням, что вокруг поют,
И по тому,
Как людям любится,
Здоровье мира узнают.

В общем-то герои «Седьмого неба» — люди обычные, если не считать Звезданы, явившейся Горину в ареопаге звездного суда. Но поскольку он оказался на Веге во сне, то и она, как видение, не вызывает иных толкований.

Зато Дон-Жуан — главный герой моей последней поэмы кое-кого озадачил. В нем усмотрели мой отход от своих прежних принципов реализма. Признаться, правоверным реалистом я никогда не был. Мне всегда претила излишняя приземленность. В «Проданной Венере» у меня действует тициановская Венера, в «Седьмом небе» — только что упомянутая Звездана. Почему бы не рассматривать и Дон-Жуана в этом ряду как развернутую метафору исторического образа, ставшего моим современником? Видимо, об этом стоит сказать подробней.

Как бывало и прежде, эта поэма явилась для меня полной неожиданностью. Сначала хотелось написать стихотворение с названием «Женитьба Дон-Жуана», проследить чисто психологический момент такого шага, что само по себе настраивало на иронию и шутливость. Если бы стихотворение написалось, о поэме не было бы и речи, однако при многих попытках мне оно не давалось по формальным обстоятельствам. Привычный и верный мне ямб на этот случай оказался

бессильным, может быть, по той причине, о которой сказано в самом начале пушкинской поэмы «Домик в Коломне»:

Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.

Случилось, что меня, наоборот, выручила мальчишеская забава. Когда-то в своей деревне Марьевке, бегло знакомый с октавой и спенсеровской строфой «Чайльд Гарольда», не имея их под рукой, я начал сочинять что-то шутливое, будучи уверенным, что пользуюсь одной из этих классических форм. К моему позднему удивлению, моя «октава» оказалась строфой, которая мне пока не встречалась в русской поэзии, а главное — она пришлась к моему двору, к замыслу, внеся в него некие мечтания моей ранней юности. Объемная форма строфы открыла мне возможности поэмы.

В подзаголовке поэма названа иронической не для оправдания шутливости, насмешливости, даже сарказма ее отдельных мест. Ирония в ней, на мой взгляд, носит структурный характер. Со многих явлений — и социальных, и просто человеческих — она должна снимать элемент привычности, обнаруживать в этой привычности и комическое, и трагическое даже в их соседстве. Ирония вообще обладает пластикой тональных переходов. Кстати, эту роль в моих ранних поэмах выполняла музыка, приходившая в поэму со стороны, а ирония, что особенно дорого, порождена самой поэмой.

Вернусь к тому же вопросу: а зачем далекого нам Дон-Жуана делать нашим современником? Можно было бы ответить, что так в свое время делали и Мольер, и Байрон, и Пушкин. Но этого мало. Для современных событий с их бытовыми подробностями мне нужна была историческая координата. Дело в том, что многие узлы нашей морально-нравственной жизни, которые мы распутываем, были завязаны в далеком-далеком прошлом. Сохраняя преемственность прежних Дон-Жуанов с их романтическим ореолом, мой Жуан в жажде истинной красоты и семейного счастья, как одного из главных

смыслов жизни, проходит путь от героя и полубога к человеку.

Читатель моих поэм легко заметит, что в них я не придерживаюсь границ — ни городских, ни заводских, ни деревенских. А между тем наша критика любит раскладывать поэтов по полочкам: одного наречет поэтом рабочей темы, другого — поэтом земли. Легко может статься, что кому-то и чему-то критика не найдет своей специальной полочки. Поэт всегда должен быть шире таких дробных представлений. Как форма, синтезирующая разнообразные явления жизни, поэма как раз и спорит со всяческой дробностью. Поэту прежде всего принадлежит человек, а в человеке — весь мир.

Вас. ФЕДОРОВ

Малеевка
Март 1982 г.

Поэмы

Лирическая трилогия
Марьевская летопись
Ленинский подарок
Далекая
Белая роща
Проданная Венера
Золотая жила
Бетховен
Аввакум
Седьмое небо
Женитьба Дон-Жуана

Лирическая трилогия

ВСТУПЛЕНИЕ

Где началось,
В какие сроки
Завязывался узел тем?
Когда и как твердели строки
Моих лирических поэм?

Была зима.
На город падал
Тяжелый снег.
А время шло...
Был день, когда из Ленинграда
Пришел последний эшелон.

И сердце, как оно забилось,
Когда среди густой толпы
Мне бледное лицо явилось
Моей кочующей судьбы!

И грудь,—
О, как она вздохнула! —
Необычайное сбылось.
В ней что-то двинулось,
Толкнуло
До крика,—
Так и началось!

О НЕЙ

Не вынес я тоски недель...
По улице, опять преградой,
Метет, метет, метет метель,
А мне тебя увидеть надо.

В сугробы снега и лога,
Косматой буре на рога
Бегу — навстречу вихрей стадо.
Заполонило белый путь,
Ударило...
Что будет — будь.
Но мне тебя увидеть надо.

Вот клуба снежное крыльцо...
Увидеть, одолев преграды,
Глаза твои, твое лицо
Во что бы то ни стало
Надо.

А на висках две жилки бьются,
Две жилки бьются...
Любовь кричит: как поступить?
Переступить или вернуться?
Переступить или вернуться?
И решено — переступить!

* * *

О, музыка!
Слепой подкоп
К душе взволнованной...
Не надо
Идти куда-то далеко,
Чтоб оказаться с милой рядом.

Высок балкон...
Вот свет потух,
Не затемняя лишь оркестра.
Мой взгляд,
Упавший в темноту,
Разбился о пустое место.

* * *

Все ждут чего-то,
Все молчат,
Тая подобие улыбки.
Вот на колени скрипачам
Уселись маленькие скрипки,
Совсем как дети.
Зал притих.
Напев смычка ударом начат.
Кричу:
— Зачем вы бьете их?!
Не бейте их, они заплачут!..

Я нехотя закрыл глаза,
Когда, откинувшись крылато,
Маэстро резко приказал
Наказывать невиноватых.

Но вдруг
Из глубины наверх,
Его велению послушен,
Летит необъяснимый смех,
Летит с эстрады
Прямо в душу.

То листьев шум,
То резкий треск,
В надломе веток — брызги соков;
То лебедей ленивый плеск
В зеленых зарослях осоки;
То ног босых звучат шаги
Над мягкою прибрежной глиной;
То зыбкие круги, круги
Под резкий всполох лебединый...

Воображенью нет границ.
Ведь это я лесной тропою,
Прилетных вспугивая птиц,
Пришел, как в сказке,
За тобою.

Как будто
В приступ доброты
Волшебной палочкой взмахнули,

Чтоб все вернуть.
Но где же ты?
Тебя-то мне и не вернули!

* * *

Как пламя яркого огня,
Не потухающего вечно,
Ты мне нужна не для меня,
Нужна ты истине сердечной.

Когда-то у родных полей
Я тайну о тебе подслушал.
Напев о красоте твоей
Запал в ребяческую душу.

Тогда к деревьям у пруда
Я обращался с горькой речью:
«О, неужели никогда
Я на земле ее не встречу?!»

Тогда с тревогою к воде
Я подходил как можно ближе:
«О, неужели же нигде
Ее лицо я не увижу?!»

Я в поисках провел года,
Переходя через утраты.
О, неужели никогда
И не поймешь ты,
Как нужна ты!

Нужна, как воздух для огня,
Чтоб не погас он скоротечно,
Нужна не просто для меня —
Ты истине нужна сердечной.

* * *

Зал без тебя
И пуст и незнаком.
Как будто зная о моей обиде,
Ты прошумела легким ветерком,
Чтоб я тебя,

Желанную,
Увидел.

Где ты была?
Откуда ты взялась?
А сам стою, не смея оглянуться.
Ты от моей души оторвалась,
Чтоб все пройти
И вновь ко мне вернуться.

* * *

И сразу чем-то полевым,
Забытым на сердце пахнуло.
С плеча ее, как легкий дым,
Сползала шаль на спинку стула.

Поношенная бахрома
Напоминала злые зимы.
Любовь, как музыка сама,
Словами мало выразима.

Большие
Звездные глаза,
Гася ресницами мерцанье,
Уже осматривали зал,
Наполненный рукоплесканьем.

Вот локон темный отвела
С лица
В бледнеющем отливе,
Откинулась и поплыла
То медленней,
То торопливей...

Она проходит.
Я стою
И чувствую, что стало душно.
Взглянула в сторону мою
И отвернулась равнодушно.

Но, даже залитый стыдом,
Я все чего-то жду упрямо.
Взглянула только...

А потом
Прошла —
И кончена программа.

* * *

Без тебя,
Без ушедшей,
Остались со мной
Лишь утраты.
Я почти сумасшедший...
Вот до чего довела ты!

* * *

Любовь к тебе,
Стыдясь, не спрячу.
Что ж, если сможешь — отбери!
Своей поэзии незрячей
Я брал тебя в поводыри.

Но незаслуженной обиде
Теперь надолго в сердце тлеть.
Я так хотел тебя увидеть,
Что смог и без тебя прозреть.

Но долог путь,
Тоска сильнее,—
Кто знает, может, до седин...
Мне будет без тебя труднее,
Пойми!..
Ведь я пойду один.

Иду с надеждою на встречу...
В мое лицо,
В глаза,
Как в цель,
Стреляя белою картечью,
Метет,
Метет,
Метет метель...

А вдруг придешь
И встанешь близко,

Уже спокойна и тиха,
Как равнодушная приписка
К моим взволнованным стихам.

НА ГЛУБИНЕ

Прости за то,
Что я не смог
Писать по линиям,
Что прямы,—
Ты видишь начертанья строк
Неровных и кривых, как шрамы.

Не отвергая,
Все прочти.
Душа окрепла, стала гибкой;
Она сумела прорасти
Сквозь горе радостной улыбкой.

* * *

На город мой
Опять парадом,
Под злое карканье ворон,
Плывет небесная армада,
Плывет железная,
И он
Насторожился.
Где спасенье,
Когда, сводящие с ума,
За потрясеньем потрясенье
Она бросает на дома?

То молний
Красные зигзаги
Пронзают край подземных круч;
То, словно траурные флаги,
Свисают клочья черных туч.

Она плывет
Над новой целью,
Она плывет. Пощады нет.
Настала ночь,
Но в подземелье
Спасительный зажегся свет.

* * *

Передо мной
Подземный ход,
Ступени вниз — входить бы надо...
Стою у заводских ворот
Под натиском дождя и града.

Казалось,
Каждый миг грозил.
По телу пробежали токи
Глубоких потаенных сил,—
Но я стою, читая строки:

«Перед тобою цех.
Ты в нем
Испытан будешь,— не легко там! —
На твердость долгую — огнем,
На прочность — временем и потом,
На верность — мукою».

И вот
Незримо кто-то дверь раздвинул,
Тихонько подтолкнул вперед
И надолго меня покинул.

В сиянье электроогня,
Сутуля старческие плечи,
Встречает у ворот меня
Начальник цеха:
— Добрый вечер!..

* * *

Со ступеней на мрамор плит
Струился отблеск розоватый,
И я спросил:
— Что там гудит? —
А он сурово:
— Век двадцатый.

И рокот стал еще грубей!..
У потолка, взлетевший шустро,
Ошеломленный воробей

Цеплялся лапками за люстру,
Затрепыхался и повис...
Лети за мною, птица-вестница!

Я сделал шаг,
И мы поплыли вниз
На темноватом гребне
Узкой лестницы.

Припоминалась тишина метро,
Блеск мрамора,
Не омраченный тенями.
А здесь за мной
Под музыку ветров
Война сползала
Теми же ступенями.

Уже внизу,
Где я стоял,
На плиты грянул свет картечью.
— Что впереди?
— Судьба твоя! —
Так надо же идти навстречу!..

* * *

И я пошел.
Какой простор
Скрывали узкие ворота!
Передо мной ревел мотор
Невиданного самолета
Так яростно, что я едва
Мог разобрать станков погудки...

Она шла мимо.
— Кто?
— Вдова...
— Давно?
— Пошли вторые сутки.

О, как же быстро угасал
Тот яркий золотистый локон!
Когда-то синие глаза
Глядели как бы издалека.

Но мнилось,
Здесь на глубине
Ее глаза, со мной встречаясь,
Через туманы шли ко мне,
Все шли и шли,
Не приближаясь.

— Вот мы и встретились с тобой.
Ты — все такой, а я повяла...—
И отрешенно повторяла: —
Ты — все такой, ты — все такой...
Скажи, чем жизнь оборонить,
Каким трудом,
Каким гореньем,
Чтоб навсегда похоронить
И войн
И болей повторенье?..

* * *

— Такое горе не пройдет!
Она навек затосковала...
Ты понял, что ее гнетет?
Ты слышал, что она сказала?

Мой спутник принялся ворчать:
— Подумай, да ответ неси ей.
А ведь на это отвечать
Всем миром надо,
Всей Россией,
Да так,
Чтобы ответ был крут,
Упруг и прочен, как пружина.
Я лично верю только в труд,
В труд и металл.
Нужна машина!
Ты самолету отдаешь
Все для того,
Чтобы взлетел он.
И потому он так хорош.
А знаешь, из чего он сделан?

Блестя,
От нас недалеко,
Стоял тот в солнечном металле.

— Все кажется — из пустяков,
Из хрупких, крохотных деталей,
Но мысль конструктора прошла,
Все оглядев и все потрогав,
И каждая деталь нашла
Свою великую дорогу.

Так в каждом,
Кто себя найдет,
Кто посмотреть вперед решится,
Все неживое — отпадет,
Все лишнее — отшелушится.

* * *

От купола
За белый круг
Перепорхнул и закружился
Мой маленький крылатый друг.
— Смотри, да он, никак, прижился
И вьет гнездо?
Ну, впору, вей!

Над радугой
Спиральных колец
Ловчился серый воробей —
Мой превеликий чудотворец.

«Чего-чего,— шумит,— я мал!
Чего-чего!..»
Взмахнул крылами,
Перевернулся и поймал
Он стружку яркую, как пламя.
Понес в гнездо.

И даже сон
Не каждому такой приснится:
Под куполом казался он
Какой-то сказочной жар-птицей.

* * *

Шурша разводами колес,
Ведущим новой эскадрильи
Наш «Як» торжественно пронес

Свои размашистые крылья,
Где надпись просто, без прикрас,
Мне говорила лучше оды,
Что этот фронтовой заказ
Получен был от пчеловодов.

А рядом,
К золотым словам
Приглядываясь оком древним,
Шагал неторопливо сам
Военный атташе деревни.

— Спасибо, детки, за труды,
Спасибо!.. Не видал такое!..—
И луч библейской бороды
Свивал дрожавшею рукою.

— Машина эта — в самый раз.
Таких бы нам теперь поболе!..—
Из-под бровей не видно глаз,
Но ясно, что старик доволен.—
Когда б еще была пчела
Здесь нарисована...
Смекнули?!
Чтоб, значит, знала немчура
Про необыкновенный улей!
Начнут враги атаковать,
А нашу марку тут и видно!..

— Дед, кровное-то отдавать,
Поди ведь, как-никак, обидно?

Взглянул из-под седых бровей
И чуть ворчливо:
— За два года
Я, дитятко, трех сыновей
И десять внуков
Миру отдал.

* * *

Дыханием горячей страсти
Обдав чешуйки-кирпичи,
Открылось чрево

В красной пасти
Проголодавшейся печи,
И, губы
Стоязыко тронув,
Мне высказала нрав крутой,
Подобно алчному дракону,
Не утоленному едой.

Глотает жадно:
Мало! Мало!..
Уже давно потерян счет
Брускам холодного металла.
Она все дышит:
Дай еще!..

Она все просит:
Мало! Мало!..
На брусья, взятые валком,
Из чрева пламя набегало
Чуть розоватым молоком.

Уже дымятся рукавицы,
На пальцах — иглы теплоты...
И, словно в сон, приходит рыцарь,
Приходит он из темноты.

Движения резки и грубы.
Казалось, презирая зной,
Он вырывал дракону зубы,
Сверкающие белизной.

А сталь кидало в белый холод,
А сталь бросало в ярый жар,
Под сокрушительный удар,
Под черный многотонный молот.

Он твердил:
«Ты такая! Такая!
И спасу, и пять раз погублю.
Не за твердость тебя упрекаю —
Я за твердость тебя и люблю».

И гуляли вокруг лихорадки,
Все двенадцать сестер,

Будто встарь,
И трясли в заведенном порядке
Добела накаленную сталь.

* * *

Часы идут,
Часы бегут,
Часы летят...
Рубаха преет.
Твердит боек:
«Ты тут, ты тут.
Спеши, спеши.
Там ждут, там ждут...»
— Товарищ, подавай быстрее!

Напарник поглядел в глаза мои,
Заметил, словно невзначай:
— Ты, брат, сегодня на экзамене,
Смотри, того... Не подкачай!..

В глазах рябит.
Который час?
Не вижу...
Мой напарник рядом:
— Мне это — что!
Вот помню, раз,
Над Волгою,
Под Сталинградом...

А сам стоит и улыбается,
Мне странную ладонь дает:
— Тебе пятерка полагается,
А у меня недостает...

* * *

Я дни и ночи пробыл тут.
Идем на свет.
Когда б вы видели,
Сказали бы, что так идут
Из первой битвы победители.

Туда, где заревел мотор,
Ведет нас путеводный вектор.

Минуем узкий коридор,
Проходим дальше,
Где прожектор
Огромным пауком повис,
Притянутый за лапы блоком,
Без устали смотрящий вниз
Единственным молочным оком,
Прозрачно-белым, неживым...

Когда мы оказались рядом,
Он мерил глубь сторожевым,
Все время неподвижным взглядом.

Скажи, не ветер ли качнул
Лучей протянутые нити?
— Там самолеты.
Их начнут
Сейчас выкатывать.
Глядите!

И вот,
С туманом в перехлест,
Урча и поводя плечами,
Входил на нерушимый мост,
Вплотную устланный лучами,
Наш «Як».
Он выводок родни
Вел за собой:
Все «Яки», «Яки»...

И вскоре шли как бы одни
Опознавательные знаки.

* * *

Прожектор двинул белым оком,
Лучами темень прободав.
Я весь пронизан
Страстным током,
Бегущим не по проводам.

Где золотистая пылинка
Летит в луче — не удержать,
Где каждая моя кровинка
Спешит до сердца добежать;

Где отстоялась воля предков,
Готовая отвагу влить,
Где каждая живая клетка
Спешит о жизни заявить.

Я вижу все, что окружает,
И даже вижу, как в беде
Сама победа отражает
Свое лицо в моем труде.

Хотя ни мира, ни покоя
Мой труд еще не отразил,
Но я увидел в нем такое,
Что выше всяких темных сил.

И потому
В бою жестоком
Пощады недругу не дам.
Я весь пронизан
Страстным током,
Бегущим не по проводам.

ПОЭМА О ДОМЕ

«Любимая, когда и где мы
Найдем пристанище с тобой?»
Так появилась третья тема,
Заполнившая все собой.

Сначала — непонятным комом
Давила на сердце, потом
Я занялся проектом дома —
Любому счастью нужен дом.

* * *

Котенок, словно ниткой пряжи,
Играет тоненьким лучом.
Игра его — одна и та же,
Ему и горе нипочем.

Смотрю я на его наскоки,
Смотрю и думаю о том,

Как спроектировать высокий,
Необычайно светлый дом.

Пришли назначенные сроки,
Пришли, и стало невтерпеж.
Стоит в моем углу упреком
Мой забракованный чертеж.

Экзамен был, и, помню, некто
В неудовольствии большом
Мои красивые проекты
Перечеркнул карандашом.

Никто не проявлял участья.
Никто!
Все чертежи в тот миг
Я мог бы разорвать на части,
Боясь вещественных улик.

Но я остался с ними — весок
Был свиток всех моих обид.
Он, словно дерева отрезок,
Что белой берестой обвит.

Как незапамятную давность,
Развертываю на листе
Отображенную туманность
Упрямых творческих страстей.

Остановился на изломе
И думаю: пора решить,
Что будет, если в этом доме
Она не согласится жить?

Так для кого ж,
Себя спросил я,
Так для кого же строю я?
Он и высокий и красивый,
Но по всему — не для жилья.

Как по заснеженной долине,
На белом ватмане, вразброс
Метался вихрь забытых линий...
Трескучий северный мороз
Коробил широту проекта.

Я наклонился над листом,
Где некогда суровый некто
Перечеркнул тот вихрь крестом;
Где украшением портала
Колонна, не страшась высот,
Гиперболически взлетала
Под сказочно-хрустальный свод.

Но все, чем он был изукрашен,
Мне говорило об одном,
Что для такой любви, как наша,
Я должен строить новый дом.

То, что отцу всего дороже,
Передается сыновьям...
Хочу воздвигнуть непохожий
На тот, в котором вырос я.

Хочу, чтоб отдохнули шеи,
Что потолком утомлены
В подземных улицах войны,
В ее землянках и траншеях.

Но прежде чем коснуться камня
Искрометательным резцом,
Любимая душа нужна мне,
Что станет чистым образцом,
Который новый мир покажет,
Открыв его своим ключом...

А вдруг она на это скажет:
«Ну, что же, строй.
А я при чем?!»

* * *

О, музыка,
Где в каждой гамме
То вознесенье, то обвал...
Крадусь неслышными шагами
По лестнице, где я бывал.

Она, поблескивая тускло
В легко колеблемых лучах,

Легла, как высохшее русло
Большого горного ручья,
Где воды вечность испарила
И только камни сберегла...

Я опираюсь на перила
Руками, как на берега.

* * *

Свободней легкого эфира
Все скрипки,
Да, все до одной.
Звучат напоминаньем мира,
Давно порвавшего со мной.

О, как понятна и близка мне
Их тема мудрая о том,
Как выстроить, слагая камни,
Необычайно светлый дом.

Легко настроенные бродят
По неустроенной душе,
Как будто линию проводят
На непонятном чертеже...

Все видим,
Ничего не скроешь.
Надолго потеряв покой,
Ты новый дом зачем-то строишь,
Скажи нам, для какой — такой?
Скажи, мы дом с душою сверим.

Постойте, сам вас проведу —
Любимая сидит в партере,
Вы слышите, в седьмом ряду!..

Ушли, не закрывая двери,
Ушли, огней не потушив,
Чтоб линии мои проверить
По линиям ее души.

Невероятно резкой нотой
Я словно выброшен во мрак!

Почувствовал — неладно что-то...
Все не по-моему, не так!..

Обратно грустными приходят.
Я затаился и слежу,
Как музыка мой дом возводит
В душе моей по чертежу

По старому...
                    Все выше,
                                выше
Растет он,
                все полней,
                            полней...

— Скорее возводите крышу
С большими башнями на ней!..

Но поздно!
Чей-то голос резко,
Почти в отчаянье кричит:
— Пробейте окна, дайте фрескам
Взглянуть на яркие лучи!

Нет — поздно!
Все уже дрожало.
Колонна, продолжая взлет,
Шатаясь, все еще держала
Мой сказочно-граненый свод.

Беда стрясется — придержите!
У окон, с криками — пробей! —
Метнулся в доме пленный житель —
Неуловимый воробей...

Метался он,
Кружился около,
Не выдержал — рванулся вон,
Ударился, да так, что стекла
Заговорили вперезвон.

По убывающей наклонной
Летит на камни и на сталь...
И рушится моя колонна,
Хрустит и крошится хрусталь.

Перемешался крик со стоном,
Стон с криком...
Сердце — на куски!
Разрушен дом.
Скользят над домом
Пылающие языки.

* * *

Что будет,—
Все могу принять,
На что-то в сердце опереться
И снова, в сотый раз, понять
Свое непонятое сердце.

Хочу проверить, как звучат
Мои лирические строчки.
А в голове стучат, стучат
Пронзительные молоточки:
«Зачем пришел?
К чему пришел?»

Я к ней вернулся, я ликую.
Вам все равно, а я нашел,
Любимую нашел.
Такую
Мне было нелегко найти.

Она вошла спокойно-строгой.
Так захотелось подойти
И недоверчиво потрогать,
Проговориться впопыхах:
«Скажи открыто, что не лгу я,—
Все думают, что ты в стихах,
А я нашел тебя живую».

Переменилось что-то в ней,
Не понимаю только — что же?
Глаза ли, ставшие темней,
Иль брови, поднятые строже.

Я вопросительно взглянул
И понял вмиг, что буду снова
У прежней робости в плену.

Но что же делать?!
Мне иного
Исхода нет.
Я все попрал,
Не понимая,
В чем спасенье...

«Мой дорогой, но ты не брал
В расчет земные потрясенья.
Ты главного не разрешил
В проекте невозможно узком:
Сопротивление души
Все возрастающим нагрузкам».

* * *

О, юность,
Каждому из нас
Ты открывала мир,
И каждый
Все видел только в первый раз,
Все делал только в первый раз,
Не утоляя в сердце жажды.

Любили только в первый раз —
Мы ничего не повторяли,—
Случилось — мы в тяжелый час
Друзей любимых потеряли.

Случилось так.
Покинув нас,
О, юность, нам оставь ту жажду —
Смотреть на все,
Как в первый раз,
Все начинать,
Как в первый раз,
Не повторив ошибок дважды.

* * *

О, музыка,
Где в каждой гамме
Напоминание о том,
Как возвести, слагая камни,
Ничем не разрушимый дом.

Такой, чтоб он,
Как бы в рассвете,
Живыми гранями возник.
Они звучат, как бы ответить
На главное хотят они.

«Иди за нами.
В отдаленье
В торжественно-прекрасном дне
Есть радостное примиренье»,—
Так скрипки говорили мне.

Светало,
Солнце ли всходило
На темно-голубой экран —
Заря рассеянно цедила
Легко спадающий туман.

Такого дивного вовеки
Не видели глаза ничьи.
Спокойно разливались реки,
К разливу звонкие ручьи
Бежали по траве лугами,
Наперебой, как сорванцы,
Чтоб радостно найти губами
Золотоносные сосцы.

Деревья, точно исполины,
Вдруг увидавшие простор,
В темно-зеленые долины
Сходили с белогривых гор.

В народе шла Она.
Я с места
Рванулся по ее следам...
Но ту, что называл невестой,
Я больше не увидел там.

Мне скрипка шепчет: «Доведу я,
Пойдем, чего же ты притих?»
— Нет, чувствую, что не найду я
Любимую среди других!

И скрипки подтвердили хором,
Уже спокойно, не спеша:

«Ты видишь целый мир,
В котором
Невидима ее душа».

И растерялся я:
Да где я
Найду потерю?
Что скрывать —
Другой любовью не владею,
Не знаю даже, где и брать.

И вдруг увидел, как, ликуя,
Подобно всплеску чистых вод,
Любовь огромную, иную,
Как знамя, поднимал народ.

«Бери! Ты заслужил страданьем,
Бери, но позабудь покой —
Построй нам города и зданья,
Достойные любви такой».

Строй выше,
Чтоб не гнулись шеи,
Что до сих пор утомлены
В подземных улицах войны,
В ее землянках
И траншеях.

Грудь необъятное вдохнула —
Давно желанное сбылось.
В ней что-то двинулось,
Толкнуло
До крика,—
Так и началось!

* * *

Мой дом поднимется красиво,—
Попробуйте потом сличить
Все, что душа моя просила,
С тем, что сумела получить.

Попробуйте детально сверить.
Устрою так, чтобы всегда
В него открыты были двери,
Пусть и Она войдет туда.

Но, повода не подавая
Для разговоров обо мне,
Она войдет, как рядовая,
Войдет с другими наравне.

Быть может, и вздохнет глубоко,
А если не вздохнет, так что ж!..
Передо мной лежит упреком
Мой забракованный чертеж.

Как по заснеженной долине,
На белом ватмане,
В наклон,
Шумит почти забытых линий
Неутихающий циклон.

«Пора проститься мне с тобою...»
Обрывки старых чертежей
Покачивались скорлупою
Отшелушившихся идей.

В душе,
Еще не утомленной,
Наметив светлый перелом,
Птенец мечты, чуть оперенный,
Слегка пошевелил крылом...

1943—1945

Марьевская летопись

1

Одна, последняя верста...
Вот с высоты горы отлогой
В широкую ладонь моста
Упала узкая дорога.

Где, выступая с двух сторон,
Деревья, точно на параде,
Всей тяжестью душистых крон
Касались тонких перекладин;

Где на высокую дугу
Завился хмель, созревший в пору.
И я уже почти бегу
По травяному косогору.

Меня прохладою обдав,
Ручей примчался на братанье.
Гремела светлая вода,
Как будто по моей гортани.

Ручей, играя, то сверкал,
То меж ветвями хоронился,
Являлся, искры высекал
И мчался дальше...

Я склонился
Так низко, что была видна
Вся глубь.
Я посмотрел — и замер:
Не детство ли мое со дна
Глядело ясными глазами,
Забытыми давным-давно?

Губами в дрогнувшие губы
Я неотрывно впился,
Но
Лицо перекосилось грубо
И потонуло...

Долго вниз
Глядел я, затаив дыханье,—
Там плыл смородиновый лист,
Кружа мои воспоминанья.

* * *

За лесами ли, горами ли,
Будто с милой вновь сидим
Неподвижно, точно замерли,
Настороженно глядим,

Как высокою травою
Пробираясь в ранний час,
На дорогу вышли двое,
Так похожие на нас.

Впереди мальчишка смелый —
Не мальчишка, а гроза.
У него спадает белый
Чуб на серые глаза

А у девочки по ситцу
Бьются темные косицы.

Дни летят, как птицы в стае,
Соблюдая свой черед...
Смотрим, парень подрастает,
Видим, девушка растет.

Стали косами косицы,
Превратилась тропка в путь...
Но любовь, что часто снится,
Паренек еще боится
Поцелуем отпугнуть.

И стоит он безответно...
Мне бы, той межой скользя,
Подойти и незаметно
Подсказать бы, да нельзя.

Подсказать бы, что в разлуке
Будут раны, будут швы,
Будут всяческие муки,
Будет горе...
Что же вы?!

У синеющих отрогов,
На границе двух долин
Их широкую дорогу
Расколол зеленый клин.

К верстовым далеким знакам,
Подставляя ветру грудь,
Он пошел широким шагом,—
И его не повернуть.

Мне прибредилось, приснилось,
Как, печальная, она
Незаметно растворилась
В голубом разливе льна.

Лен слепит голубизною
И качается врасхлест...
Никого передо мною:
Лишь ручей
Да старый мост.

* * *

Как тягостного разлученья
Необходимые посты,
Полны великого значенья
Простые сельские мосты.

Они дороги наши сводят
На бревна, павшие в накат;
По ним всегда вперед уходят,
Но не всегда идут назад.

Мост старили дожди и ветры,
Но я нашел и оглядел
Давно оставленные меты,
А свежих не было нигде.

Как в летопись,
По старым пятнам
Вписал я всем чертям назло:
«Домой вернулся в 45-м...»
А ниже — месяц и число.

В раздумье
Я сидел на слеге.
Мне слышался издалека
Неторопливый скрип телеги
И стук пустого котелка.

Мне слышалось воды теченье,
Заворожившее кусты.
Полны великого значенья
Простые сельские мосты.

* * *

А ветер, вея, льнул к лицу,
Шептал тихонько: «Насовсем ли?»
Допрашивал, взметнув пыльцу:
«Не позабыл ли нашу землю?»

Обидно было, что нельзя
Налюбоваться вдоволь ею.
Хотелось показать друзьям,
Где я живу и чем владею.

И огорчало лишь одно:
Пять лет назад вон там бескрайно
Синело озеро...
Оно,
Невозмутимое, как тайна,
Теперь травою заросло,
Осокой заросло зеленой.

И все-таки в свое село
Входил я,
Встречей окрыленный.

* * *

Домой уже брели стада,
Подернутые дымкой смутной.
Когда надвинется страда,
То улицы совсем безлюдны.

Лишь марьевские кузнецы
Стучат упрямо молотками.
Зато поля во все концы
Как бы усеяны платками.

Лучи косые вдруг блеснут,
Как будто, уходя с покоса,
Колхозницы домой несут
Зарю вечернюю на косах.

Мне трудно было бы узнать
Черты покинутой подруги.
Но мать... Ко мне шагала мать,
Раскинув для объятья руки.

В лучах зари она росла,
На холм входя тяжеловато,—
Казалось, на плечах несла
Всю тяжесть позднего заката.

2

Верила все, что дождется,—
Мать не умеет иначе.
Плачет, когда расстается,
Встретится — тоже поплачет.

С прежнею вносит заботой
Старую ложку и вилку,
Будто пришел я с работы
От полевой молотилки.

Будто пришел я и надо
Прежде поесть и напиться —
Просто пришел из бригады
В дядькиной бане помыться.

— Вот!..
Помоги-ка, сыночек!..—
Вынесла, виданный с детства,
Желтый такой туесочек,
Круто промазанный тестом.

— Выпей!..—
За сердце хватает
Сок, побежавший сильнее,
Пью я, а мать наблюдает
И почему-то пьянеет.

Вот он, мой дом!
Почему же
Верит душа и не верит?..
Стали и ниже и у́же
Настежь открытые двери.

Тетка Агаша в просвете,
Меж косяками дверными,—
Вся как на старом портрете,
Только с чертами иными.

Сердце от жалости стынет,
Глядя на скорбные руки...
Думал, что спросит о сыне,
Думал, что спросит о друге.

Вот, отойдя понемногу,
К маме она обратилась:
— Анна, какому ты богу
Так терпеливо молилась?

* * *

А где-то рядом, за окном,
Играет гармонист
О том, что с веток, невесом,
Слетел последний лист.

Вослед стремительным годам
Он кружится,
И пусть
По тонко тронутым ладам
Перебегает грусть.

Ах, не грусти ты и не тронь
Потерянных имен,
Косноязычная гармонь
Неведомых времен!..

* * *

На горьком аромате трав
Настоян был горячий воздух.
Как прежде, голову задрав,
Гляжу на марьевские звезды.

Не надо б,
Но глаза косят,
Глаза глядят — не наглядятся...
Мое хозяйство! Пусть висят,
Когда-нибудь и пригодятся.

Мне, видевшему столько зла,
Что мне теперь миры иные!
До звезд ли, если есть дела
Первостепенные, земные!

Она, мол, ждет, сказала мать,
И я иду по старым тропам
И начинаю привыкать,
Как пахнет тмином и укропом.

Широкая тропинка та
Казаться стала узкой-узкой...
Вдруг распахнулась темнота
Мелькнувшей рядом белой блузкой.

В тот миг не видел ни лица,
Ни черных кос, сплетенных туго.
Не мы сначала, а сердца
Узнали в темноте друг друга.

Крылами рассекая мрак,
Над нами птицы пролетели.
Так хорошо и чисто так
Давно-давно мы не глядели.

Сказал, что лучшей не встречал
Я в землях русских и нерусских.
Как будто ветер закачал
Цветы, расшитые на блузке.

И сразу замерли цветы,
Когда, склонившись к ней, красивой:
— Другого не любила ты? —
Некстати так ее спросил я.

Горячую струну лишь тронь,
Струна заплачет и застонет...
— Ты что!..— И девичья ладонь
Сказала все моей ладони.

3

Не гость,
Не какой-то прохожий —
Когда-то я здесь вырастал.
Чем дальше мы шли, тем дороже
Нам были родные места.

Мы шли на крутые отроги,
Мы шли по долине
И нас
На пыльной широкой дороге
Шумливый догнал тарантас.

— Садитесь!..
На свадьбе на вашей
Вина с медовухой попьем!..
— На вашей на радости, Маша,
Мы грустную песню споем...

«Я на горушке стояла,
Я Егорушку ждала,
Кашемировым платочком
Я помахивала.
Молодова, удалова
Я приманывала.

Прилетели наши гуси,
Гуси серенькие,
Помутили гуси воду,
Воду светленькую.

Зачерпнула я ведерком
Воду мутную,
Понесла я свою долю,
Долю трудную...»

Мне больно и страшно обидно,
Что в тесном кругу среди них,
Как прежде бывало, не видно
Соперников гордых моих.

Я в жизни своей необычной
Себя не старался спасти.
Прости меня, друг закадычный,
Мой верный товарищ, прости!

Я знаю, печальная доля —
От ратных трудов отдыхать.
Не жать тебе спелого поля,
Не сеять тебе, не пахать...

* * *

С пылью на лапчатых шинах,
Все довоенной поры,
Грузные автомашины
Мчались на гребень горы.

Словно узор рисовали
На подорожной пыли.
Вырвались, побуксовали
И потерялись вдали.

От молотильной бригады
Автомашинам вдогон
Пестрая шла кавалькада,
Пересекая загон.

* * *

Коровы круторогие
Домой везут воза,
Полуприкрыв широкие
Печальные глаза.

Трава густая снится им,
Зеленая скользит
За темными ресницами,
За длинными...

Вблизи,
Спокойная, вся белая,
Раскланялась со мной.
Мол, видите, что делаю,—
Приходится самой.

Что трудности имеются,
Понятно даже ей.
Мол, время ли надеяться
Теперь на лошадей?

Работа напряженная!
При деле при таком
Она и запряженная
Все пахнет молоком.

О том, чтоб не работала,
Вернула прежний вид,
На белой шее ботало,
Что колокол, гудит.

И звон тот не утишился
И не ушел на спад —
Он долго-долго слышался,
Тревожный, как набат.

* * *

И вскоре,
Молчанье нарушив,
У Маши спросил я, упрям:
— Зачем, бередя мою душу,
Ты водишь меня по полям?

Не рад я такому показу,
Его не легко перенесть...

Сказала:
— Чтоб сразу...
Чтоб сразу...
Увидел ты все, что ни есть.

Чтоб не было места укорам,
Что встретил меня не в раю...—
Мы вышли к мосту, на котором
Оставил я надпись свою.

Сказал,
Что слова не сотрутся
Под ливнем, какой бы ни шел.
Сказал, что герои вернутся,
Что будет опять хорошо.

Сказал,
Что они не забыли
Крестьянскую сладость труда...
И слышу:
— Они приходили...
Ушли, не оставив следа...

Нахмурила строгие брови,
Продолжила с болью она:
— Ты прав, приходили герои,
Мы видели их ордена...

Ты прав, они храбро сражались
И кровь проливали не раз...
Там смерти они не боялись,
А здесь, о себе лишь печалясь,
В заботах оставили нас.

Я понял:
У женщины право,
У женщины высшая власть.
О женщины!
Русская слава
Под сердцем у вас зачалась.

Красавицы русских селений,
Из вас поклонюсь я любой
За то, что судьба поколений
Становится вашей судьбой.

Я слушал упреки подруги,
Целуя под аркой моста
Ее грубоватые руки,
Сказавшие правду уста.

4

Казалось мне,
Что воздух пашен
Меня, пришедшего, обмыл.
Я чище сделался и даже
Еще влюбленнее, чем был,

В свои поля
В простор бескрайный,

Покрытый дымкою слегка,
В неповоротливость комбайна,
Идущего издалека.

Ему легко,
Ему просторно!
И, чувствуя земную дрожь,
Волнуясь, перед ним покорно
Склоняется густая рожь.

Он движется
Все торопливей,
Врезаясь в голубой проем.
Он тонет в золотом заливе
Необычайным кораблем.

* * *

Сердце мое отвердело,
Руки окрепли в боях.
Нас оторвали от дела
На неоглядных полях.

В темножелезные ночи
В дальней немецкой стране
Стали мы, нет, не жесточе...
Дайте рукою рабочей
К миру притронуться мне!

* * *

Мотор движения просил
Настойчиво, до дрожи страстно.
Все сорок лошадиных сил
Вдруг двинулись вперед согласно.

Комбайн, качаясь, описал
Широкий круг.
Без возраженья
Нескошенная полоса
Попала в наше окруженье.

Мне слаще музыки был звук,
Которого давно не слышал.
Чем у́же становился круг,
Тем солнце опускалось ниже...

И ночью
Явно неспроста,
Над головою нашей свесясь,
Выглядывал из-за куста
Наш с Машею
Медовый месяц.

На терпком аромате трав
Настоян был горячий воздух.
Как прежде, голову задрав,
Гляжу на марьевские звезды.

Не надо б,
Но глаза косят,
Глаза глядят — не наглядятся...
Мое хозяйство!
Пусть висят —
Я ж говорил, что пригодятся.

1946

Ленинский подарок

На юге,
В подкове предгорья,
Где в марте отыщешь цветок,
У самого синего моря
Беленый стоит городок.
Бушует в нем зелень густая.
И мнится,
Коль с моря взглянуть,
Что там голубиная стая
Присела в пути отдохнуть.
Вот, кажется, город взовьется
И улетит далеко...
В нем сердце спокойнее бьется
И дышится людям легко.

Утрами
По улице тихой,
К шажку прибавляя шажок,
Чуть горбясь, седая ткачиха
На теплый идет бережок.
Не надо искать знаменитей:
Всю жизнь, что в труде прожила,
Она из тонюсеньких нитей
Большую дорогу ткала.
Трудилась,
Теперь отдыхает.
Ничто здесь ее не томит.
Она свою жизнь вспоминает...
А Черное море шумит...

* * *

В те дни,
Когда по снежным падям
Под Нарву шел за строем строй,
В настороженном Петрограде
Служила Надя медсестрой.
Бойцу привычно не бояться,—
Смерть у него одна,
А ей
В ту пору довелось сражаться
Со множеством чужих смертей.
Она была храбра,
Но в стуже
Неотопляемых палат
Боялась Надя встретить мужа
Средь умирающих солдат.
И все ждала о мире слова,
Так страстно, как солдатки ждут...

День приходил, второй — и снова
К подъезду раненых везут...
Опять сестра бежит к воротам
По лестнице особняка.
Навстречу Наде быстрый кто-то:
— Носилки не нужны... Пока!..—
Порывист,
В жестах откровенен,
Столкнувшись с ней лицом к лицу,
Стремительно поднялся Ленин
По госпитальному крыльцу.

На многих рваные халаты,
Бинты замытые видны.
Ильич осматривал палаты
И повторял:
— Бедны, бедны!..—
То добрый,
То сурово-резкий,
Вступая в темноту палат,
Он видел чистыми до блеска
В то время
Лишь глаза солдат.
Они, подернутые горем,

Светлели перед Ильичем:
— Товарищ Ленин, мы вот спорим...—
Ильич подался:
— И о чем? —
Ответил юный, смуглолицый,
С повязанною головой:
— Мы спорим... Надо ль замириться
С буржуазией мировой?

Ильич молчал
И только взглядом
Спросил: и вывод, мол, каков?
— Вот старики твердят, что надо.
— Вот, вот...
И я — за стариков...
Когда за власть буржуи ссорятся,
Война народу не с руки...
Нет, нет! И пусть не хорохорятся
То-о-варищи меньшевики!
Мир, мир!
И только мир! —
При этом
Он, вглядываясь в полутьму,
Все щурился, как бы от света,
Который виделся ему.

* * *

Когда в глаза ему смотрели
С голодным блеском сотни глаз,
Он видел, как они теплели
От гордой мысли,
Что у нас
Все будет,
Только б укрепиться,
Чтоб на просторах всей страны
Светил нам не огонь войны,
А плавок доменных зарницы.
Все будет,
Нужно лишь терпенье!..

У юной медсестры тогда
Забылись страхи и сомненья,
Забылись горе и нужда.

О многом
В этот миг забыли.
Почти никто не услыхал,
Как в ленинском автомобиле
Мотор голодный зачихал.

Ильич уехал...
Вслед солдатки
Глядели.
Вспомнили они:
— На нас заплатки и заплатки...
— Да что ж мы?!
— Надя, догони!..
— Ты смелая!.. Проси не пищи,
Проси обувку... Должен дать...
Она на рынке стоит тыщи,
Обувка-то!..
А где нам взять?!

Рванулась...
Вот пустырь, заводик...
Цель ближе... Вот совсем близка...
И догнала чихавший «фордик»
У неисправного мостка.

Ильич,
На мостик выйдя древний,
Пока саперы чинят путь,
Как мужики порой в деревне,
Присел на бревна отдохнуть.
Смеялись
Лучики-морщинки,
И Надя, прямо как на грех,
Увидела его ботинки,
Поношенные, как у всех.
«Ну как просить?!» —
Вдруг тесно стало
Уже заученным словам.
Она шагнула и сказала:

— Я от солдаток...
С просьбой к вам.
Они... Они не просят пищи...
Обувку бы... Пар двадцать пять...

Она на рынке стоит тыщи,
Обувка-то!
А где им взять?!
— Да, верно.—
Ленин приподнялся
И, на ее взглянув башмак:
— А вам? — спросил
И рассмеялся
И весело и грустно так.
Он стал,
Как показалось Наде,
С мастеровыми чем-то схож;
Прикинул, на ботинок глядя:
— Э-э, нет!.. Уже не подошьешь!..

Вдруг резче
Меж бровями складка,
И сразу смех и шутка — прочь!..
— Так вот, товарищ делегатка...—
Вздохнул,—
Попробуем помочь!..—
Глаза прищурились в заботе
При виде сбитых каблуков.—
Вы молоды, вы доживете
До модных туфель и шелков...

* * *

Весной,
К прилету первой стаи,
На улицах и берегах
Снег залежавшийся растаял
И по Неве прошла шуга...
А Брестский мир
Был слишком краток,
Бойцов измученных леча,
Забыли двадцать пять солдаток
Про обещанье Ильича.

Однажды в дождь,
Грозовый, сильный,
Затмивший все и вся кругом,
За Надею пришел посыльный
И пригласил ее в ревком.

Шла под дождем она, по лужам,
Готовясь горе перенесть:
Ей все казалось, что о муже
Недобрую там скажут весть.
Шла медленно,
Не торопилась
К неведомой судьбе своей.
Коса под ливнем становилась
Все тяжелей и тяжелей...

Вот и вошла,
Не замечая,
Как потекли с нее ручьи.
Ее, всю мокрую, встречают
Суровые бородачи.
И самый старший из ревкома
Спросил у медсестры тогда:
— Сестра, вы с Лениным знакомы? —
Смутилась и сказала:
— Да!

Вдруг бородач оправил китель,—
Должно, с кадетского плеча,—
И вытянулся: — Разрешите
Вручить подарок Ильича.—
Тут Наде подали коробку.
«Неужто только мне одной?!» —
Подумала и робко-робко
Взяла подарок именной.
И даже вздрогнула немножко,
Когда вдруг скрипнули в руках
Красивые полусапожки
На аккуратных каблуках,
Не на шнурках, а на резинке...
И, кроме этих, именных,
Увидела в углу ботинки
Солдатские —
Для остальных.

Без красноречья, как умели,
Подарок Ленина вручив,
Заулыбались, подобрели
Суровые бородачи.

* * *

В подарок тот принарядиться
На праздник — вот бы хорошо!..
Дни пролетали вереницей,
А к Наде праздник
Все не шел...

Бывало, поглядит в окошко:
Вот, дескать, кончат воевать,—
Она в своих полусапожках
Пойдет любимого встречать.
И милому на удивленье,
Чтоб он ничем не укорил,
Она расскажет, как ей Ленин
Сапожки эти подарил.

Но нет!
И ей, как многим женам,
Судьба тяжелый путь дала:
На муку чувствам береженым
Любимого не сберегла.
Но от беды у ней устало
Не опустилась голова.
В дни мирные ткачихой стала
Двадцатилетняя вдова.

* * *

А вскоре боль другой потери
Хлестнула по сердцу, как плеть...
Она жила, как бы не веря,
Что Ленин может умереть.
А эти траурные звуки?!
Нет, нет! Казалось, не в беде,
А просто вытянулись руки,
Уставшие в большом труде.

А скорбь!..
Она текла, как Волга.
Он для тебя, Отчизна-мать,
Трудился так, что долго-долго
Ему придется отдыхать.
И день прощанья был неярок,
Боль, не стихая, сердце жгла...

В бесценный ленинский подарок
Обулась Надя и пошла.

Пришла.
Толпа у фабзавкома.
А снег над ней кружит, кружит...
— Ты,— шепчут,—
С ним была знакома,
Иди к трибуне, расскажи...—
А что она теперь расскажет,
Когда в глазах — круги, круги!..
То слезы вытрет,
То покажет
На дареные сапоги.

Сначала голос был невнятен,
Но вскоре даже с дальних мест
Стал удивительно понятен
Ее рассказ
И этот жест.
И то, как вождь сказал в заботе
При виде сбитых каблуков:
«Вы молоды, вы доживете
До модных туфель и шелков...»

* * *

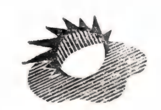
— За жизнь-то
Хлебнула я лиха.
Достаток повелся не вдруг...—
Замолкла седая ткачиха
И радостно смотрит вокруг.
У стареньких
Счастье во взглядах,
Почти как у малых ребят.
Вон девушки в ярких нарядах,
Сбегая на берег, шумят...
Одна беззаботно смеется,
Другая с восторгом глядит:
Волна к ней навстречу несется,
И гребень на солнце горит.

Глядит и ткачиха влюбленно
На то, как за гребнем, вдали,

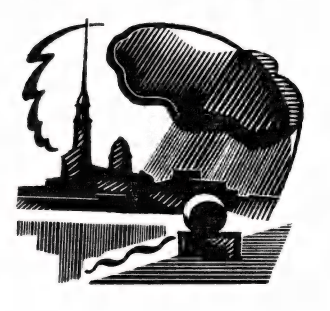
Приветствуя город беленый,
Спокойно идут корабли.
И кажется:
Слух отмечает,
Что тем кораблям из-за гор,
Как детям своим, отвечает
Заводов торжественный хор.

Все, все,
Что ее окружает,
Что радует сердце и глаз,
На сто голосов продолжает
Не конченный ею рассказ.

1953



Далекая



Права любви
Да будут святы.
Настроенный на этот лад
Все девять лет,
Я на десятый
Решил поехать в Ленинград.

Я поклонился Ленинграду
И предъявил законный иск
За девушку, что в дни блокады
Он отсылал в Новосибирск.
Скажу, в детали не вдаваясь,
Вам, ленинградцы, не в упрек,
Что я, и бедствуя и маясь,
Ее, красивую, сберег...

Шли дни.
Закончив подвиг ратный,
Еще горячий от огня,
Ваш город взял ее обратно,
Точнее — отнял у меня.
Мы можем боль нести годами
И все стерпеть,
Но иногда

Мы ссоримся и с городами,
Когда обидят города.

И вот
Над невскою волною,
Неподражаемо велик,
В час утренний
Передо мною
Предстал любви моей должник.
Еще тогда,
В перронной давке,
Он, хитрый, на моем пути
Поставил будочку Горсправки:
Мол, так легко ее найти.

И, отсылая к доброй даме,
Он знал, что та меня убьет
Обыкновенными словами:
«У нас такая не живет».
Мне объясняют осторожно...
Нет, нет! Не надо объяснять,
Что девушкам совсем не сложно
Свои фамилии менять.

Зашел я в первый переулок
И, глядя на дома, стою...
В какой из каменных шкатулок
Ты скрыл жемчужину свою?
Скажи, куда заставил деться,
Ответь мне, за какой стеной
Стучит загадочное сердце,
Так и не пóнятое мной?..

И слышу:
Из соседней улицы,
Где люди толпами снуют,
Рояль и скрипки, как союзницы,
Мне тихий голос подают.
Хотят судьбу мою улучшить,
Совет спасительный мне дать:

Ходить под окнами и слушать —
Она не может не играть.

* * *

Она не может не играть,
Задумавшись, она не может
Наш снежный край не вспоминать
И трудный срок,
Что с нами прожит.
И я ведь тоже берегу
И в памяти несу сквозь годы
Костры на голубом снегу,
Где в холод
Строились заводы.

Она могла не полюбить
Немую строгость наших елей,
Но те костры,
Но плач метелей
Она не может позабыть.

Льет дождь,
Он хлещет по лицу,
Плащ мокрый
Липнет к мокрым брюкам.
Две ночи
От дворца к дворцу
Шагаю Невским,
Чуткий к звукам.
Рояль заслышу и бегу,
А где-то
Новый завлекает...
По звукам рассказать могу,
Кто,
Где,
Когда
И как играет.

Вот эта:
До чего ж юна!..
Рыбешкой в чешуе нарядной

Все хочет вглубь,
А глубина
Выносит, легкую, обратно.
Отчаясь в глуби заглянуть,
Она без муки повторенья
Спешит на солнышке блеснуть
Своим красивым опереньем.

А этот
Все постиг уже
И, неприступный и холодный,
На самом нижнем этаже
Живет, как сом глубоководный.
Там воды тяжки и темны,
Но с ними нелегко расстаться...
В нем сердце может разорваться
От недостатка глубины.

* * *

Весь город утопал в закате
Необычайной густоты.
Застежками на синем платье
Темнели невские мосты.
Без позолоченных уборов,
Забыв о боге вспомянуть,
Клонились головы соборов,
Чтоб на красавицу взглянуть.
Великий Петр,
Перед рекою
Вздымая дикого коня,
Грозил им медною рукою,
Осатанев: «Она — моя!»

Лишь я,
Уставший от исканий
И от мелодий, чуждых мне,
Без этих царских притязаний
Свой взгляд покоил на волне.
Катились волны еле-еле,
Но плеск их был притворно тих...

Вот так прошли,
Отшелестели
Все лучших девять лет моих.

И снова к ней душа стремится,
Как будто я в горячке дней
Забыл как следует проститься
С ушедшей юностью моей.
Не нарушая горькой думы,
Еще дремотней, чем волна,
В привычные для слуха шумы
Вплелась мелодия одна.

Родившись где-то за стеною,
Она, чуть слышимая мне,
Пришла как будто не за мною,
Бродила долго в стороне.
Сидел
И слушал и не слушал,
Но, как бывает только в снах,
Она вдруг захватила душу
И сердце понесла в руках.

Другие звуки налетели —
Как пленник шел я в их кругу,
И вот почудились метели,
Костры на голубом снегу.
И те костры, со мной блуждая,
Вели куда-то вдоль Невы...
Подъезд...
И здесь,
Чуть-чуть зевая,
Лежат египетские львы.

Я подошел,
Стою на месте,
И львы ленивые лежат.
Что — честь ее или бесчестье
Они, слепые, сторожат?
А было,
Я не сомневался,

Не отравлял мне душу яд,
Когда вот так же поднимался
К любимой
Девять лет назад.

* * *

На меня удивленно глядит
Глазами широкими,
Будто знала, что был я убит,
Будто знала, что был я зарыт,
И, как многие многими,
Был за давностью ею забыт.
С огоньками-зарничками
Вижу те же глаза и не те...
Будто кто-то шалит в темноте
Отсыревшими спичками.

Как прежде, при встрече
К груди не прижат.
Вот и рядом, а так далека!..
И губы дрожат,
И ресницы дрожат,
И дрожит золотая серьга...
Даже соболя
Тронула легкая дрожь:
На плечах удержаться не мог.
На огонь потухающий
Был он похож,
Чуть заметный сквозь сизый дымок.

Предо мной
Распахнулась сибирская даль,
Где мне встретилось горе мое,
Мне припомнилась
Старая-старая шаль,
Согревавшая плечи ее.
Образ тот
На тяжелом стальном полотне
Девять лет я алмазом врезал.
А она:
Дескать, кто вам сказал обо мне?..

Кроме сердца,
Никто не сказал!..

Удивляешься?
Полно!
С любовью моей
Было просто тебя подстеречь.
Так охотник
По следу прошел соболей,
Что твоих удостоены плеч.

...Представь себе, в глуши лесов
Нет соболиных адресов.

Там соболь по снегу петляет,
Потом, глядишь, найдет дупло.
И если только в нем тепло,
Он прячется и отдыхает.
Охотнику не шлет он весть
Ни прямо почтой, ни окольно...
Охотник знает: соболь есть —
И этого уже довольно.

И ест охотник на бегу,
И засыпает на снегу.

Зверь то внизу,
То в темной кроне
Среди разлапистых ветвей...
В тяжелом поиске, в погоне
Проходит много-много дней...
Когда усталый зверь в пути
Между корягами забьется,
Охотник ставит сеть.
К сети
Подвешивает колокольца.

Трещит мороз, и снег идет.
Охотник ждет, и соболь ждет.

Ночь...
Зверю мнится: нет засад...
И раздается звон, похожий

На тот, что полчаса назад
Вдруг зазвенел
В твоей прихожей.

Охотник тот настойчив был,
Чтобы твои украсить плечи...
А он тебя ведь не любил
И не мечтал, как я, о встрече.
Ему от чьей-то красоты
Ни сладко не было, ни больно...
Я знал, что в Ленинграде ты,—
И этого уже довольно.

* * *

Свое достоинство храня,
Как с гостем говорит случайным,
И за столом
Сервизом чайным
Отгородилась от меня.

Заводит речь о жизни райской,
О безупречности своей,
О муже...
И фарфор китайский
Как бы поддакивает ей.

И я заметил на стене:
Добавкою к семейной притче
Из рамки улыбался мне
Семьи удачливый добытчик.

Безделицами окружен,
Которым так легко разбиться,
Задумчиво, как умный слон,
Сижу, боясь пошевелиться.
Ее оглядывая «рай»
И прошлое припоминая,
Прошу доверчиво:
— Сыграй!..
— О нет... Давно уж не играю!..—
И, чтоб упрашивать не стал,
Лениво повела рукою...

«Но кто же, думаю, играл,
Но кто же бредил здесь пургою?..
Чьи руки воскресить сумели
Те ночи давние, те дни:
Непотухавшие огни,
Незатихавшие метели?»

А в это время из дверей,
Где лак рояля засветился,
Несмелый мальчик вышел к ней
И, сделав шаг, остановился.
В лице незрелой красоты
Слились, сплелись,
Как звуки в гамме,
Ее красивые черты
С чужими смутными чертами.

И понял я
Сознаньем всем:
Меж нами
В маленькой квартире
Легло пространство
Больше, чем
От Ленинграда до Сибири.

Опять далекая!..
И жаль,
Что даже не с кем
Мне проститься:
Той девушке, носившей шаль,
Здесь не позволят появиться.

А что без той любовь моя?..
Безрадостна и сиротлива!..
Дверь...
Лестница...
Очнулся я
На жестких космах
Львиной гривы.
Мои ли тронули слова,
Но плакал зверь,
Большой и грозный.

Я видел, как по морде льва
Катились каменные слезы.

Себя в дороге веселя,
И так беспечно,
Так не к месту
Пел кто-то, подходя к подъезду:
«Тру-ля-ля-ля!.. Тру-ля-ля-ля!..»
При встрече,
Сделав поворот,
Успел заметить я,
Что это
Беспечно трулюлюкал тот,
Глядевший у нее с портрета...

* * *

Рассвет.
Еще улицы немы,
И город в безмолвии строг...
Он, как пушкинская поэма,
Из которой не выбросишь строк.
Окна
Моют светлые блики.
Мне же с глаз моих
Ночи не смыть...
Вот и утро,
О, город великий,
Ты проснулся — давай говорить.

Как мне быть?
Если, горем согнут,
В суд приду я с болью своей,
Мне суды твои не помогут,
Нет у них подходящих статей.
Я приехал
Из дальней дали
И уеду, о том скорбя,
Что ее у меня украли...
Но украли и у тебя!..

И не думаю, что случайно
В тот же миг за моей спиной

Засмеялся звонок трамвайный —
Ну, конечно же, надо мной.
Дескать,
Эй, оглянись, прохожий!
Так и замер я на мосту
Перед девушкою, похожей
На потерянную мечту.

Вышла,
Словно ее и ждали,
Еще сонная поутру,
В той же кофточке,
В той же шали,
С прядкой, вьющейся на ветру.
И любовью той же любима,
Той же песней увлечена...
Но уже,
Пробегая мимо,
Не признала меня она.

1954

Белая роща

На степь,
Спеша с травою слиться,
Нисходит ласковая мгла.
Заря вечерняя,
Как птица,
Давно сложила два крыла.
И над палаткой островерхой
В потухшем небе, как всегда,
Всечеловеческою вехой
Зажглась высокая звезда.

Опять, вздыхая и волнуясь,
Гармонь о городе поет.
И все же юность — всюду юность,
Она везде свое возьмет.
Когда любовь — как хлеб и воздух
И в час свидания темно,
То для влюбленных
Были б звезды,
А лес иль степь — им все равно.

И ни к чему играть в оглядки,
Все в пору им — и свет и мрак...
А вот Егор сидит в палатке
И думает совсем не так.
Он думает:

«Нужна свобода
В желаньях сердца и души.
Вот отработать бы два года,

А там — уехать из глуши
В тот край,
Который любим очень
И, оказавшись вдалеке,
На добром русском языке
Мы называем краем отчим.
Любовь же, как земля сырая,
Прилипнет — не стряхнешь ее...»

Так думал он, перебирая
С полынным запахом белье.
Так думал он, хоть был и пылок.
В руке, приученной к труду,
Зажал коричневый обмылок
И вышел под свою звезду.

* * *

Река степная берег пилит,
Струя врезается в струю...
Егор неловко мылит, мылит
Рубаху старую свою.

Луны осколок в небо вышел,
Как будто отлитый в огне,
Повременил, поднялся выше
И закачался на волне.
Почудилось, что в лунной качке,
На глубине речного дна,
Русалка юная видна
И слышен голос:
«Вот так прачка!..»

Слова тихи, слова мягки,
Как будто с целью затаенной
Она глядит со дна реки
И притворяется влюбленной.
«Дай помогу я, дорогой...» —
И белой, до плеча открытой
Русалка тянется рукой
К его рубашке недомытой.

Была — и нет.
Стоит прицепщица,

Лесной цветок в степном краю,
У ног волна лениво плещется,
Струя вплетается в струю.
Вот Аннушка, его жалеючи,
Рубашку, мыло отняла
И над водою юбки девичьи,
Чтоб не мочить, приподняла.

Глядит Егор,
Смущенный встречей,
Как у нее блестят глаза,
Теснится блузка, ходят плечи,
Повдоль спины дрожит коса.
Когда же с ним заговорит,
Из-под капризных завиточков
Большой жемчужиной горит
Серьгой не троганная мочка.

Он думает в неясном страхе,
Неравнодушный к завиткам,
О трудной жизни, о рубахе,
Послушной девичьим рукам.
Побудет, мол, в руках умелых,
Размякнет
И в недобрый час
Прильнет к тоскующему телу
И слабость сердцу передаст.

У ног их
Месяц окунулся
И карасем уплыл в кусты.
Егор вздохнул и отвернулся
От беспокойной красоты.

* * *

Не спит Егор,
Когда в палатке,
Хмельное счастье пригубив,
Спят сдавшиеся без оглядки
На милость девичьей любви.
Над ковылями вместе с ветром
Плывет гобийская теплынь,
Опять в матрасе разогретом

Запахла горькая полынь.
Заглядывает месяц в щели
И улыбается хитро...

Приподнялся Егор с постели,
Нашел бумагу и перо.
За словом слово быстро нижет,
И кажется, перо само,
Поскрипывая, пишет, пишет
Старушке-матери письмо.
Размашистый сыновний почерк
Намеком, как бы невзначай,
Дает понять ей между строчек:
Мне трудно — мама, выручай!

Все спят.
За финскими домами
Береза встала на пути,
Прижав зелеными ветвями
Почтовый ящик на груди.
И в смутном свете стало видно,
Как неказистый ящик тот
Глотнул письмо и так ехидно
Перекривил железный рот.

* * *

Дети маме
Покой пророчили,
А теперь, повзрослев, молчат.
Мать-старушка живет у дочери,
Обихаживает внучат.
Вспоминает в беде не гнувшихся,
Вечно памятных только ей,
Улетевших и не вернувшихся
С поля ратного сыновей.
Вытрет старая слезы женские,
Улыбнется себе, горда:
Мол, не зря они, деревенские,
Были призваны в города.

В холод, в голод сыны не охали,
Были твердыми их слова,
И такое вокруг нагрохали,

Смотришь — кружится голова.
Вспоминая сынов бесстрашие,
Одного не осилит мать:
От земли уходили старшие,
А последний — к земле опять.
Для нее он все еще деточка,
Хоть высок он и густобров.
Получила от сына весточку,
Услыхала сыновний зов...

Много плакала, много видела,
Стала многое забывать.
Слезы краем платочка вытерла,
Принялась добро собирать.
Это сказано опрометчиво —
Просто комнаты обошла.
Собирать-то старенькой нечего,
Всю-то жизнь для других жила.
Не повидится,
Не утешится.
Удержать бы ее, да где ж!..
За Егора мать крепко держится —
Он последний в жизни рубеж.

Вот внучатам целует рученьки
И негорькую их слезу.
— Вы меня не забудьте, внученьки,
Я гостинцев вам привезу.—
Хорошо, что еще не лишняя
И не дочке, и не ему...
Хорошо, что полка-то нижняя,
А купейность ей ни к чему.
Едет, смотрит на придорожие,
Из всего, что есть на виду,
Ищет ровное и похожее
На далекую Кулунду.
Речки быстрые извиваются
То равнинами, то меж гор.
Пассажиры вокруг меняются,
Продолжается разговор.

Входят, сходят,
В дверях не мешкая,

Весть разносят на всю страну,
Что в вагоне старушка некая
Едет к сыну на целину.

* * *

Степь,
Как будто ее кто выровнял,
Будто кто-то куда-то нес
И случайно в дороге выронил
Семена плакучих берез.
И теперь на ветру полощется,
Пригибается во весь рост
Негустая белая рощица,
Одинокая на сто верст.

Берег...
Домики,
Как на пасеке.
Гул в степи далеко слыхать.
К тем домам на совхозном «газике»
Подкатила первая мать.
Обнимает сыночка странница,
А друзья его как в строю,
И у каждого взгляд туманится,
Каждый видит в ней мать свою.
Каждый тянется к ней в смущении...
И она целует парней
Так, как будто по поручению
Неприехавших матерей.

Рад Егор, что к нему из города
Подоспела старушка-мать:
Мол, у Анны не будет повода
К сердцу с нежностью подступать.

* * *

Меж пластами земли
Поднятыми
Ходит-бродит лиса с лисятами.
Разгребая лапками комьица
Все привычней и все бойчей,
И лиса и лисята кормятся,
Взяв в компанию двух грачей.

И в испуге лиса не мечется,
Охраняя лисят своих.
Об Егоре в мечтах прицепщица
И о новой его советчице...
А зверушки?!
Ей не до них!

* * *

Тем же часом,
К сынку прибывшая,
Ходит мать, чуть-чуть загрустившая,
Ходит, смотрит на проживающих
И нигде не приметит взгляд
Ни детей, меж собою играющих,
Ни снующих в траве цыплят.

Выйдет на поле...
За усадьбою
Вдруг почувствует, что стара.
Что-то медлит сынок со свадьбою,
Поспешить бы сынку пора.
На советы он стал обидчивый,
Будто зря ему говорят.
И от девушки от улыбчивой
Почему-то отводит взгляд.

Даже камень водою точится,
Даже камню приходит срок.
Смотрит мать,
Приглядеть ей хочется
Тихий ласковый уголок.
Кровь устанет в ногах — разуется
И, приняв деревенский вид,
То ромашками залюбуется,
То над речкою посидит.
Даже берег водою точится,
Если волны идут внахлест.
Приглянулась матери рощица,
Одинокая на сто верст.

В ночи лунные и недлинные,
Когда в листьях блестит роса,
Настоящие соловьиные

В роще слышатся голоса.
А когда заря занимается,
От высоких кипящих крон
На все стороны разлетаются
Щебет, высвист и перезвон.
Мать придет и качнет сединами...
Свет, просеянный сквозь листву,
Отшлифованными полтинами
С дрожью падает на траву.

Ходит старенькая березником,
В тень присядет она с иглой,
Вышивает узоры крестиком,
Разговаривает с землей:
— Не сердись на меня, на грешную,
Я далекая, я не здешняя...
Многодетная, многодомная,
Я тебе, земля, незнакомая...
Умереть бы мне, где положено,
Где поезжено, где похожено!..

С разговорами не скучается.
Мать от родственных мест вдали
Верной дружбою заручается
Незнакомой еще земли.

* * *

Сын счастлив.
Мать хоть и стара,
Но все еще встает с рассветом.
С ее приездом для стола
Своя заведена диета.
С ее приездом — с плеч гора,
Светлей душа и крепче тело,
И мысли дальнего прицела
Еще упрямей, чем вчера.
Крепись,
Чтоб сердце не дрожало
От вздохов девичьих и слез,
Чтоб Аннушка не удержала
Пушистыми цепями кос.

По вечерам,
Вернувшись с пашни,

В телах усталость принеся,
Скучая обо всем домашнем,
К Егору тянутся друзья.
Сидят, шумят до полуночи,
И что ни тема — новый спор.

Однажды, как бы между прочим,
Зашел о роще разговор:
Чтобы машины не кружились,
Мол, взять бы да раскорчевать...
Услышала, насторожилась,
Вязанье отложила мать.
Сказала:
— Не туда вы клоните...—
А сердце у самой щемит.—
Вы рощу Белую не троньте...—
Вздохнула тихо.—
Пусть шумит...

Куда-то далеко-далéко
Глядел ее покорный взгляд...
Но материнского намека
Никто не понял из ребят
И не проникся тихой болью,
Понятной только ей одной.

А через день,
Вернувшись с поля,
Егор столкнулся с тишиной.
Казалось, завершила дело
И вот, довольная вполне,
Мать бездыханная сидела,
Спиною прислонясь к стене.
В руках — узор,
Что ею выткан
На самой белой из рубах,
И перекушенная нитка
Алела на ее губах...

* * *

Слезы льет Егор посоленные
И глотает дрожащим ртом.
Плотник дерево сшил пиленое,
Занаряженное на дом.

Это горе степные жители
Не сумели предусмотреть.
Недогадливые строители
Не планировали на смерть.

Мать, не в радостях поседелую,
Все высокие — ростом в рост,
Понесли они в рощу Белую,
Одинокую на сто верст,
В складках вся,
Будто в горе морщится,
Вековые пласты стеля,
Под ногами людскими крошится
Неподатливая земля.

В роще птицы молчат певучие,
В ней, по-своему загрустив,
Все березы стоят плакучие,
Косы длинные распустив.
Под березами, под косматыми,
Не затронув их белых ног,
Был отмечен в траве лопатами
Тихий ласковый уголок.

Вышло время обряду скорбному.
Яма, вырытая давно,
Словно ухо Земли,
Которому
Слышать радости не дано.
«Слушай, степь!»
Травы шепчут: «Слу-у-шаю...»
«Мы не гости в краю твоем,
Отдаем тебе нашу лучшую,
Мать товарища отдаем...»
«Отдаю...»
На глаза сыновние
Опустился траур бровей.
Зазвучала в лесу симфония
Тихим шумом
Трав и ветвей.

* * *

И жизнь,
Неустанная жница,
Живых увела за собой...

Теперь перед рощей пшеница
Шумит и шумит, как прибой.
Над степью, как море, волнистой
Колеблется дымчатый зной.
Лишь роща в разлив золотистый
Стоит зелена, как весной.

Страда!
Это хлеб в колыханье
И пот, что струится со лба.
Страда — это, нет, не страданье,
Страда — это значит борьба.
Страда — это, с леностью споря,
Истрачивать силы в труде.
Егор, присмиревший от горя,
Старался забыться в страде.

А роща шумела, корила:
«Давно у меня не бывал,
Давно на родную могилу
Цветов запоздалых не рвал.
Давно не стоял перед нею
С упрямою думой своей!..»
Егор, перед рощей краснея,
Под вечер торопится к ней.
Любуясь пушистою остью,
Трудившийся в десять потов,
Идет он с пшеничною горстью,
Неся ее вместо цветов.

Вот холмик в зеленой рубашке,
Надетой, чтоб скрыть черноту.
На травках — ромашки, ромашки,
Последние в этом году.
В ромашках весь холмик горбатый.
Егору легко угадать,
Кто выведать мог, что когда-то
Любила их старая мать.

Кто сердцем хотел и душою
Не мертвой —
Живой угодить.
Егор вдруг увидел большое,
Чего никогда не забыть.

И сердце сильней застучало.
Могила...
Простой бугорок...
В нем отчего края начало,
В нем будущей жизни залог.
В соседстве береза кривая
Листву всполошила свою:
Стремился ты к отчему краю,
Будь счастлив, ты — в отчем краю!

Он слышит:
«Не мешкай, не мешкай,
На верную стежку ступи!
Взгляни, одинокою вешкой
Любовь твоя зябнет в степи.
Как цепью,
Косой золотою
Не зря приковать норовит...»

Егор пред ее красотою
Совсем безоружный стоит.
Вот Аннушка,
Голову вскинув,
Как будто чуть-чуть подросла
И руки свои колдовские
Навстречу ему понесла.
Притихла,
В глаза загляделась,
А вечер прохладен и тих...

Над ними звезда загорелась
Большая — одна на двоих.

1956

Проданная Венера

Я был у старших на примете.
И вот однажды мне велят
На комсомольском комитете
О красоте прочесть доклад.
Мой вкус был самый деревенский,
А други просят:
— Не забудь
О красоте, ну, знаешь, женской
В своем докладе помянуть.

А что я знал?
Что есть сутулость
И есть девическая стать?
На чем душа моя споткнулась,
Не надо мне напоминать.
И все же будущего ради,
Марая белые листы,
Задумал я в своем докладе
Раскрыть все виды красоты:
Все то, чем люди восторгались,
С чем шли, рассеивая мрак.
Все темы прочие давались,
А тема женская —
Никак!

Не помогал мне опыт древний,
Что лег в пудовые тома...
Все лезет на глаза деревня,
Подслеповатые дома,
И щучьи зубы частокола,

И ребра старого плетня,
И школа сельская...
Та школа,
В которой около меня
Сидела Граева Наташа...

В те дни она такой была,
Что ничего природа наша
Прекраснее не создала.
В деревне, помню, говорилось
С насмешкой острою, как нож:
— Ты что-то, девка, загордилась —
Как Ната Граева идешь!

Теперь
Хочу увидеть снова
Все то, что память сберегла.
И речка времени былого
Перед глазами потекла.

Избрал я место наудачу
У каменного голыша,
Сижу за кустиком — рыбачу,
Ловчусь перехитрить ерша.
С настойчивостью непонятной
Мечтаю о его клевке
И все смотрю,
Как луч закатный
Разнежился на поплавке.

Не видел я, как по откосу
Прошла она,
Как на песок
Одежду сбросила
И косы
Под синий спрятала платок.
Но видел я,
Как стихли воды,
Когда она к реке прошла —
Фантазия!
Каприз природы!
Причуда света и тепла!

Она, омытая лучами,
Когда вода коснулась стоп,

Легонько повела плечами,
Как будто сбросила озноб.
Волна пред нею расступилась
И снова преградила путь...
Блестели плечи,
Золотилась
Ее заносчивая грудь.

Там,
Над речною глубиною,
Произнесли мои уста
Еще не троганное мною
Большое слово:
Красота.

Ничем
Не помешав Наташе,
Преодолев блаженный стыд,
Я подстерег ее тогда же
У зеленеющих ракит.
Как, вспоминаю, сердце билось,
Когда, проплавав полчаса,
Она пришла, остановилась
И заглянула мне в глаза!
Смутилась вдруг,
Стыдливой стала...
В моих зрачках —
Ей-ей, не лгу! —
Себя, должно быть, увидала,
Какой была на берегу.

А старики —
И это тяжко —
Судили Нату под гармонь:
— Конем любуются в упряжке,
Конь на гульбе
Еще не конь...

Спеша продлить воспоминанья,
Как в прежние твержу я дни
Знакомое ей заклинанье:
«Ты с глаз моих не уходи!»
Но время воздвигает стены,
И самой страшною стеной

Огни и дымы дней военных
Заколыхались предо мной...

И вскоре
Я ее увидел,
Взглянув на мир из-под руки,
Не на гульбе —
В том самом виде,
Как выражались старики.
Увидел с темными горшками,
Перекаленными в печах,
С шестипудовыми мешками
На перекошенных плечах.

Порядок слов,
Звучавший мило,
Теперь бросал все тело в дрожь:
— Ты что-то, девка, приуныла —
Как Натка Граева идешь!..

При встрече
На дороге пыльной
Ее глаза несли мне весть,
Что от работы непосильной
Вся свяла, не успев расцвесть.
Лицо обветренно и грубо.
И шла она,
Не шевеля
Губами,
Потому что губы
Потрескались,
Как в зной земля.

Давно успела позабыть,
Что до поры иссохли груди,
Что стала по земле ходить,
Как ходят пожилые люди,
Что живость света и огня
В ее глазах давно заснула.
В мои с надеждой заглянула —
И отшатнулась от меня.

В моих,
Повидевших немало,—

А в них я все сберечь могу! —
Себя в соседстве увидала
С той, прежней, Натой,
Что стояла
Передо мной
На берегу.

Я знал,
Что из морщин бессчетных,
Примеченных издалека,
Любая черточка почетна,
Как честный шрам фронтовика.

* * *

За боль,
За раннюю сутулость
Спеши сторицею воздать.
Найди же, чем не стала юность
И чем она могла бы стать!
На чем от самого рожденья
Не отразятся
Ни ветра,
Ни мировое потрясенье,
Ни горе одного двора.

Ищи прекрасное на свете,
Суди, оправдывай, вини
И по нетронутой монете
Монету стертую цени.
Не изменив мечтам заветным,
По жизни в поисках пройди.
В каком-то облике бессмертном
Наташу Граеву найди.

Ее судьба да будет вехой,
Повсюду видной хорошо.
Искал я.
И в книжонке ветхой
Ее бессмертье я нашел.
Рука, листавшая устало,
Успела, к счастью, долистать
До той,

Кем милая не стала
И кем она могла бы стать.

Я видел:
В радостном полете
Кисть жизнетворца создала
Всю красоту горячей плоти,
Причуду света и тепла.
Влюбленный и ревнивый гений
В слиянье радости и мук
Набросил матовые тени
На легкие изгибы рук.
Такой лететь туда, где боги!
И он, уже не тратя сил,
Куском парчи,
Упавшим в ноги,
Ее чуть-чуть отяжелил.

Едва приметными мазками
На долгий срок,
На вечный срок
За темными ее зрачками
Свет человеческий зажег.
Тем светом ей
Печаль, тревогу
И горе изгонять дано.
С такой легко искать дорогу,
Когда становится темно.

Она стыдлива без ужимок,
Как та,
Которую я знал...
И это был
Всего лишь снимок,
А где же сам оригинал?
Где рождена?
В какие эры,
В какой из поднебесных стран?
И кто она?
Прочел: «Венера».
А чуть пониже: «Тициан».
И тут же на бумажной сини
Отчетливо и на виду
Приписка: «Собственность России».

Прекрасно!
Я ее найду!

И снова,
В поиски ушедший,
Всем говорю:
Мол, так и так...
Смеются:
— Что за сумасшедший!
Венеру ищет! Вот чудак! —
Какой-то полный незнакомец
Откашлялся и пропыхтел:
— Избаловали!..
Комсомолец,
А тож — Венеру захотел!

Иду,
Чем дальше, тем смелее
По городу — через снега,
Иду в картинных галереях
Через минувшие века,
Через сокровища народов,
Не падая пред ними ниц,
Через толпу экскурсоводов,
Учеников и учениц.

Переходя от века к веку,
В людской толкаясь тесноте,
Они пришли сюда, как в Мекку,
На поклоненье красоте.
И красоте той благородной
Себя отдавши целиком,
Тянусь и я к ней,
Как голодный
За хлебным тянется пайком.

Ее ищу я в каждом зале,
В простенках каждого угла.
— У вас Венера не была ли?
— Нет,— отвечают,— не была.—
Вновь объясняю по порядку:
— Амур и зеркало...
Рукой
Венера поправляет прядку...—

Вновь слышу:
— Не было такой.

Но вот совсем неподалеку
Бородка над толпой всплыла.
Блеснуло старческое око
Из-под очков.
— Была! Была!

И вспомнил я,
Как поезд мчался
В лесную родину мою,
И я с таким вот повстречался
В металлургическом краю.
Теперь мне вспомнилось,
Как ночью,
В огнях увидев домен ряд,
Похвастал кто-то:
— Между прочим,
Я строил этот комбинат.—
Добавил, ус крутнувши лихо,
Что ставил там прокатный стан,
А старец, вот такой же, тихо
Заметил:
— Вы и Тициан.

Тогда,
Болтавшие о многом,
Толкуя обо всем слегка,
Как на обиженного богом,
Взглянули мы на старика.
И он притих,
Ни об искусстве,
Ни о других делах страны
Уже не говорил,
Лишь с грустью
Посматривал со стороны,
Как спорил с химиком строитель.
Так грустно на исходе дней
Разочарованный родитель
Глядит на выросших детей.

Теперь старик подвижен, светел.
Узнал и вновь не узнаю.

— Вы вспомнили ее?! —
Ответил:
— Я вспомнил молодость свою.

Мы шли,
И не было мне странно,
Что говорил он не шутя:
— Вы знаете, у Тициана
Она не первое дитя...—
Дрожало старческое веко,
А он твердил мне об одном:
— Полвека! Да, мой друг, полвека
Я был ее опекуном.

Все черточки лица страдали,
Кривились, будто был он пьян.
— Что ж стало с ней?
— Ее продали.
— Куда?
— Туда... за океан.

Мы продаем
И лес и кожи,
Но красоты нехватка в нас!
Едва ли нужен и возможен
Большого горя пересказ.
Он знал,
Что жили небогато,
И ведал, продана зачем,
Но только личные утраты
Не восполняются ничем...

Когда
В Магнитогорске рыли
Для первой домны котлован,
Она плыла за океан.
Навстречу ей машины плыли.
Он говорил об этой встрече
Так,
Словно сам с ней в рабство плыл.
— Я парусиною прикрыл
Ее блистательные плечи.—
Он рисовал мне

Небо в тучах,
Над палубой туман густой...

За красоту времен грядущих
Мы заплатили красотой.

* * *

И с ней,
Не встретясь,
Я простился.
Нерадостен был мой уход.

Заснул я поздно.
Мне приснился
Металлургический завод.
Мне снились волны
В кудрях пены,
Бегущие за край Земли,
Мне снились грузные мартены,
Похожие на корабли.
Пусть окна в них
Прикрыты плотно
И лишь на каждом красный глаз,
Но и в зашторенные окна
Бьет пламя,
Обжигая нас.

Но что такое?!
Шум стозвучный
Вдруг стих, рассеялся угар.
С открытым ртом стоит подручный,
Бородку щиплет сталевар.
В глазах у парня бес запрыгал,
И не возьму никак я в толк,
С чего он громко загыгыкал:
— Гы, баба!.. Голая!..—
И смолк.

Гляжу я,
Тоже ошарашен,
Дивлюсь, как на печной пролет
Походкой легкою Наташи
Венера русая идет.

Боса, парчой полуприкрыта
В угоду прежним временам,
На крошки ступит доломита,
Поморщится —
И снова к нам.
Глядит все пристальней,
Все строже.
Ни слова нам не обронят.
Хочу, мол, посмотреть,
За что же
Вы про...
Вы отдали меня.

Старик,
Тихонько увлекая
Меня от гостьи и зевак,
Спросил негромко:
— Кто такая? —
Я мастеру: мол, так и так...
Мол, помните,
Когда здесь рыли
Для первой домны котлован,
Она плыла за океан.
Навстречу ей машины плыли.

И мастер,
Подошедши близко,
Остановился перед ней
И поклонился низко-низко,
Сняв кепку с головы своей...
Помедлил,
Дав словам отсрочку,
Потом, прижав ладонь к груди
Заговорил:
— Прости нас, дочка...
Все видела, теперь суди.
Бывало, бьюсь,
Из кожи лезу,
И недопью, и недоем.
Мы пропадали без железа,
И рабство нам грозило
Всем.
Как строились,
Душой болея,

Ты, вечная, нас не поймешь.
И что тебе!
Ты, не старея,
До коммунизма доживешь.
Захочешь жить у нас, к примеру,—
Гости без никаких бумаг...—
Старик вздохнул:
— Вот так, Венера...
По батюшке не знаю как.

Я посмотрел
И вздрогнул даже.
В горячем отблеске огня
Уж не Венера,
А Наташа
С укором смотрит на меня.
Вновь покорила
Ясность взора
Глаз темных, затаивших зов,
Как затененные озера
Среди нехоженых лесов.
В них,
Укрываясь от напастей
Души глубинной чистотой,
Надежда на большое счастье
Все ходит
Рыбкой золотой.

Друзья не сразу догадались,
Что говорит она со мной:
— Вы перед вечной оправдались,
Попробуйте перед земной...

* * *

Не знаю,
Так ли я ответил,
Когда в суровой простоте
На комсомольском комитете
Читал доклад о красоте.
Встречая взглядом
Взгляд сердечный
Сидевших прямо предо мной,
Я с грустью говорил о вечной
И с болью вспомнил о земной.

Я говорил,
Как перед Натой:
История от первых дней
Ни перед кем не виновата,—
Виновны только перед ней.
Одной цепи я вижу звенья,
Сработанные не вчера:
И мировые потрясенья,
И горе одного двора.
На все
Я в жизни вижу отклик,
От горя к радости мосты.
Судьба Наташи — это подвиг.
А подвиг стоит красоты.

Глазами встретившись с одною:
— Ты знаешь ли,— сказал я ей,—
Какой заплачено ценою
За легкий взлет
Твоих бровей? —
Не знаю, так ли
Двум мальчишкам,
Зевнувшим нехотя в кулак,
Сказал я, может, строго слишком.
Послушайте,
Сказал я так:

— Все позабудется на свете,
Все сгладится в конце концов.
Вам, избалованные дети,
Не вспомнить бедности отцов.
Вам подавай лишь то, что мило,
Красавицу и сад в цвету.
Кровь пролилась,
А не чернила
В сражениях за красоту.
Вам огорчительно до боли,
Вам оскорбительно до слез,
Что материнские мозоли
Не пахнут лепестками роз.

Наташи прежней мы не встретим,
Но людям жить и быть красе.
На этот раз уже не детям,

На этот раз сказал я всем:
— Рост красоты по дням и годам
Мы обеспечим — верю я,
Как обеспечен курс рубля
Всем достоянием народным!

Мечтатель,
Верный почитатель
Земных красот,
Признайся, брат,
Что виноват,
И я, читатель,
С тобой в растратах виноват.
Мы равнодушны и незрячи,
Не знаем,
Что смелей резца
Моя ль,
Страны ли неудача,
Морщинку, складку обозначив,
Коснется каждого лица.
Судьбу,
Сгибающую лучших,
Мы не берем за горло:
«Стой!»

За красоту
Людей живущих,
За красоту времен грядущих
Мы заплатили красотой.

1956

Золотая жила

О любви,
О гордой жизни деда
Я, приписанный к его судьбе,
Не в семейной хронике разведал,
Я ее разведал по себе.
Жить бы,
Молодых бровей не хмуря,
Но беда похожа на беду
Только потому, что жизни буря
Прошумела у меня в роду.
Принял я тревожное наследье,
По нему былое узнаю...

Но пора!
Отбросим полстолетья
И вернемся в Марьевку мою.

С вызовом
Выбрасывая звоны,
Молотом играет Харитон.
«Будь покорен»,— говорят законы.
Только Харитону что закон!
Молодой,
Лицом и телом ладный,
Лошадь зашибавший кулаком,
То, что величаем мы кувалдой,
Называл он просто молотком.
У него в руках железо пело,
У него от жаркого труда

На лице румяном накипела
Черная с рыжинкой борода.

Что ему,
Когда он сам как главный.
По тайге на сотню верст вокруг
Лишь один ему по силе равный,
Да и тот ему любезный друг.
Не один опустит злое око,
Как пойдут они на шумный яр,
Харитон, поднявшийся высоко,
И в плечах раздавшийся Назар.
Как придут они туда да стукнут
С силой, застоявшейся в ногах,
Аж леса окрестные аукнут,
Озеро качнется в берегах.
Сила их носила, возносила
Над безумьем деревенских драк.
Лишь однажды их лесную силу
Подлость одолела...

Было так:
Крики,
Свисты.
Это всею сходкой
Старосте Царьку деревней всей
Жеребца ловили, пятигодка,
Самых удивительных кровей.
Рыжий, как огонь,
Как ветер, скорый,
Он скакал меж криками:
«Гони!..»
На подворьях рушились заборы,
В огородах падали плетни.

— Эй ты, нелюдь! — голос Харитона
Резанул хозяину нутро.—
Ставь, Царек, ведерко перегона,
Мы поймаем!
— Полведра.
— Ведро!

Сговорились.
В узенький проулок

Встали други, каждый крепколап.
Стук копыт, как на морозе, гулок,
Дик и устрашающ конский храп.
Из ноздрей — белесые колечки,
Хвост и грива брошены вразмет.
От него. как от горячей печки,
Еще задаль жаром обдает.
Взвился на дыбы,
Да мало толку.
Харитон, лицом почуя жар,
Левою рукой схватил за холку,
Правой за ногу...
А тут Назар!..
Под железной дедовой рукою
Падать к человеческим ногам
С гордостью и кротостью такою
Было бы не стыдно и богам.

И Царек уж тряс друзей за плечи,
Уговаривая и браня:
— Черти некрещеные, полегче,
Не губите доброго коня! —
А потом, ругая Харитона,
На его сподвижника ворча,
Вынес им ведро — не перегона,
Ладно и того, что первача.

Был бы там,
Решился бы, спросил я,
Отчего был дед на зелье лют,
Почему сыны твои, Россия,
Больше всех на свете водку пьют?
Почему?..
Не надо удивляться.
Наши деды по нужде, поверь,
Пили столько,
Что опохмеляться
Внукам их
Приходится теперь.

— Пей!.. Гуляй!..—
Царек косил на пьющих,
Замышляя что-то против них,
Непокорных,

Власть не признающих,
Непохожих в жизни на других.
Подчинясь его, Царьковой, воле,
На того, кто стал им не с руки,
Расхрабрились,
Выломали колья
Харитона злые шуряки.

Не затем роднились с ним
Три брата,
Чтобы он с железною рукой
От жены из их семьи богатой,
Значит, и от них,
Пошел к другой.
За позор сестры они платили,
Как не платят за разор врагу,
Другов били,
Другов молотили,
Как снопы молотят на току.
Не было отпора низколобым.
И как стало на дворе темно,
Положили рядом их,
Всем скопом,
Закатили на́ груди бревно.

Ночь,
И освежая и врачуя,
Укрепила их глубоким сном.
Харитон очнулся.
— Чуешь?..
— Чую...
Харитон опять:
— Дыхнем?
— Дыхнем.

Как очнулись —
Сила воротилась,
Отданная ими за вино,
Как дыхнули,
Так и покатилось,
Будто с горки,
Толстое бревно.
На широкой выспались постели,
Пестряди домашней не стеля.

Встали,
Обнялись,
Пошли,
Запели,
Шурякам покоя не суля:

«У солдатки
Губы сладки,
У вдовы
Как медовы,
У законной у жены
Как ковриги аржаны...»

* * *

Было так:
Дыша прохладой леса,
Раздвигая темень хвойных штор,
К лиственнице крепкой, как железо,
Шел кузнец испытывать топор.
Пело сердце,
В листьях пели птахи.
Что там птахи, коль, всегда тихи,
На посконной праздничной рубахе
Вышитые пели петухи.
Он и сам запел...
Но, зло пророча,
В развеселый птичий переклик
Подмешалась трескотня сорочья,
Треск валежника
И женский крик.

Он раздвинул бремя навесное
И увидел, глядя в полумрак,
Как шаталось чудище лесное,
Жадно щуря маслянистый зрак.
В страхе пятилась,
С малиной сладкой
Прижимая к сердцу туесок,
Глаша, темнокосая солдатка,
От большой беды
На волосок.

Видел он,
Успев осатаниться

И откинуть руку на замах,
Как метались синие зарницы
В темных
Перепуганных глазах.
Не сосна
В минуту буревала —
На густой малинник, как гора,
Старая медведица упала,
Острого отведав топора,
И лежала после этой схватки,
Разодрав одежду о кусты,
Глаша, тонкобровая солдатка,
В полном цвете бабьей красоты.

Будто видел он совсем другую,
От которой глаз не отвернуть,
И смотрел на белую, тугую,
Ягодой осыпанную грудь.
А когда, забыв про поединок,
Нес ее в народную молву,
Изо всех веселых ягодинок
Только две не падали в траву.

Его сердце
К сердцу Глаши льнуло.
Чтобы одиноко не стучать,
Сердце Харитона подтолкнуло
Сердце,
Переставшее стучать.
Изо всех чудес лесного мира
Лишь она была нужней всего.
Нес и повторял:
— Очнись, Глафира!..—
И она очнулась для него.

И пока донес,
Легко ступая,
Мягкою травою не шурша,
Темная,
Крестьянская,
Скупая
Нежностью истаяла душа.

И однажды
Ночью черно-бурой

Он пришел, наветам вопреки,
Бросил за порог медвежью шкуру
И о шкуру вытер сапоги.
Грубый,
В домотканое одетый,
Не читавший даже букваря,
Он сказал, как говорят поэты:
— Золотая искорка моя!

* * *

Все, чем жил,
Вдруг стало жизнью дальней.
Он для Глаши душу отворил
И ковал на звонкой наковальне,
Будто с ней все время говорил.
Как умеет петь металл горячий!
Чем краснее он и горячей,
Тем певучей,
Искренней и мягче
Благородный тон его речей.
Обожжется молот и запляшет
Пьяным дружкой в свадебном чаду,
И звенит он:
«Глаша! Глаша! Глаша!..»
И зовет он:
«Жду!.. Жду!.. Жду!..»

Звон условный,
Глашу зазывая,
Долетал и до того окна,
Где сидела, тоже не глухая,
Хмурая законная жена.

Помнит: сговорились не сердцами.
Помнит: в торге, долгом и скупом,
Было все устроено отцами,
Скреплено законом и попом.
Не поможет мамкина икона,
Бабушек даренье — образа,
Если выше всякого закона
Оказались Глашкины глаза.
Бог дает и радости и муки,
Только непонятно,— хоть убей! —

Почему же нынче божьи руки
Оказались Глашкиных слабей?

Руки Глаши,
Если обовьются,
Их уже ничем не разорвать,
Губы Глаши,
Если улыбнутся,
До сухоты будешь тосковать.
Сердце Глаши!
Дай ему раскрыться —
И увидишь счастье в тайнике.
А ресницы?
В Глашиных ресницах
Заблудиться легче, чем в тайге.
Ласки Глаши!
Ласковые ласки —
И огонь, и сладкий хмель вина...
И сосна,
Чтоб не было огласки,
Все гудит над ними, как струна.

Станет Глаша
Пьяной и незрячей,
Чтобы дома,
Радуясь опять,
С белой кофты след руки горячей
С гордою улыбкой замывать.
Не пристала к ней тоска-забота
Даже в день,
Когда ей, как враги,
Дегтем разукрасили ворота
Милого лихие шуряки.

* * *

Харитону что?!
Опять смеется,
Смелого ничто не устрашит.
А солдат с войны к жене вернется,
Если вражья пуля разрешит.
Вражья пуля многих порешила,
Положила в сопках отдыхать,
А ему, Игнату, разрешила

Дорогую Глашу повидать.
Все она Игнату прежней снится,
В теплом свете марьевской зари.
Замолчи, услужливый возница,
Ничего о ней не говори!..

Как тайга,
Лицо солдата хмуро,
Будто защищавшему редут
Павшие твердыни Порт-Артура
Все еще покоя не дают.
Все непрочно,
Слишком скоротечно
Для солдат, ходивших на войну.
Царь одно из двух давал навечно:
Смерть на фронте,
А в тылу — жену.
Лишь она приписывалась прочно.
Потому и нес для жизни впрок
Из далекой
Из земли восточной
Спрятанный в бутылке тополек.

Вот и двор.
Солдат перекрестился,
Ручеек по плахе перешел.
Хорошо, что дом не покосился
И целы ворота. Хорошо!
Хорошо, что двор не оголила.
На воротах, чтобы все по ней,
Старые дощечки поскоблила.
Тоже ладно —
Этак веселей.

Мудрость жизни —
Вот за службу плата.
И жену, какой бы ни была,
Десять лет служившему солдату
Спрашивать не надо,
Как жила.
В приступ жажды
Пьющего из чаши
Обожжет и студная струя.
Будто и глазам не верил.

— Глаша?! —
Подтвердила:
— Я, Игнаша, я...

Пусть жена
Не так, как надо, встретит,
Все равно солдат от счастья слеп.
Долго голодавший не заметит,
Мягкий или черствый
Ест он хлеб...

Как встречала да привечала,
От людей не утаишь...
Отчего ты, кузня, замолчала,
Отчего, как прежде, не звенишь?
Или твой кузнец уже не молод,
Или с другом сел за бражный стол?
Как узнал он
Да как поднял молот —
Б-бах!..—
И наковальню расколол.

И, таежной мерой горе меря,
Он метался в хвойной темноте:
— Где вы тут, невиданные звери,
Я зову вас, отвечайте, где?..

Зверь не шел.
И сам, как зверь косматый,
На душе которого темно,
Он прибрел на пиршество солдата
Под резное Глашино окно.
В доме пили,
В доме песни пели.
Не при нем, метавшемся в тоске,
Половицы старые скрипели
И горшки гремели на шестке.

А у ног его
Дрожал росточек
Самой неприметной высоты.
Тополька единственный листочек
Трогал свет мигающей звезды.
В диком буйстве богатырской крови,

В час обиды на душу тяжел,
Поднял Харитон сапог в подкове,
Будто виноватого нашел.
А листочек вдруг засеребрился,
Вроде запросил:
«Не будь жесток!..»
Подобрел и рядом опустился
Харитона кованый сапог.

На семейном пиршестве ненужный,
Он ушел в рассветную зарю.

До сих пор за шаг великодушный
Я тебя, мой дед, благодарю.

О беде понятья не имея,
Тополь рос и, кривенький, прямел.
Он потом над юностью моею,
Над моей любовью прошумел.
Горе и теперь в сердца стучится,
Но сердца вольны
Вступать с ним в бой.
И со мною не могло случиться,
Что случилось некогда с тобой.

* * *

На березках —
Желтые платочки.
Появилась, лету вопреки,
Листьев золотая оторочка
На зеленом поясе тайги.
И зима проворными перстами
К Глашиному дому
Все пути
Застелила белыми холстами:
Коли смел, попробуй наступи!

И, леса густые облетая,
Чтоб изгнать из памяти весну,
В белые меха из горностая
Нарядила каждую сосну.
И не только лес зиме поддался,
Даже люди, взятые в полон,

Белизной утешились.
Остался
Неутешным только Харитон...

Не звони,
Не наводи истомы!..
Как пойти ей на такой набат,
Если каждый след ее от дома
Заприметит пасмурный Игнат?!
Но была в надрывном звоне сила,
Пред которой Глаша не вольна.
Вышла на крыльцо,
С крыльца ступила,
На окно лицо оборотила,
Стала к кузне пятиться она.

Видишь, муж,
Домой ведут следочки.
Пятится —
И в луночке любой
Тяжело печатаются строчки
Валенок, простеганных тобой.
Пятится она к желанной цели.
И больнее, чем дано рукам,
Белый снег
Поднявшейся метели
Бьет ее с размаху по щекам.
Только бы дойти,
Не оступиться!..
А метель, проклятая, метет,
Индевеют темные ресницы,
Стынут слезы,
Но она идет...

* * *

Берегись, жена,
Придет расплата
За твою бессовестную ложь!..
С пулями хитрившего солдата
Ложным следом ты не проведешь.
Десять лет ему, солдату, лгали,
Правду-матку пряча за мундир,
Десять лет солдатом помыкали.
Нынче сам он бог и командир!

Ты солдата не смягчишь слезами,
Он еще свою покажет власть...
Ведь недаром под его усами
Горькая усмешка прижилась.
У него своя игра с женою:
Упредил и не шумит пока,
Чтобы этой ложной тишиною,
Как на фронте,
Обмануть врага.

Стоит лишь солдату отлучиться,
Сделать вид, что конь его умчал,
Харитон в окошко постучится...
Так и вышло,
Дед мой постучал.

Глаша стук условный не забыла,
Выбежала в сенцы в чем была,
Торопливо двери отворила,
В горницу, как прежде, провела.
Не успел желанный гость раздеться,
Не успел прижать ее к груди,
Стук раздался...
Никуда не деться.
Может, кто другой?
Пересиди.

Вышла Глаша.
Руки, леденея,
Поступают с мыслями не в лад.
Отворила.
Вырос перед нею
С прежнею усмешкою Игнат.
Прошагал лениво мимо Глаши,
Не сказав ни слова, не кивнув.
Прошагал в передний угол,
Даже
В круглые глаза не заглянув.

Он своей не изменил походки
И спокойно, будто не был зол,
Полную бутыль казенной водки
Из кармана
Выставил на стол.

Шубу снял.
И молвил тихо, странно,
Словно пересиливая хворь:
— Принеси-ка, Глаша, два стакана
Да закуску малую спроворь.

И легли,
Храненные особо,
На тарелку,
Словно близнецы,
В золотистых крапинках укропа
Крепкого посола огурцы.

Одарил улыбкою скупою,
От которой набежала дрожь,
Положил Игнат перед собою
Вместо вилки свой солдатский нож
И сказал, давая волю блажи:
— Харитон! Не прячься, выходи.
Посидел, помиловался с Глашей,
А теперь со мною посиди!..

Поначалу будто и не слышал,
А потом, намучившись в углу,
Поразмыслил Харитон и вышел
Из веселой горенки к столу.
А Игнат полюбовался зельем
И спросил, не торопясь разлить:
— Что же, как жену с тобою делим,
Так и водку поровну делить?

Два стакана
В тайном гореванье
Разом над столом приподнялись.
Стукнулись шлифованные грани,
Звякнули —
И мирно разошлись.
Молча выпили по мере русской.
Тут Игнат, недобрый глаз скосив,
Острием ножа поддел закуску,
Сунул в губы гостю:
— Закуси!..—
Замер гость.

И зубы сжались сами.
Напрягая шею, не дыша,
Огуречный ломтик он губами,
Мускулом не дрогнув, снял с ножа.

Гость жует.
Игнат ему ни слова.
С гневом, накопившимся в душе,
Снова наливает он...
И снова
Подает закуску на ноже.
— Закуси!..—
И снова испытанье,
Но теперь в жестокой тишине
Каждый слышит трудное дыханье
Глаши,
Прислонившейся к стене.

Вновь полны стаканы.
С третьим звоном,
С третьим подношением ножа,
Глаша на пол рухнула со стоном...
Встал Игнат.
— Ну, погостил — и ша!..

* * *

Что теперь?
Куда податься силе
С первой сединою на висках?
Самого поймали и скрутили,
Как того, Царькова, рысака.

После угощения солдата
Стала Харитону жизнь тошна:
Страшен был не острый нож Игната,
А неволя Глашина страшна.
Радость жизни обернулась пыткой.
Харитону тоже не легко...
И с полатей дети — Мотька с Митькой —
С любопытством смотрят на него.

Жаль их! Жаль...
Но ни душой, ни телом
Вновь он не приклеится к жене.
Два куска железа,
Что ни делай,
Не сварить на маленьком огне.

Так бы жил,
Тяжелый и суровый,
В чистоте любви непогрешим...

Надоумил человек торговый,
Ехавший с обозом на Ишим.

Он сказал:
Мол, зря тут держишь силу.
В той сторонке, где встает заря,
Набредешь на золотую жилу —
И дойдешь, богатый, до царя.
Сесть с тобою он сочтет за благо,—
Золото и для царей не сор.
Будешь кушать царскую кулагу
И вести неспешный разговор.
То да се...
Поскольку он в короне,
Так и быть уж, сделаешь поклон,
Намекнешь о Глаше, о законе.
Царь мигнет —
И побоку закон.

Пригревая,
Шла весна полями,
С появленьем первой теплоты
Желтыми мохнатыми шмелями
Вылупились вербные цветы.
Шла весна
Под спевку птичьих хоров,
Осыпая почками кусты.
Шла весна
И с тихих косогоров
Скатывала белые холсты.

Вот и Пасха.
Дни загорячели,
Загуляли люди на селе,
Закачались на яру качели.
Кто плясал, кто пел навеселе.
В пестроту дешевенького ситца,
Невеселый, сдержанный в речах,
Вышел Харитон
С людьми проститься,
Вынес Митьку с Мотькой на плечах.

Нес их от лужайки до лужайки,
Нес их к яру, выйдя на межу.
— Ухожу!
Детей не обижайте,
Не от них — от горя ухожу...—
Нес любимых,
На себя похожих.
И все трое — головы в поклон.
— Тышша поманила, Харитоша? —
Как услышал, замер Харитон
И сказал, подняв детей повыше:
— Вот моя тышша!..
И вот моя тышша!..

И ушел.
Он был на это волен...
Долго-долго, бледная с зимы,
Глаша из-за тонких частоколин
Все смотрела вслед, как из тюрьмы...
Проводила тайными слезами,
Пожелала, чтоб дошел до той,
Где-то за горами и лесами
Скрытой богом
Жилы золотой.

* * *

Взяли жизнь
Таежные химеры.
Не ему везло — везло другим.
Ни в одном краю миллионера
Не встречали с именем таким.

День за днем
У памяти на страже,
Верст на сотни ставшие подряд,
Здесь, в тайге,
И в Марьевке для Глаши
Сосны одинаково шумят.

Лунными
Тревожными ночами
Снится ей один и тот же сон:
За рекой с неслышными речами
Одиноко ходит Харитон.
Дальний берег
Залит лунным светом.
Манит он ее, зовет: «Иди!..»
А она на берегу на этом
И никак не может перейти.

Весть пришла:
Живет он небогато,
Не дается золото ему,
И сбежала Глаша от Игната,
Не во сне сбежала —
Наяву.
И никто не рассказал толково,
Как ей отыскать любовь свою.
Думала, красивого такого
Разве же не знают в том краю!

Мир огромен.
Как под низкой тучей,
Что черна была и тяжела,
Шла Глафира по тайге дремучей,
К Харитону шла —
И не дошла...

Но уже
Решительно ступала
Революция с ружьем в руке,
Топором крестьянским прорубала
Просеки в нехоженой тайге.

Гордый дед мой,
Натрудив ладони,
Самородных жил не отворил,
Но с царем о Глаше,
О законе
Все же Харитон поговорил.

Верю:
Вспоминая о Глафире,
Шел он в бой...
И где-то у Читы
В павшем партизанском командире
Признавали дедовы черты.

1957

Бетховен

Он счастья ждал...

Когда ему дались
Все звуки мира —
От громов гремучих
До лепета листвы;
Когда дались
Таинственные звуки полуночи:
Шуршанье звезд
На пологе небес
И лунный свет,
Как песня белой пряжи,
Бегущей вниз...

Когда ему дались
Все краски звуков:
Красный цвет набата,
Малиновый распев колоколов,
Далась ручьев
Серебряная радость,
Дались безмолвья
Черная тоска
И бурое кипенье
Преисподней...

Когда ему дались
И подчинились
Все звуки мира
И когда дались
Все краски звуков,—

Молодой и гордый,
Как юный бог,
Стоящий на горе,
Решил он силу их
На зло обрушить.

Закрылся он,
Подобно колдуну,
Что делает из трав
Настой целебный,
И образ он призвал
Любви своей,
Отдав всю страсть
Высоким заклинаньям.

На зов его,
На тайное — «приди»
С улыбкою,
Застенчивой и милой,
С глазами тихими,
Как вечера,
Вошла Любовь,
Напуганная жизнью.

Вошла Любовь,
Печальна и бледна.
Но чем печальнее
Она казалась,
Чем беззащитнее
Была она,
Тем больше сил
Для битвы
В нем рождалось.

Уже потом
От грома,
От огня,
От ветра,
От воды,
От сдвигов горных
Он взял себе такое,
Перед чем
В невольном страхе
Люди трепетали.

Когда же это все
Соединилось
И стало тем,
Что музыкой зовется,
Пришли к нему
На гордое служенье
Апостолы
Добра и Красоты.

Они пришли
И принесли с собою
Валторны,
Флейты,
Скрипки,
Контрабасы,
Виолончели,
Трубы и литавры,
Как верные его ученики.

По знаку
Бурное его творенье
Со злом
За счастье
Начало боренье,
За чистоту,
За красоту страстей,
С жестокостью,
С пороками людей.

В громах и бурях
Небывалой мощи,
Преодолев презрение свое,
Он полоскал их души,
Как полощут
В потоке чистом
Старое белье.

И вот уже,
Испытывая жажду
Добра,
Любви,
Красивой и большой,
Томились люди,
И тянулся каждый

За просветлевшею
Своей душой.

Недоброе
И пагубное руша,
В борении
Не становясь грубей,
Он вскидывал
Спасенные им души
И в зал бросал,
Как белых голубей.

Великие
Преодолев мученья,
Всей силою
Своих волшебных чар
Он победил.
И мир его встречал
Слезами
И восторгом
Очищенья.

Он вышел в ночь
Сказать свое спасибо
Громам,
Ветрам,
Луне золотобокой,
Сказать спасибо
Водам серебристым
И поклониться
Травам и цветам.

Он проходил
И говорил спасибо
Высоким звездам,
Что ему светили,
Косматым соснам,
Рыжим тропкам леса
И перелетным иволгам
В лесу.

А на заре,
Когда он возвращался
К своей Любви,

Раздав благодаренья,
У городских ворот
С ухмылкой мерзкой
Несправедливость
Встретила его.

— Ты зло хотел убить,—
Она сказала.—
Убей свою любимую сначала.
Любовь тебе, великий,
Изменила,
Тебя
Пустому сердцу предпочла.

Он был упрям
И сразу не поверил,
Все шел и шел.
Гонимый той же страстью,
Все шел и шел,
Пока лицо Измены
Не подступило вдруг
К его лицу.

Бетховен вздрогнул
И остановился,
Закрыл глаза
От горя и обиды
И, голову клоня
Перед судьбою,
Взревел,
Как бык,
Ударенный бичом.

И лоб его,
Досель не омраченный,
Тогда и рассекла
Кривая складка,
Что перешла потом
На белый мрамор
И сохранилась в камне
На века.

Убитый горем,
Он восстал из праха,

Тряхнул своей
Бетховенскою гривой,
Сжал побелевшие
От гнева губы
И стал опять
Похожим на бойца.

— Ты сгинешь, зло,—
Грозил ему Бетховен,
А вместе с ним
Грозил и всем порокам,—
Вы все-таки погибнете,
Пороки,
Умрете,—
Он сказал,—
В утробе зла!

Постыдные,
Сегодня вы живете
Лишь только потому,
Что я ошибся,
Лишь только потому,
Что в нетерпенье
Не соразмерил
Голоса стихий.

Людское зло
Я изгонял громами,
Людской порок
Я изгонял огнями,
Не догадавшись вовремя,
Что ими
И без того
Уже разбужен страх.

На этот раз
Начну совсем иначе,
Возьму в расчет
Совсем иные силы.
Я поступал
Как гневный небожитель,
А поступлю
Как скорбный человек.

На этот раз
Из всех звучаний мира

Все нежное
Возьму себе в подмогу,
И то,
Чего не сделал
Страхом кары,
Свершу любовью я
И красотой.

Закрылся он,
Подобно колдуну,
Что делает из трав
Настой целебный,
Призвал на помощь
Горести свои,
Чтоб силу дать
Страстям исповедальным.

Теперь он взял
От всех земных красот:
От птиц,
От зорь,
От всех цветов,
От речек —
Все чистое,
Все доброе, чему
В любви притворной
Люди поклонялись.

Все это взял он,
Как пчела нектар,
Как листья свет,
Как темный корень влагу.
Все это взял он
И соединил
Своей неутоленною
Печалью.

Соединив,
Разъял,
Как белый свет
На переливы радуг
Семицветных

Разъять способны
Капельки дождя,
Когда они
Встречаются с лучами.

Еще разъял —
И с нотного листа
Глядели знаки
Красоты дробимой.
Так нужно было,
Ибо красота
Лишь в чистом сердце
Станет неделимой.

— Да сгинет зло! —
Сказал себе Бетховен,
В зал поглядел
И пригрозил порокам:
— Вы все-таки погибнете,
Пороки,
Умрете вы
В самой утробе зла!

Он подал знак,
И в сутеми вечерней
Запели скрипки
И виолончели.
И повели,
Перемежая речи,
По горестным
Извилинам души
В тревожный мир
Исканий человечьих,
В тот новый мир,
Где не бывает лжи.

И юных повели,
И поседелых,
И павших всех,
И не успевших пасть —
За самые далекие пределы,
Где злое все
Утрачивает власть.

Они вели
К той милой,
Чистой,
Гордой,
К Возлюбленной,
Чье имя Красота,
Дойти к которой
По дороге горной
Всю жизнь мешала им
Недоброта.

И отреклись они
От жизни прошлой,
Порочной и корыстной,
В первый раз
Не от беды,
Не от обиды ложной
Заплакали,
Уже не пряча глаз.

Как дровосек
Со лбом разгоряченным,
Усталым жестом
Смахивая пот,
Он поклонился
Новообращенным
И вышел в ночь
Из городских ворот.

Он вышел в ночь
Сказать свое спасибо
Лесам,
Полям,
Создавшим человека,
И потому
Со дня его рожденья
Имеющим над ним
Большую власть.

— Я победил! —
Торжествовал Бетховен.—
Я победил! —

В порыве благодарном
Упал на травы он,
Раскинул руки
И прошептал земле:
— Благодарю!

Земля молчала,
И молчали птицы,
Леса молчали,
И молчали реки.
— Что вы молчите?! —
Закричал Бетховен
И не услышал
Крика своего.

До сей поры
Он не был одиноким:
Друзья ушли —
Любимая осталась,
Любимая ушла —
Была природа...
Теперь сама природа
Отреклась.

Когда он шел
Дорогою безмолвья,
Его опять
На перекрестке жизни
Уже беззвучным смехом
Повстречало
Убитое
И про́клятое зло.

Бетховен побледнел,
Остановился,
Нахмурил лоб
Под гривой богоборца,
С глубин души
Призвал для битвы звуки —
И тайным слухом
Он услышал их.

И победил
Сраженный победитель.
В борьбе со злом
Постиг он все законы.
Зло изощрялось
В хитрости,
В коварстве —
В искусстве добром
Изощрялся он.

И лоб его,
Отмеченный скорбями,
Еще не раз
Пересекали складки,
Что перешли потом
На белый мрамор
И сохранились в камне
На века.

1961

Аввакум

В горе,
Во печали
Русская страна.
Правда в ней и вера
Преданы насилью.
Всюду мор и голод...
Видно, сатана
Выпросил у бога
Светлую Россию.

Налетели бесы —
И пошел изврат,
Гадами неверье
Выползло из мрака.
Что винить тут бога,—
Бог не виноват,
Бог, завидев беды,
Подавал два знака.

Оперва,
Чтоб в храмы
Не вошла корысть,
В ангельские ризы
Плутня не рядилась,

Перед днем Петровым
Знамение бысть:
В красный день над Русью
Солнышко затмилось.

И беда приспела.
С воровским лицом
Окаянный Никон,
Смирненький дотоле,
В ризах, будто в сбруе,
Рыжим жеребцом
Заплясал,
Затопал
На святом престоле.

Злых,
На сов похожих,
На срамных совят
Поналяпал в храмах
Божеские лики.
Он же, лихоимец,
Никон пустосвят,
Древние
Святые
Начал править книги.

Дети, дети!
Где им
Знаменье понять,
Глупым, ад не ад им,
Пекло им не пекло.
Осерчал всевышний,
Грохнул — и опять
Над землею русской
Солнышко померкло.

Вновь пришла прокуда.
И за два перста,
Поднятых пред очи
Истинного лика,
Прямо с литургии

В пятый день поста
Взят был Аввакумка,
Бедный горемыка.

Привели к владыке...
Гневом возгоря,
Заревел владыка,
Что не даст потачки...
Встали супротивно
Два богатыря.
Вроде порешили
Драться на кулачках.

Связанные прежде
Больше, чем родством,
Нынче повстречались
Больше, чем врагами.
Никон протопопа
Норовит крестом,
Протопоп владыку
Норовит цепями...

— Отрекайся!
— Верю! —
Учинили шум,
В непотребной ссоре
Святость позабыли.
— Покорись владыке! —
Буйный Аввакум
Плюнул на владыку:
— На-кось, сын кобылий!

Налетели служки,
Как цепные псы,
С лаем рвут подрясник,
Пересилить силясь,
Бороду торгают,
Тянут за усы...
Одолели, бесы,—
Видно, не постились!

Псы поразбежались,
Да не дрогнул псарь,
Как вошел в палату

С личиком уставшим,
С глазками в слезинках
Богомольный царь,
За любовь и кротость
Прозванный Тишайшим.
На багрец кафтана
Слезы полились,
Покатились долу,
Впору умывайся.

Царь глядит с мольбою:
— Протопоп, смирись...—
Не велит, а молит:
— Миленький, покайся...

Протопоп взъярился:
— Худу не учи!
Бог, он правду любит.
Я ему за близких!..—
Засветились очи,
Будто две свечи
Загорелись в темных
Окнах монастырских.

Крепко веры слово,
Ежели в цепях
Это слово веры
Людям говорится.
— Верую до смерти,
Яко же приях! —
Государь заплакал
И ушел молиться.

За спиной московских
Храмов перезвон,
Будто возвернуться
Аввакума кличет,
А его — к Тобольску,
А его — в изгон,
А ему телега
Жалобно курлычет.

5*

Крестит он и крестит
Свой опальный лоб;
Гневный,
Шлет проклятья
Дьявольскому скопу.
В бога Саваофа
Верит протопоп;
Настя, протопопица,
Только протопопу.

Пастырь закудмийский
Крепко службу знал.
После служб истошных,
Где душа радела,
Мастерить ребяток
Втайне почитал
Тоже за святое
Божеское дело.

Марковна грудного
Греет у грудей,
Старшенькие детки
Теплятся под боком.
Муж — пророк,
Он сильный.
А легко ли ей,
Грешной русской бабе,
Наравне с пророком?

Крестная дорога
Ох как далека!
По полям да корбам,
По буграм да долам
Тарахтит телега.
Следом на века
Глубоко ложится
Колея раскола.

Мысли, что ухабы,
Пастыря трясли:
Грекам ли учить нас
Божеским наукам?

Своего-то бога
Греки не спасли,
Храмы Константина
Уступили туркам!

Гордый,
Так он думал...
В думах тоже лих,
Понося всегласно
Никона промашки,
И не знал, не ведал,
Что поссорил их
Мой однофамилец
Федоров Ивашка.

Мой однофамилец,
Может, предок мой,
Что за век до ссоры
При лучине чадной,
И не помышляя
Быть сему виной,
Дерзостно поставил
Свой станок печатный.

В городах,
В посадах,
В избах поселян
Обличал Петрович,
В службе богу верный,
Никона-собаку,
Злых никониан,
Латынян,
А с ними
Всяческую скверну.

Срамота.
Вертепище.
Бабы ржут: «Гы-гу!»
Мужиком медведище
Пляшет на кругу.

Задом трясет
Да в бубен бьет.

Кулачища веские
Вскинул божий князь:
В рожи богомерзкие
Хрясь!
Хрясь!
Хрясь!

В бровь ли, в ус ли.
Смолкли гусли.

От святого духа ли,
Что пришелся впрок,
Скоморохи-ухари
Дали наутек.

Мишка топ-топ...
Попляшем, поп...
С криком:
— Семя адово! —
Развернув плечо,
Плясуна косматого
Хряпнул рогачом.

Один палкой,
Другой лапкой.

Оба-два бездомные,
Воины без лат,
Оба, оба темные,
Рядышком лежат.

Плачет,
Торопится
Протопопица.

Плачет протопопица.
Из толпы зевак,
В хохоте да смехе
Вытоптавших поле,
Вышел на подмогу
Молодой казак,
По земле устюжской
Шедший с богомолья.

Кудри русым хмелем
Из кольца в кольцо,
На лице рябинки,
Будто в ратной злобе
С маху повстречалось
Смуглое лицо
На земле турецкой
С крупной
Турской дробью.

Как под левой бровью
Волги вольный плес,
Как под правой бровью
Дон играет в беге.
Поднял протопопа,
Взвесил и понес
До его раскольной
Старенькой телеги.

Даже и такому
Ноша нелегка.
С виду худ, а сколько
Силы в темной вере!
— У отца святого
Сила велика.
Взять бы эту силу
На другого зверя.

Взять бы эту силу
На князей-дворян,
Да тряхнуть всей Русью,
Да избыть прокуду.—
Протопоп очнулся,
Вроде был он пьян,
Протопоп воззрился:
— Ты такой откуда?

— С Дона...
По зароку,
Что отцом был дан,
В Соловки ходил я,
Где по благодати
Казаков низовых

Берегут от ран
И святой Зосима,
И святой Савватий.

Говорил,
Как в струге
На волнах качал,
Отдавая весла
Синему кипенью;
Говорил смиренно,
А в больших очах
Не было
Ни бога,
Ни смиренья.

Речь боголюбива,
Верой высока,
И душой, и статью,
И лицом прекрасен.
А гляди-ка, боже,
В зенках казака
Бесы рожки точат...
— Кто ты?
— Стенька Разин.

— Сатана, изыди! —
Протопоп затряс
Черною куделью,
Вскинул руки обе.
— Сатана, изыди! —
В жизни
Первый раз
Сердце протопопа
Дрогнуло в ознобе.

Кто бы,
Кто бы крикнул:
Боже, примири!
Дать стране дорогу
Только им по силе.
Стойте!
Сговоритесь,

Черт вас подери!
Не играйте слепо
Судьбами России.

Но, ступив однажды
На одну версту,
Разошлись навеки
В дерзости и страхе.
Аввакум катился
К смертному костру.
Шел веселый Стенька
К своей
Смертной плахе.

1964

Седьмое небо

ВМЕСТО ЭПИГРАФА

Начало жизни
Где-то далеко,
Конец ее,
Быть может, недалече.
Пройти свой путь
Мне было нелегко,
Рассказывать о нем
Еще не легче.

Моя душа и небо —
Мы родня,
Но то, Седьмое,
Что звало к полету,
Как ни взлетал,
Подобно горизонту,
Все время
Отходило от меня.

Небесную
Познал я благодать,
И потому,
Хоть не достиг Седьмого,
Не страшно было
Крылья мне ломать,
Залечивать
И подниматься снова!

ПЕРВАЯ ВЫСОТА

Пишу.
Лицо к бумаге клонится
Не для того, чтоб тешить вас.
Так счетовод сидит в бессоннице,
Когда не сходится баланс.
Ищу за прожитыми годами,
Испортив вороха бумаг,
Между приходом и расходами
Свой затерявшийся *пятак*.
«Такая малость! —
Скажут с жалостью.—
И пусть его недостает!»
Да, малость...
Но за этой малостью
Непоправимое встает.

Известно,
Что от дней младенческих,
Когда возьмешь и не отдашь,
До юности,
До дней студенческих
Все выходило баш на баш.
Ты на отметки жмешь отличные,
Ты строг, как формула,
А тут
Глаза девчат,
Дотоль обычные,
Раскроются и зацветут.

Есть дни цветенья
Глаз девических,
Когда они, что ни раскрой,
Глядят с таблиц логарифмических,
С огромных карт географических
И даже с чертежа порой.
Спокойные, еще ничейные,
Они загадочно глядят,
Не темные, а так — вечерние,
Но огоньки уже горят.

О ней мечтал я:
Будет близкою,—

Когда без стука — где там стук! —
Однажды в келью общежитскую
Влетел мой закадычный друг.
Откинув голову лобастую,
Большие руки вскинул он
И закричал,
Меня грабастая:
— Друг! Я влюблен!
— И я влюблен.

Он, знавший цену преходящему,
Взглянул с укором на меня:
— Да нет же! Я по-настоящему!
— По-настоящему и я.—
Секрет друзей
Не пропуск разовый,
Не сдашь вахтеру в проходной.
— Рассказывай!
— Нет, ты рассказывай,—
Заговорил товарищ мой.

И стали сумерки лукавыми,
И воздух терпкий, как вино,
Цветами пахнущий и травами,
Втекал в открытое окно.
Откинув прочь стыдливость ложную,
Друг доверялся мне в бреду.
Играла музыка тревожная,
Должно быть, в городском саду.

Пьянел он:
— Брови соколиные,
На взлете загнутые вниз...—
Я подсказал:
— Ресницы длинные,
И даже тени от ресниц.—
Мой друг заветное выкладывал,
Описывал мне красоту,
А я бледнел, я предугадывал
За новой новую черту.

Секрет друзей
Не пропуск разовый,
Не на день в душу он впустил.

— Ну, друже, ты теперь рассказывай!
— Да нет, Борис, я пошутил.—
Так пошутил,
Что буду сетовать
Всю жизнь на глупые слова.
За право друга исповедовать
Я отдал на любовь права.

* * *

В душе,
Как боль неустранимую,
Носил любви я тайный груз.
Марьяна — так звалась любимая —
Пришла к нам на последний курс.
Мы долго мучились в гадании:
Откуда? Кто она?
Потом
Всё выведали на собрании
При выдвижении в профком.

Есть много рек,
Но самой близкою
Была и будет, жив пока,
Одна таежная, сибирская,
Незнаменитая река.
Я рос у вод ее разливчатых,
Ныряя с каменной гряды,
Я на волнах качался зыбчатых,
Я на песках ее рассыпчатых
Оставил резвые следы.

Не знал я,
Что, лесная, плёсная,
Она текла и в том краю,
Где сторожиха леспромхозная
Растила девочку свою.
Как я, в реке купалась девочка,
Ко мне плыла не больше дня
Марьянкой брошенная веточка
И доплывала до меня.
Ее глаза, лицо открытое —
За то ли, что росли мы с ней,
Одними водами омытые,

Одним загаром с ней покрытые,—
Я полюбил еще сильней.

Она играла.
Ноты...
Клавиши...
Нам было в жизни не до них.
В то время мы среди играющих
Не знали дочек сторожих.
Ее учил в тайге нехоженой
Какой-то старенький Орфей,
Судьбой неласковой заброшенный
В лесное царство глухарей.
Учил почти с благодарением
Не самой трудной из судеб.
Он рад был,
Что не дров пилением
Там зарабатывал свой хлеб.

Она играла...
И руладами
Вела ребят в лесную даль.
Шумел, как речка с перекатами,
В спортзале старенький рояль.

Я мучился,
Любовью раненный,
Себя сжигая на огне.
Друг подходил к душе Марьяниной,
А я топтался в стороне.
Ему открыться — лишь позориться.
Соперники не ходят вслед.
Мне оставалось с ним поссориться
И снять с души своей запрет.
Но гнал я эту мысль-преступницу,
Другую поднимал на щит:
Кто давней дружбою поступится,
То и любовь не пощадит.

Моей бедой,
Моей отрадою
И даже смыслом бытия,
Моей единственной наградою

Была возвышенность моя.
Наивный,
Гордый в непорочности,
Я, радости творя из мук,
Бродил при звездах
В одиночестве
И говорил:
— Будь счастлив, друг!

Красивому
К красивой хаживать,
А я любовь свою
Сгублю.
Любил я чувства приукрашивать,
Да и теперь еще люблю.
В огромный,
До конца не познанный,
Страстями полный до краев,
Хочу я в мир, не мною созданный,
Внести красивое,
Свое.

* * *

Летел
Через года тридцатые
Стремительный моторный век.
И захотела стать крылатою
Страна саней.
Страна телег.
Слова
«По-чкаловски»,
«По-громовски»
Уже слетали с наших губ,
Когда с путевкою райкомовской
Явились мы в аэроклуб.
Нас выстукали,
Нас измерили,
Нас подержали на весах;
Пять наших чувств
Врачи проверили —
На смелость,
Выдержку
И страх.

Глаза?
Желать не надо лучшего.
— Лети,— сказали,—
На лету
Увидишь бога всемогущего
И ангельскую мелкоту.
А грудь?
И грудь не старца с посохом.
Врач пошутил, пророча взлет,
Что в небесах не хватит воздуха,
Когда такая грудь вздохнет.
И сердце
Он не оговаривал.
Прослушав, вынес приговор:
— Такое сердце в час аварии
Способно заменить мотор.
А чуткость слуха
Всё превысила.
Когда б, хоть не на весь накал,
Марьяна обо мне помыслила,
Я б эти мысли услыхал.

Учлет!
Ей льстило это звание,
Как мне с Борисом.
В тот же час
Она прошла все испытания
И очутилась среди нас.
Наш день стал
Надвое рассеченным.
Мы днем спешили изучать,
Как строить самолет,
А вечером —
Как самолеты истреблять.

Все в шлемах
И очках сферических
Мы уходили в синь-туман.
Как на картинках фантастических
Изображали марсиан.
За темень глаз,
Очками скрытую,
Однажды я негромко, вскользь
Назвал Марьяну

Аэлитою,
И это имя привилось.
К ней,
Кое-как экипированной,
Спортивных туфель шел фасон
И поясочек лакированный,
Что стягивал комбинезон.

Я чувствовал себя взлетающим,
Когда она «ПО-2» вела,
А я бежал сопровождающим
На шаг от правого крыла.
Потом,
Подмяв цветы весенние,
Темно-зеленую траву,
Мой друг и я —
Он откровеннее! —
Посматривали в синеву.
И сердце билось вулканически
С такою страстью новичка,
Что где-нибудь
Прибор сейсмический,
Должно быть, прыгал от толчка.

Я был далек
От мыслей горестных,
А друг бледнел, мрачнел, любя.
— Мне за Марьяну что-то боязно...
— Мне тоже...— признавался я.
— Все шутишь! — и грозил шутящему,
Хлестнув ладонью по спине: —
Брось, Васька, мне по-настоящему!
— По-настоящему и мне.—
Но,
Дорожившие приятельством,
Ломали мы размолвки лед,
Кончая споры препирательством:
Кому за кем
Идти в полет.

Полет!
Из всех самостоятельных,
Из всех хороших и плохих,
Лишь три полета знаменательных

Еще свистят в ушах моих.
Ах, память!
Горе слабонервному!
Припоминая жизнь свою,
Из этих трех полету первому
Я предпочтенье отдаю.

— Мешо-о-ок! —
Пропел инструктор весело.
Крестообразным пояском
Взамен себя для равновесия
Он укрепил мешок с песком.
— Ни пуха!..—
Мне Марьяна крикнула
От задрожавшего крыла.
Машина, пробежав, подпрыгнула
И над землею поплыла.

Не сильную,—
Не очень быструю —
Хоть раз летавший да поймет! —
Ее, такую неказистую,
Я полюбил за тот полет.
Ее, несложную, фанерную,
Одетую в мадаполам,
Вы тоже помните, наверное,
Летящие к другим мирам?
Во всех крылатых поколениях
Она останется жива,
Как азбука —
В стихотворениях
И как в расчетах — дважды два...

* * *

Так я летал,
В душе уверенный,
Что мне в заоблачной дали
Нет груза лучше, чем доверенный
Мешок натруженной земли.
Мои глаза не вдруг поверили,
Когда, взамен таких поклаж,
Ее, Марьяну, мне доверили
Идти на высший пилотаж.

Вдыхая воздух опьяняющий,
Я нес ее средь облаков,
Влюбленный,
Смелый, соблазняющий
Не пышностью пуховиков.

Лети, не бойся!
Мной хранимую,
Тебя, тебя, мою красу,
Тебя, тебя, мою любимую,
В Седьмое небо унесу.
Тебя, травиночку медвяную,
Туда, где воздух свеж и тих,
Я унесу, мою желанную,
От всех соперников земных.
По звездным вынесу тропиночкам
К неугасающему дню,
И песни для тебя, травиночка,
Я неземные сочиню.

Земной мы покидаем край,
Мы в небесах уже.
Над нами звезды — выбирай,
Какая по душе.
Вон ту
Покрыла синева
Нездешней красоты.
Там синяя земля, трава
И синие цветы.
Вон с той,
Что трепетно-ясна,
На нас нисходят сны.
Там все красно:
Земля красна
И все цветы красны.
Вон та,
Холодная, кружит,
Как неродная мать.
Над нами звезды — прикажи,
Какую штурмовать.

Машина высилась
И высилась,
И ветер терся о бока.

Уже Седьмое небо близилось,
Уже редели облака.
И песней
Не перепелиною
Моя наполнилась душа.
Так началась игра орлиная
С решительного виража.

Страстями юными взвиваемый,
Я выполнял, не веря в зло,
И штопор,
И так называемый
Переворот через крыло.
Взлетая вверх и снова падая,
Счастливый, думал я о том,
Как, ловкостью Марьяну радуя,
Свершу падение листом.

Вы видели
Листа падение,
Когда он, легче мотылька,
Качается от дуновения
Неслышимого ветерка?
А я...
Я все переиначивал,
Я — ветер лишь в ушах свистел! —
Марьяну в небесах покачивал,
Казалось, от звезды к звезде.

И вдруг:
Снижение...
Снижение...
Близка земля...
Кусты...
Трава...
Закон земного притяжения
Вступил в жестокие права.
Я падал,
Падал птицей раненой.
Когда обрушилась гроза,
Увидел я глаза Марьянины,
Глаза Марьянины,
Глаза...

И — ночь.
И все — как полузрячему.
И бред.
И поздний страх в бреду,
Что я упал на ту горячую,
На ту кровавую звезду.
Она ко мне в кошмарах сна
Пришла из темноты.
Здесь все красно:
Земля красна
И красные цветы.
Был красноват винта излом,
Повергнувший меня.
И под изломанным крылом
Лежала в красном цвете том
Любимая моя.

Теперь
Соперников земных
Здесь нет наверняка.
И вот она в руках моих,
По-звездному легка.
Я нес ее,
И мир иной
Перед глазами плыл.
В ручье, похожем на земной,
Я ей лицо омыл.
Я нес и рук не облегчал,
Впадая в забытье.
— О люди звездные! —
Кричал.—
Спасите мне ее!

И кровь
В печальной тишине
Остановила бег.
И я упал...
Навстречу мне
Шел звездный человек.
И, падая,
Я видел дрожь
Огромных рук его.
Спаситель, помню, был похож
На друга моего...

* * *

На том ли я,
На этом свете ли?
Иль все еще лечу во мгле?
— Марьяна!.. Где ты?..—
Мне ответили:
— Она со мною...
На Земле.

Земля!
Я замер в изумлении.
Все вставшее передо мной,
Как после мира сотворения,
Ошеломило новизной.
В обычном было необычное.
Ты, память, ран не береди!
Больница.
Белизна больничная,
И боль —
Как ворон на груди.

И тотчас,
Не скрывая вызова,
Как будто из небытия,
Явилось мне лицо Борисово.
— Жива?
— Жива не для тебя!
— Ж-жива!..—
В своем земном значении
Есть чудотворные слова.
Я был готов на все мучения,
Я был готов на отречение
От счастья —
Что она жива.

Клянусь звездою безымянною,
Друг торопился не шутя
Встать между мною и Марьяною.
— Но я люблю!
— Люблю и я.

Я видел руки, в гневе сжатые,
Такие руки насмерть бьют

И никогда однажды взятое
Назад уже не отдают.
Коса стальная с камнем встретилась
И смаху высекла беду.
И снова мне Марьяна бредилась
И виделась звезда в бреду.

Я звал —
И слышала Земля:
— Марьяна!..
Где ты?..
Где?..

Высокая любовь моя
Осталась на звезде.

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

В Москве
Весь край мой заобийский
Зовут Востоком.
Взять бы в толк,
Что в стороне моей сибирской
Есть свой и Запад
И Восток.

Не на побывку,
Не гостями
Мы ехали, надежд полны,
Три капли, двинутых страстями
Переселенческой волны.
Три капли, в жажде перемены
Мы ехали, полны забот,
Не на простой,
А на военный,
К тому же
Авиазавод.

И малые сегодня версты
Готовы ставить людям в честь,
А нам поехать было просто
И буднично,
Как пить и есть.

Себе и людям на потребу
Мы крылья ехали ковать.
Я думал: «С кем мне штурмовать
Коварное Седьмое небо?»

Меж тем
По виду как семья
Сидели мы в купе непышном:
Борис с Марьяною...
И я,
Недавно ставший
Третьим лишним.

Борис стал добр.
Лихач воздушный,
Прощен я милостью его.
И добрым и великодушным
Быть победителю легко.
Легко и лестно
Жестом, взглядом,
Самодовольства не тая,
Когда и надо и не надо
Вывешивать ярлык: «Моя!»

Да, да, твоя!
Твоя бесспорно!
Глядел я с болью и тоской,
Как, тихая, она покорно
Сидела под его рукой.
Как птица,
Раненная влет,
Прибившись к выводку на пашне,
Пока крыло не заживет,
Домашним
Кажется домашней.

Теперь,
Когда пришла утрата,
Я понял, живши в простоте,
Что платим мы земною платой
За тяготенье к высоте.

— Взгляни!—
Она вскочила с места...

Нас снова, как одна волна,
Соединила речка детства
В проеме узкого окна.

Есть много рек,
Но самой близкою
Была и будет, жив пока,
Родная западносибирская
Золотобокая река.
В глубоких заводях ленивая,
На перекрестках торопливая...

Тебе за то спасибо, реченька,
Что, исцеленное врачом,
Марьяны худенькое плечико
Я ощутил своим плечом.
За то, что воды нам потрафили,
Когда, в спокойствии своем,
Как на мгновенной фотографии
Изобразили нас вдвоем.

Мы помахали
Елкам,
Елочкам,
И снова на какой-то срок
Жизнь разложила нас
По полочкам
И потащила на Восток.
Куда?
Не по уставу должности,
Не из причуд, как иногда,
И не из личной осторожности
Не говорю, спешил куда.

О, мой завод,
Ни вражьим летчикам
С планшетками для наших карт,
Ни мрачным атомным наводчикам
Не дам его координат.
Но месту есть названье точное.
В пути
С тайгой под облака
Громадилась Сибирь Восточная,
Неслась косматая река,

Взлетала,
На пороги сетуя,
Как птица синего пера,
Еще в железо не одетая,
Еще Твардовским не воспетая,
И все же в славе — Ангара.

* * *

На берегу
Дома добротные,
За ними — темные леса.
Аэродром,
Дорожки взлетные
И заводские корпуса.
Труба казалась красной пушкою.
Над ней, глядевшей в вышину,
Дымок свивался сизой стружкою,
Как после выстрела в Луну.

А в цехе
Повстречали умные,
Ошеломившие мой слух,
Слоны огромные, чугунные,
Вздыхающие:
Ух да ух!
И сотрясали стены топотом,
Пытаясь с ног стряхнуть бетон,
И гнули сталь упругим хоботом
С усилием
В пять тысяч тонн.

А быт?
Подобно многим жителям,
Мы жили в мире заводском,
Как до сих пор —
По общежитиям:
Марьяна в женском,
Мы в мужском.
Все было как во время оное.
Она к нам на исходе дня
Вбегала юная, влюбленная,
И мне казалось, что в меня...

Была чужой,
Но все же близкою,
Когда без стука —
Где там стук? —
Однажды в келью общежитскую
Ворвался мой счастливый друг.
Откинув голову лобастую,
Раскинул руки, силой лют,
И закричал, меня грабастая:
— Ур-ра!.. Мне комнату дают!..

И дали.
Помнится доселе
С той романтической поры,
Как шел я к ним на новоселье
Туманной поймой Ангары.
В закате
Голубые брызги
Меняли цвет на золотой,
Был берег близкий
Очень низкий,
А берег дальний
Был крутой.

И он,
Подмытый,
Глухо гулкал,
Когда в траве, едва живой,
Котенок, помню, замяукал,
И я склонился над травой.
О, сила жизни!
Мокрый,
Рыжий,
Он, грубой силе вопреки,
Заброшенный в пучину,
Выжил
И выплыл из ревун-реки.

Подмытый берег грозно гыкал.
Найденыш, на судьбу ворча,
Пригрелся вскоре у плеча
И благодарно замурлыкал.
Пел как умел...
Так шли мы двое.

Друзьям в их новое жилье
Я внес певучее, живое
Благословение свое.

За благодарностью,
За нежностью
Я не узнал Марьяны той.
Она сияла тихой грешностью
И новой женской красотой.
Она дивила мягкой томностью,
Бездонностью тенистых глаз.
Зажмурюсь только —
И с влюбленностью
Ее увижу хоть сейчас.

Да, да, в мое воображение
Она вошла без перемен,
Вся в смехе,
В счастье,
Вся в кружении
По комнате
Средь голых стен.
И платья
Складки беспокойные
Как будто ветерок занес.
И замелькали ноги стройные
Весенней белизны берез.

А я?
Я стал еще несчастнее,
Печальней стал.
Да что слова!
Она кружилась,
Но опаснее
Моя кружилась голова.
Потом —
О, бедность быта нашего! —
Все трое стали обсуждать,
Как будет комната украшена,
В каком углу
Чему стоять.
— Там шифоньер...
— А здесь картина...

— Сюда, чтоб веселей жилось,
Куплю Марьяне пианино...

С него-то все и началось.

* * *

Но — стоп.
Затормому вторженье
За преждевременный предел.
Для верности изображенья
Хочу глядеть, как я глядел.
А я глядел на мир влюбленно,
К Марьяне чувства укротив,
Но и в любви неразделенной
Есть возвышающий мотив.
Недаром в пору отреченья
Нашел я в русской старине
Слова двойного назначенья:
Судьба — ему,
Судьбина — мне.

Смирившийся,
Полуручной,
Я заглянул в глаза Марьяны:
В них, как над заводью ночной,
Стояли поздние туманы.
Так птица, раненная влет,
С повадками расставшись дикими,
Все помнит прошлое,
Все ждет,
Что стая снова позовет
Ее заоблачными кликами.

* * *

В простенке,
Избранном давно,
Рельефилось резьбою фриза,
По выражению Бориса,
Не пианино — *пиано́*.
Торжественно и гордо глядя,
Хозяин дома горячо
Покупку гладкую погладил,
Потом Марьянино плечо.

Взлет рук.
Разбег.
Вот так, пожалуй,
Отчаяннее всех подруг,
Она по жизни пробежала,
Как пальцы замелькавших рук.
Вот так
В порыве неуемном
Она скакала налегке
По медленно плывущим бревнам,
Готовым потонуть в реке.
Вот так
Порой она срывалась
С большого скользкого бревна...
Под каждым клавишем скрывалась
Неведомая глубина.

Бетховен,
Моцарт вновь сошлись...
Нет, не по воле вдохновенья —
Они товарищу дались
Ценой его грехопаденья.
И знай,
Что путь к нему греховен,
Пытавший гордостью судьбу,
Непримиримый ван Бетховен
Разбунтовался бы в гробу.
И знай,
Что путь к нему — паденье,
Причина горьких женских слез,
Сам Моцарт бы свои творенья
В могилу скорбную унес.

Так думал я...
Гляжу в былое
И подступаю к той черте.
Где на дороге к доброте
Бориса сторожило злое.

* * *

Студентами,
Стремясь к геройскому,
Чужую мудрость жадно пьем.

По Пушкину,
По Маяковскому,
По Циолковскому живем.
За институтскими дверями
Расстанемся с поводырями
И, примеряясь ко всему,
Живем по сердцу своему.

Как у коня скользят копыта
На почве от дождя сырой,
Так на коварных хлябях быта
Мы спотыкаемся порой.
Не по великому примеру,
Умноженному на веку,
Один ударится в карьеру,
Другой начнет копить деньгу.

Борис!
Из дружеского круга
Не видели одни слепцы,
Как зарождались в сердце друга
Две эти страсти-близнецы.
Побольше чин!
Деньга по чину!
...На том семейном вечеру
Обещанное пианино
Сыграло темную игру.
С тех пор
Корыстный сын земли
Стал измерять дела людские
Так, будто прессы заводские
Чеканили ему рубли.

Я говорил:
Живи как можется,
Но в цельности не погреши.
Храни *шагреневую* кожицу
Своей податливой души.
Перед зазнавшимся начальником
В час спора
Не сиди молчальником.
Начальники —
Отцы для нас,
Но тоже с целями земными,

А потому-то и за ними
Еще нам нужен глаз да глаз.

Упрямый,
Не в пример жене,
Игравшей с чародейской силой,
Он бил лишь по одной струне,
По той,
Которая басила.
Мы виделись издалека.
Как пораженные проказой,
Отступники во все века
Стыдились дружеского глаза.
Лишь служба сталкивала нас.
— Как жизнь идет?
— Неплохо вроде...
— Ну-ну, служи.
Тебе как раз
Служить на авиазаводе.

— А почему? —
И, увлекаемый
Презрением,
Горчил я мед:
— Как — почему?
Ты обтекаемый,
Почти как этот самолет.—
В нем — сплав...
Он, помню, был послушен,
Но и в коварстве многолик.
Его изменчивую душу
Я прежде собственной постиг.

* * *

И было горько самому,
Что трус,
Что поступил я подло.
Кому любовь свою я отдал?!
Любимую вручил кому?!
Все ложно,
Благородство ложно,
Когда любовь твоя в беде.
Земному счастье невозможно

С ней,
Побывавшей на звезде.

Душа томилась,
Плоть кричала
В объятьях стыдного огня.
А где-то музыка звучала,
Бориса скорбно уличала
И сетовала на меня.
И шел я к ней,
С собой не споря,
Не осуждая чувств своих.
Мой друг,
Зачем ты на троих
Купил одно большое горе?!

Лишь в этом видя зла причины,
Ожесточенный от обид,
К Марьяне шел я, как луддит,
Громивший первые машины.
Вошел и сник.
Нездешний звук,
Истаяв,
Приласкался к слуху,
Лег на душу...
Вот так паук
Живую пеленает муху.

Мелодия,
До слез знакомая,
Вошла в меня, как теплота.
Дрожит трава аэродромная
Под нимбом авиавинта,
Бежит земля ручьями пыльными...
— Марьяна, стой!
— Молчи...
— Молчу.

Большими награжденный крыльями,
Опять взлетел,
Опять лечу...

Теперь крыло мое отковано
В бессоннице труда,
И для любви мной облюбована

Пустынная звезда.
Ни звездным
Выспренним поклонникам,
Быть может, ждущим там,
И ни земным мужьям-законникам
Тебя я не отдам.
Пусть обвиняют,
Что в угаре я,
Пусть бегают в суды.
Все ближе, круче полушарие
Неведомой звезды.

И вот уже мотор затих,
Быть может, на века.
И вот она в руках моих,
По-звездному легка.
Она была еще земней,
И грудь ее была,
Подобно паре голубей,
Прохладна и бела.
И были помыслы чисты,
Светлы глубины глаз.
Пойми, история звезды
Должна начаться с нас.
Пойми, мы путь совсем иной
Укажем для детей,
Добрей и чище, чем земной,
Не омраченный ни войной,
Ни смутою страстей...

— Ты любишь ли? —
В ответ отчаянье,
Что я, любя, ее сгублю.
— Ты любишь ли? —
Страшно молчание.
— Ты любишь ли?
— Люблю... Люблю...

И вдруг ее,
Со мною слитую,
Вспугнув, тряхнула, как волна,
Во чреве пианино скрытая,
Как голос мужа, басовитая,
Крутая, грубая струна.

А там,
За рамами оконными,
Во всей суровости земной,
Жила земля
С ее законами,
С веселым смехом
И со стонами.
— Бежим!
— Куда?
— Ко мне!.. Со мной!..

Есть миг,
Когда вся жизнь осветится
С желаньем тайным на виду,
Когда нельзя уже не встретиться.
— Уйдешь?
— Уйду.
— Придешь?
— Приду.

* * *

В наш сад
Ребята не ходили,
Девчата не плели венки.
Мы по весне его садили
И поливали из реки.
На лавочке, под жухлой краской,
В следах мальчишеской резьбы,
Сидел я у волны ангарской
И ждал решения судьбы.

В закате
Голубые брызги
Меняли цвет на золотой.
Был берег близкий
Очень низкий,
А берег дальний
Был крутой.

Я представлял подъемы, склоны
Тропинок, что ко мне вели,
И клял мудреные законы
Сопротивления земли.

6*

И вспоминал я как в бреду:
«Уйдешь?»
«Уйду».
«Придешь?»
«Приду».

Марьяна!
Шла она меж ветками,
Пошатываясь на ветру,
Как будто с кленами-трехлетками
В пути затеяла игру.
— Ты насовсем? —
В глазах отчаянье,
Бессонного раздумья след.
— Ты насовсем? —
В ответ молчание.
— Ты насовсем? —
И слышу:
— Нет.

— Как — нет?! —
Хлестнуло сожаленье,
Рожденное от всех обид,
Что я не ранен при паденье,
Не искалечен, не убит.
— Как — нет?! —
Игры не зная правил,
Я каждый ход перевирал.
Всю жизнь я на любовь поставил —
И вот полжизни проиграл.

В тоске кричать
Любовь мешала.
И задушил я крик,
Пока
Трепала чуб и утешала
Марьяны легкая рука.
— Люблю! — шептала с теплотой.
— Нет, нет, иди и пой романсы
Душе корыстной и пустой,
Душе с хорошим резонансом.

— Не так!
Страшны не перемены.

За Борю чувствую вину:
У жизни он чужой в плену...
Кто выведет его из плена?
— Не ты!
Подумай о себе,—
Твердил с решимостью угрюмой,—
Подумай о своей судьбе,
Родная, о моей подумай...
— Ты сильный...

Тишина.
Сниженье.
Крушенье.
Нет звезды моей.

— Ты сильный! —
Это утешенье
Я часто слышал от друзей.
Они печали приносили
И горечь на душевном дне
И апеллировали к силе,
Которой не было во мне...

Но сила,
Как бывает в сказках,
Пришла ко мне
От волн ангарских.
И чтоб друзьям
Не только мнилось,
Пришла от волн
И природнилась.
От них и мускулы тугие,
От них и добрые слова.
Те волны, где вы?
Где,
Какие
Ворочаете жернова?

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Уйдет Любовь,
С тобой повздорив,
Ты ей не мсти,
Прости ее.

Не умножай чужое горе.
Не увеличивай свое.
Несчастье,
Как чума,
Опасно.
Таящий вирусы обид,
Один заблудший и несчастный
Несчастьем сотни заразит.

Страшно́ покинутых страданье,
Когда оно плодит собой
То жалких,
Ждущих подаянья,
То злых,
Готовых на разбой.
И сам я в жизни рикошетил
И сеял зло,
Марьяне мстя,
Пока в несчастии не встретил
Еще несчастнее себя.

Теперь хочу постичь душою,
Понять умом немолодым
Тот миг, когда лицо чужое
Мне стало близким и родным.
Не в проходной,
Когда на зорьке
Свел нас гудок
Своим баском,
А после,
В клубе заводском,
На шумной новогодней елке.

Нарядная стояла ель.
Вокруг игольчатой вершины
Невинной птахой виражила
Бомбардировщика модель.
То суетно,
То величаво
По залу музыка плыла.
В сторонке девушка скучала,
Меня еще не замечала,
Кого-то лучшего ждала...

Я молод был,
Как говорится,
И не смотрел на женский род
Глазами мудрого провидца,
Все знающего наперед.

Два круга —
И лицо в румянце,
А поступь чуткая легка;
Нежна доверенная в танце
Моей руке
Ее рука.
Сиянье глаз,
Огней сиянье,
Все было странным,
Как во сне.
Ее высокое дыханье
Легко передавалось мне.
И все же,
Близостью тревожа,
В тот вечер смутно-гулевой
Она кружилась лишь в прихожей -
В прихожей
Сердца моего.

* * *

Потом
Мы повстречались снова...
Как не смогла б и жизнь сама,
На сцене клуба заводского
Свело нас «Горе от ума».
Как по единому веленью
Пришли мы с нею в драмкружок
Отдать себя на иждивенье
Чужой любви,
Чужих тревог.

Своя печаль была обычна:
Без слов любил,
Без слов страдал.
А здесь я Чацкого играл.
А здесь я милую карал
Своею дикцией трагичной.

Не говорил —
Спускал курки,
Испепелял высоким жженьем.
И Софья, пьесе вопреки,
Ко мне метнулась
С утешеньем...

Зал
Ликовал.
Лишь режиссер,
Как бог в своей первейшей драме,
Во гневе длань свою простер
И, осудив,
Расстался с нами.

Шел снег.
Настроенные грустно,
Мы по задворкам и задам
Из рая вечного искусства
Брели, как Ева и Адам.
Подшучивал.
В слезах молчала.
Не удавалась роль и тут.
Сказал ей:
— Знаю, не Качалов,
Хоть и Василием зовут.—
Сказал:
— До свадьбы все забудешь.—
Вдруг, потрясенный до глубин,
Услышал:
— Ты меня не любишь...
— Нет...—
Но взглянул —
И полюбил.

Я был насмешливым и трезвым,
Но понял, в чем-то уличен,
Что всякий путь к другим отрезан,
Что всякий выбор исключен.
Тогда была,
Не без уступки,
На том поставлена печать,
Что я за все ее поступки
Отныне буду отвечать.

Мы не расстались в этот вечер...
Я в глубях памяти пронес,
Как зябко вздрагивали плечи
За ливнем расплетенных кос.
Спешившая на праздник страстный,
Смахнула сумерки луна.
Взгляни, мол, как она юна!
Взгляни, мол, как она прекрасна!
Еще не видывал такой.
Вся в бликах неземного цвета,
Она казалась
Не нагой,
А в лунный свет переодетой.

Застывшая,
Как будто скована
Волшебниками до поры,
Она очнулась,
Расколдована
Студеным вздохом Ангары.
И в страхе,
Грохотом гонимы,
Бежали страхи за порог.
И сразу стали неделимы
И боль,
И радость,
И восторг...

Эта ночь на двоих,
И луна на двоих,
И мерцающий блеск
На ресницах твоих.

* * *

Упоенно дыша,
Голубыми утрами
Просыпалась душа,
Вся полна соловьями.
Опускалась с высот
Синевы поднебесной
И несла на завод
Соловьиные песни.

Здесь,
Чтоб тешили нас,
В заводскую шумиху
Выпускал, что ни час,
Соловья с соловьихой.
Здесь встречал их, звеня,
Добрый голос металла.
И до позднего дня
Соловьев мне хватало.

Повторяя, как зов,
Дины милое имя,
Молодой птицелов,
Шел я снова за ними.
Вновь свежо,
Как в бору,
Как в саду под ветвями.
И душа поутру
Вновь полна соловьями.

Но пора настает:
Зверь в лесу затаится,
Рыба в сеть не идет
И не ловится птица.
Умирают слова
В гордом сердце поэта.
Жизнь, ужель ты права,
Допуская все это?

Помню,
Грустный до слез,
В цеховое гуденье
Я в душе не принес
Соловьиного пенья.
Не принес —
И уже
Вместо птичьего хора
Закружились в душе
Только перья раздора.

* * *

Философы
И просто умницы
По песням, что вокруг поют,

И по тому,
Как людям любится,
Здоровье мира узнают.
Уже отмеченный сединами,
Пишу о молодой любви.
Так крови капелька единая
Расскажет обо всей крови.

Мы говорим:
Любовь.
Страдание.
Тревожные во всех концах,
Сил мировые колебания
На наших скажутся сердцах.
В любой любви,
Как непреложное,
Как боль отдачи при стрельбе,
Все скажется.
И наше прошлое
Еще заявит о себе.

В тот день
Мы накупили снеди.
Как семьянин и хлебосол,
Таскал я стулья от соседей,
А Дина накрывала стол.
Мы порешили в день получки
Отметить
Как повеселей
Семейного благополучья
Полугодичный юбилей.
Ушли на крабные консервы,
На шепоток хмельной струи
Все скромные мои резервы,
Все премиальные мои.

Позвали мы друзей-цеховцев,
Довольством хвастаясь слегка,
Мы пригласили драмкружковцев
И режиссера-старика.
Походкой важной,
Взглядом томным,
Всем поведением своим
Счастливую хозяйку дома
Играла Дина перед ним.

Она его не укоряла,
Она не вспоминала зла.
Играла...
Впрочем, не играла,
А просто счастлива была.
Хмельной старик,
Как Лир на троне,
Уже мельчал,
Впадая в лесть:
— Я ваш порыв тогда не понял,
А в жестах ваших что-то есть...

О, сколько их,
Чудаковатых,
В игре готовых лечь костьми,
Кому не раз дорогу к МХАТу
Переползал
Зеленый змий!
По долгу
И на нашем спиче
Была рассказана уже
Драматургическая притча
О мудром чеховском ружье.
Был дан совет безусой смене,
Как зрителя околдовать.
Мол, все, что явится на сцене,
Должно стрелять,
Должно играть...
Капризный,
Но любимый всеми,
Он распалялся на миру.

А в это время...
В это время
Я видел странную игру.
Приотворилась дверь сторожко,
И чья-то скрытная рука
Впустила на ковер-дорожку
Лениво-сонного щенка.
Закрылась дверь.
И гость остался.

Щенка заметили в углу,
Когда он юзом подвигался
К повеселевшему столу.

Толпились.
На руках носили.
И, выяснив,
Что это — «он»,
Единогласно окрестили
Красивым именем Додон.
Смеялись гости.
Дина тоже.
И нужно ж было ей спросить:
— Скажи, Додонушка, кого же
Мне за тебя благодарить?

Я знал.
Я знал
И на коленях
Погладил дрогнувшей рукой
Ответное благословенье
Марьяны
На любовь к другой.
А после,
Не найдя управы
На бунт страстей,
Что грудь терзал,
Рассказанное в прошлых главах
Притихшей Дине рассказал.
Красноречиво, как на сцене,
Делился чувством дорогим.
Зачем?
Любимые не ценят,
Что было отдано другим.

Меня ль,
Себя ли упрекая,
Раздумьем повстречала весть:
— Так, значит, есть любовь такая?
— Какая?
— Вот такая!
— Есть.—
Еще задумчивее стала,
Еще грустней,
Еще бледней.

— Так, значит, есть, а я не знала...
— Ну полно, Дина!
— Не жалей...

На коврике дремавший мило
Щенок, непризнанный герой,
Уже сыграл,
Но это было
Еще не главною игрой.

* * *

Любовь!
Горят ее костры,
Мудреют люди в добром свете.
Любовь и Правда —
Две сестры,
Идущие через столетья,
Две песни счастья и добра,
Всегда звучащие призывно.
Одна беспечна и наивна,
Другая сдержанно мудра.

Когда они придут к порогу,
Ты дверь души
Для двух открой.
В наградах первой мало проку
Без одобрения второй.
И потому, себя не радуя,
И гордый
И суровый Дант
К любимой,
Как за высшей Правдою,
В чудовищный
Спустился Ад.

А цех —
Не древнее предание,
Дверь проходной —
Не темный грот.
Земным, но трудным испытанием
Меня испытывал завод.
Огнями,
Громом,

Грозной силищей,
Усладой,
Мукою труда.
Он был и Адом,
И Чистилищем,
И даже Раем иногда.

Здесь мир тревог
Из-за тревожности,
Которой людям не избыть,
Здесь безграничные возможности
И не любившим полюбить.
В горячий час,
В минуту жаркую,
Когда с души слетает ржа,
Как будто огненною сваркою
Приварится к душе душа.
И чудо явится мгновенное.
Зажжет глаза, сгоняя стынь,
Пронзительная,
Автогенная,
Тебя сжигающая синь.

Ударит этот свет разящий
По заблуждению и лжи.
Перед любовью настоящей
Ты станешь сам себе чужим.
Лицо померкнет дорогое,
И потускнеет взгляд родной.
В ту пору именно такое
Случилось с Диной
И со мной.
Грустила
И все реже пела,
И не было в глазах огня.
Потом она повеселела,
Но как-то странно:
Без меня.

У пса
На все дары базара,—
Несла ли Дина,
Я ли нес,—
Вставали уши, как радары,

К руке тянулся чуткий нос.
Наш пес,
Он рад был встрече каждой,
Ценя безбедное житье.
Так долго было.
Но однажды
Не принял,
Не узнал ее.

От новой юбки,
Модно сшитой,
Не взявши сладости с руки,
Он возвратился как побитый
С глазами, полными тоски.
Лег рядом,
В непонятной злобе
Хвостищем по полу стуча,
Глядел на Дину исподлобья,
Предгубье морщил и урчал.

Смешной казалась мне картина:
Как будто дом уже не дом.
Бледнела
И стояла Дина
Преступницей перед судом.
— Да что с тобой?! —
Что было с нею,
Метавшейся потом во сне,
Понятней было и яснее
В ту ночь Додону,
А не мне.
Когда в житейском полумраке
Приходит к нам измены час,
То наши чуткие собаки
О женах знают
Больше нас.

Ушла.
Играть не стала в прятки.
Оставила на долгий срок
Из ученической тетрадки
Поспешно вырванный листок...
Ушла.
Уехала.

Умчалась...
Свершилось.
Между тем скажу,
Письмо глаголом начиналось
Несовершенным:
Ухожу.

* * *

«Я ухожу.
И нет возможности
Укрыться сердцу моему
От разговоров,
Полных пошлости,
От всех вопросов:
Почему?

Есть сон любви,
Есть пробуждение.
Мне стало стыдно, дорогой,
Все время быть на иждивении
Твоей большой любви
К другой.

Мы жили,
Как на даче дачники:
Еще тепло —
И можно жить.
Из неудач
Двух неудачников
Большого счастья
Не сложить.

В твою любовь
Вошла я бедною.
Разбогатела — и бегу.
Пойми, сестрою милосердною
При сильном
Быть я не могу.

Прости.
Откинув совесть ложную,
Я перестала выполнять

Свою задачу невозможную:
Любовь
Собою заслонять.

Я отхожу...
Душой не праздную,
Не уношу с собою зла.
Любовь
Не может быть несчастною,
Какой бы трудной
Ни была.

Я плачу...
Может, и разлукою
Не сгладить мне твои черты.
Прости, родной!
Мне стало мукою,
Что я счастливее,
Чем ты...»

* * *

Ушла...
Конец...
Как ночь дождливая,
Как расплетенная коса,
Страсть темная,
Самолюбивая
Заполонила мне глаза.
Само, казалось, сердце вынуто
И в грязный брошено кювет.
Всё, всё —
«Покинутый!
Покинутый!» —
Со всех сторон
Кричало вслед.

Душа — скворечник.
Сходство грубое,
И все ж сравню их, нагрубив:
Где нет скворцов,
Там воробьи,
Где нет Любви,
Там самолюбие.

Не в поисках Любви да истины,
А чтобы снять усмешки с лиц,
Я душу легким пухом выстелил
Для этих самых
Серых птиц.
Устал чужим себя раздаривать,
Забыл мечтать о Высоте.
Как старец,
Начал разговаривать
С Додоном
О житье-бытье.

— Да, брат,
Ни варева,
Ни печива...
Как мне любилось,
Как жилось.
По глупости пооткровенничал,
И вот — расстаться довелось.
Решил ты к правде приохотиться,
Спугнуть туманчик голубой —
И что же?
Вот уже приходится
Мне расставаться и с тобой.
Ну-ну, терпи,
Нельзя горюниться,
Пойми значенье слов простых,
Пойми, Додон,
Пойми, мой умница:
Собаки
Не для холостых.
Что достается слишком дешево,
Не берегу,
Не стерегу.
Я поведу тебя к хорошему,
К заботливому старику...

Меня доверчивостью трогая,
Свою выказывая стать,
Еще нехоженой дорогою
Он шел,
Как будто погулять.
Вот и пришли.
Скажу короче я,

Старик был принят им
В друзья.
У старика рука рабочая
Железом пахла,
Как моя.
Вдруг понял все.
Взглянул на Силыча,
С тревогой на меня взглянул.
Уйдешь?
Уйду...
А как же и́наче!
Тогда он руку мне лизнул
С такой мольбой,
С таким страданием,
Что в сердце,
Дрогнувшем давно,
Все горестные расставания
Слились в последнее
Одно...

Я убегал.
Постыдный бег.
Шел снег.
Я убегал за снег,
За леденеющие ветви —
Упрячь меня, пурга, упрячь
За белый ветер...
Только ветер
Сам повторял далекий плач.
И даже в цехе стал он бредом.
Когда включился фрикцион,
Мне показалось,
Будто следом
Ворвался плачущий Додон.

* * *

Здесь оборонный,
Здесь нешуточный,
Здесь, будто мир уже горит,
Неумолимый график суточный
Над всеми смертными царит.
Здесь, будто мир
Уже взрывается,

Тебя заботит вся Земля.
Здесь в сторону отодвигается
Невзгода личная твоя.
Взревет мотор,
И ты в горении
Спохватишься —
Пора! Пора!
Что грозной птице в оперение
Еще недодал два пера.

Намучась,
Думал я в гордыне,
Когда наш самолет взлетал:
Не так ли и бескрылой Дине
Высокие я крылья дал.
Пусть мы расстались.
Как ни странно,
Она права.
Простил я ей.
И в сердце вновь вошла
Марьяна
С печальной верностью своей.

Ушла.
За то не упрекаю.
Ушла
Не пощадила честь.
И значит, есть любовь такая,
И миру хорошо,
Что есть.

ЗЕМЛЯ И ВЕГА

— Летим!
— Куда летим?
— Летим к далекой Веге.—
Посадка.
Взрыв.
И мы в стальном ковчеге.
Спешим в бреду
Космической езды
На праздник основания звезды.
Летим сквозь ужас

Темноты кромешной
В мир молодой,
Безбрежный
И безгрешный,
Летим
К полузабытым детским снам...
Земные жены надоели нам.

Все позабудь.
Все связи оборви.
Кровь остуди.
Угомони смятенье.
Нет, все же тяготение любви
Всесильней,
Чем земное тяготенье.

Ночь.
Ночь.
И ночь.
Здесь не бывает дня.
Мы средь миров блуждающих
Повисли.
Чем невесомей тело у меня,
Тем тяжелей,
Тем полновесней мысли.
О, эти мысли!
Как-то невзначай
Сказал «прощай» —
И стало вероломным,
И стало это самое «прощай»
Таким тяжелым
И таким огромным!

Земля!
Тревожно за нее порой,
Как будто в тесном доме
Без привычки
Детей своих оставил за игрой,
И не прибрал,
И не припрятал спички.
Взгляну вперед —
И дивно для очей:
Бока планет
В космической пустыне

Шершавятся,
Как дыни на бахче,
Клянусь Землей,
Как золотые дыни!

Там в тишине
Зудит,
Гудит оса...
Всё ближе.
Громче.
В аспидном тумане
Ракета встречная.
И голоса,
И неземные лица на экране.
Блестят зрачки,
Большие, как очки.
Хмельны,
Шумны,
Обличием не стары,
Летят,
Поют...
Куда, весельчаки?
Откуда вы, небесные гусары?

Все отошло.
И милую не жаль.
Ни перед кем
Не чувствую вины я.
Обида,
Ненависть,
Тоска,
Печаль —
Понятья исключительно земные.

Но нет.
И здесь любовь и боль в ходу.
Где Млечный Путь
С другим сходился Млечным,
Я, ставший между звезд
Почти беспечным,
Подслушал стон
И подсмотрел беду.
Беда — везде беда,

И стон есть стон,
Земной ли наш людской
Или вселенский.
А стон все громче...
Ну откуда он?
И этот тихий плач,
Гортанный,
Женский?

И наконец,
Заняв экран большой,
Сначала смутной,
Легкой-легкой тенью,
Из дальней
Из галактики чужой
До нас дошло
Печальное виденье.
Он умирал.
В скорлупке корабля
Их было двое.
Было только двое!
Он умирал,
Бог весть о чем моля,
Упав в ее колени головою.
Она шептала странные слова
И кудри гладила.
Глядел с экрана
Застывший страх,
Почти как у Марьяны
В момент паденья нашего «ПО-2».

Что нужно вам
В холодных безднах тьмы,
Вам, любящим друг друга?
Как нелепо!
Инопланетцы, неужель и вы
Здесь ищете
Свое Седьмое небо?
И я ищу,
И у меня есть флаг
И страстных
И опасных путешествий...
А если умирать,
Я б умер так,

Да, только, только так:
С любимой вместе.

Сородичам земле нас не предать.
Нетленные, орбитою туманной
Мы стали бы звездою безымянной
Летать...
Летать...
Летать...
Века летать!

Но вот и Вега.
Описали круг,
Упали кошкой на стальные лапы.
Долой ремни,
Распахиваем люк,
Бросаем трап,
Спускаемся по трапу.
Нисходим вниз, как на морское дно,
Где все синё:
И небо и полянки.
Не знающие горя вегианки
В больших цветах
Подносят нам вино.

И девушка,
Заметив, что кипучей
Не смею влагой губы замочить,
Показывает что-то,—
Видно, учит,
Как пить вино...
Меня ли ей учить!
Лепечет что-то...
Ласковым участьем
И нежностью
Не мог я пренебречь.
Как только принял
Звездное причастье,
Понятной стала неземная речь.

Мой пышный чуб,
Служивший мне до срока
Подмогой в незавидной красоте,
Стал станцией приема биотоков,

Чтоб говорить
С живущей на звезде.
— Хорошая! —
И слышу, сердце бьется,
Мое ответным чувством взвеселив.
Все понимает,
Радостно смеется
И отвечает:
— Милый сын Земли...

В саду гуляем тихо,
Птиц не будим,
Беседуем без слов,
Вопрос — ответ,
И в полумраке маленькие груди
Томливо излучают
Теплый свет...
И вот одна,
Светившая округло,
Под жесткою рукой моей
Потухла.

И я услышал
Крик ее стыда,
Немой укор,
В меня успевший влиться:
— О, сын Земли,
Я молодая жрица
В ареопаге звездного суда.
Мы судим всех,
Забывших о прекрасном,
Мы судим многих,
Кто в земном краю
Не из большой любви,
А из соблазна
Любил,
Страдал
И тратил жизнь свою.

Сказав, ушла.
Молю ее:
— Постой! —
Ответ доносит
Чувство мне шестое:

— О, сын Земли,
Мы судим чистотой!
О, сын Земли,
Мы судим красотою!

* * *

Земля!
Что может быть красивее!
Летел на праздник я...
А тут!..
Ведут,
Ведут,
Ведут Василия
На непонятный
Звездный суд.
По синь-пескам,
По мхам распластанным
Сто юных жриц,
Красой светя,
Ведут меня,
Земного мастера
Штамповки,
Ковки
И литья.
Красиво,
Как на райской каторге.
Ведут.
Дороге нет конца.
Ведут.
Уже прошли три радуги,
Три арки судного дворца.

На этот раз
Пред хитрой карою,
Должно быть, так заведено,
В цветке подносит мне вино
Старуха старая-престарая:
— Испей! —
И, тронутый поблажкою,
Пью — отливает кровь от щек.
— Что ощущаешь?
— Старость тяжкую.—
Старуха рада.

— Пей еще.—
И показала мне овальное,
Оправленное стеклецо,
И отразила гладь зеркальная
Мое потухшее лицо,
Глаза холодные,
Уставшие
Под жалкой вывеской бровей.
— Что жаль?
— Жалею дни пропавшие,
Любовь, не ставшую моей.
Все, все жалею,
Что непочатым
Оставил на земном пути...—
Она раскрыла двери створчаты,
Сказала:
— А теперь иди.
У молодого мало жалости,
Что́ юным приговор судьи.
Теперь ты старый,
А у старости
Сильней раскаянье.
Иди!

* * *

Земля!
Страшны суды вегейские!
Тебе ль, мудреющей в труде,
Передавать дела судейские
Чужой,
Неласковой звезде.
Меня обидели, ославили,
Меня до времени состарили.
Так вот зачем вино я пил!
В тяжелом непривычном шаге
Через порог переступил
И отступил
В невольном страхе.

В кругу,
Куда меня ввели,
Увенчанного сединою,
Сидели женщины Земли,

Любимые когда-то мною.
Боль.
Жалость.
Страх.
Усмешка уст.
На лицах некогда любимых
Так много отразилось чувств
И схожих
И разноречивых.

Из всех,
Любивших допьяна,
Из всех,
В любви неопьяненных,
Из всех судивших
Лишь одна
Глядела на меня влюбленно.
Как в ту весну,
Как в том саду,
Как в ту прощальную беседу:
«Когда ни позовешь — приду,
Куда ни позовешь — приеду!»
Как в ту весну,
Как в том саду,
Как в пору клятвенного пыла.
Не звал.
Примчалась на звезду.
Обиды, горечь —
Все забыла.
Примчалась
И свою печаль
Переложила мне на плечи.

Тех, кто забыл меня, не жаль,
Им легче,
Той вон, рыжей, легче.
Не смейся.
На Земле ругай,
А здесь убитому тоскою
Усмешкою не намекай
На унижение мужское.

В ту ночь
К костру твоих волос,

Светивших искорками всеми,
Я муки робости принес
И нежности большое бремя.
В ту ночь не понимала ты,
Что счастью
Более, чем скупость,
Мешает легкая доступность
И постижимость красоты.
Минуты первой не порочь,
Я за нее стыжусь не очень,
Ведь судят не за эту ночь,
А судят за другие ночи.
За те,
Развеявшие страх,
Когда, укрывшись темнотою,
Все чистое и все святое
Сжигал я на твоих кострах.

Среди сидящих предо мной
В прохладе синего тумана
Ищу глазами:
Где Марьяна?
И слышу голос неземной:
— Сюда, чтоб суд тебя судил,
Могли явиться по условью
Лишь те,
Которым ты платил
Ненастоящею любовью.
В покои судного дворца,
Согласно правил,
Были вхожи
Лишь те,
Чьи юные сердца
Ты в лучших чувствах обнадежил...

И все же я,
Какой ни есть,
Заспорил на звезде, как дома:
— Но почему и Дина здесь,
Сама ушедшая к другому?
Она же счастлива, любя?
— Да,— отвечали мне игривей,—
И все же, не познай тебя,
Была б она

Еще счастливей.—
Вмешалась
В сумерках ветвей
Обиженная мною жрица:
— Ей память о любви твоей
Мешает счастьем насладиться.

А та сидит, потупив взор,
Не веря в то, что я преступен.
Ей наш эфирный разговор
Был совершенно недоступен.
Ах, Дина, дело не в словах.
Как быстро ты,
Меняя бусы,
Прическу,
Блузкой в кружевах
Приладилась к иному вкусу.
Вином, испитым мной до дна,
Бедой и муками терпенья
Была способность мне дана
Ее подслушать откровенья:

— Как я обязана душой
Ему, несчастному такому,
Ведь от его любви большой
Зажглась моя любовь к другому.
Слепой, мне хорошо жилось,
Но вскоре поняла его я.
Он был со мной
Как добрый гость,
Даривший счастье гостевое.
И стали страсть во мне гасить
Стыда и скованности муки,
Как будто в праздник
У подруги
Взяла я платье поносить.—
Все ж ревности не утая,
Подумала тепло и страстно:
«Где ты, стыдобушка моя,
Набегал этих,
Всяких-разных?!»

И сам дивлюсь...
Соседка Дины

Нежна за двух,
Дерзка за двух,
Не пощадив мои седины,
Заговорила прямо вслух:
— Какие-то мечты, проблемы...
Ты все искал,
То тих, то зол.
И вот перед тобою все мы!
Что ты искал?
Что ты нашел?
Вот все мы. Все.
Окинь глазами.
И ты, чье имя берегу,
Всю жизнь мотался между нами,
Как в заколдованном кругу.
Вот все мы с жаждою зачатья,
С мечтою в бабьем подоле,
Одною тайною печатью
Заверенные на Земле.
Когда бы я не испугалась
Нечаянных житейских гроз,
Уже давно бы сын твой рос
И утешал бы твою старость.
Скажи мне, что ты приобрел,
Когда по снегу,
По бурану,
Пренебрегая мной,
Побрел
Искать какую-то Звездану?..

О, имя,
Сколько света в нем!
Перед зарею ли,
В ночи ли
Меня с ним, помню, обручили
Еще в младенчестве моем.
Звезда на небе отгорит
И скроется среди тумана,
Мать скажет:
— Вон к тебе летит
Твоя красавица Звездана.

Звездана,
Слышишь ли, родная,

Как, принимая дерзкий вид
И о тебе напоминая,
Земная женщина мне мстит.
Умру,
Не встречу,
Не узнаю,
Бледнея, не прижму к груди.
Землей и Вегой заклинаю:
Приди ко мне!
Приди!
Приди!

Вдруг лестница...
И с высоты
Спешит Звездана.
Ниже...
Ниже...
Уже близка,
Уже я вижу
Давно знакомые черты.
Вот туфельки сняла
И к нам
По ступеням
Спешит спуститься —
Так к уходящим поездам
Спешат,
Чтоб ехать
Иль проститься.
Померкла красота земных,
Но нет обид и нареканий.
Все, все,
Что нравилось мне в них,
Теперь слилось в одной Звездане.

И вот она.
Конец погоне.
Я нежно взял в полукольцо
Своих натруженных ладоней
Ее небесное лицо.
Я взял его, чтоб надивиться
В награду за любовь и труд,
Как воду из ручья берут,
Когда хотят в пути напиться.

Любовно глядя мне в глаза,
Ресницы сизые смежала.
На девственных губах дрожала
Скупая звездная роса.
И вдруг почувствовал смущенье,
Как перед дочерью родной:
Да, грех любви ее со мной
Грехом бы стал кровосмешенья.
А я ведь, гордый,
В дни страданья
Ее придумал для себя.
Она мечты моей созданье,
Душа моя
И плоть моя.

Я отдал годы.
С каждой тратой
Она мне делалась родней.
И вот все отданное ей
Теперь становится преградой.
Ах, раньше б!
Прежде трата сил
Меня с мечтой не так роднила.
— Скажи, родная,— я спросил,—
Что ж раньше ты не приходила?

Все поняла.
Затосковала.
— Пришла б,—
Сказала дочь Звезды,—
Но у меня недоставало
Какой-то маленькой черты.
Была бы я чуть-чуть иная
Без этой черточки одной,—
Ее искал,
Теперь я знаю,
Какой-то юноша земной...

Черты
Жемчужинками в море
Я для тебя искал, мечта.
Мне обошлась в громаду горя
Твоя последняя черта.
Ошибся раз — и стан твой гибок.

Ошибся два — и ты умна.
Ты из цепи моих ошибок
И заблуждений создана.
Найду любовь и не поверю,
Несхожести не потерпя.
Что было для меня потерей —
Находкой было для тебя...

Уже огни на Веге гаснут,
А мне неведомы пути.
Ты так светла,
Ты так прекрасна,
Пройди со мною,
Посвети!

* * *

Земля моя,
Моя родная Русь,
Везде с тобой
Мое земное сердце.
Неужто я,
Когда домой вернусь,
Услышу плач
И стоны погорельцев?

Земля моя,
Тревожно мне порой,
Как будто в тесном доме
Без привычки
Детей своих оставил за игрой,
И не прибрал,
И не припрятал спички.
И потому
На небе на Седьмом
Тревожусь я делами цеховыми,
Ведь мы на самолете боевом
Кроили крылья
Слишком голубыми.

Истратив звезд
Запас словесный,
Я разговаривал с родной
И поверял душе небесной

Сомнения души земной.
Я говорил:
— Здесь вянет тело
Перестоявшею травой.
Летим домой.
Мне нужно дело,
Я человек мастеровой.—
И даже в грусти безотрадной
Ее не тронула мольба.
— Будь счастлив! —
И рукой прохладной
Горячего коснулась лба. —
Прощай...
— Постой, моя краса!
— Нет, я не для судьбы житейской.
И скрылась,
И в ночи вегейской
Светили мне
Одни глаза...

Очнулся.
Цех гудел в горячке.
Слепой,
Еще во власти снов,
Я поднял голову от пачки
Дюралюминьевых листов.
Еще любимый голос слышал.
Был поздний час,
И, как всегда,
В пролете застекленной крыши
Все та же виделась звезда.

* * *

Что сон?!
Фантазия!
Наитье!
Но станет жизнь вдвойне ясна,
Когда реальное событье
Ворвется продолженьем сна.
Гагарин!.. Юрий!..
В счастье плачу,
Как будто двадцать лет спустя,
Отбросив тяжесть неудачи,

Взлетела молодость моя.
Все близко сердцу.
На планеты
Как будто я и впрямь летал.
Скажи, горячего привета
Мне там никто не передал?

И не стыжусь,
И не краснею,
Что ты, свершая свой полет,
На двадцать лет пришел позднее
И на сто лет уйдешь вперед.
Мы люди разных поколений,
Но на дороге голубой
Я рад всем точкам совпадений
Моей судьбы
С твоей судьбой.
Чем круче хлеб,
Тем жизнь упорней.
Я рад, что мы с тобой взошли
От одного большого корня
Крестьянской матери-земли.

Деревня,
Школа,
Логарифмы,
Литейка,
Лётная пора.
Все было схожим,
Даже рифмы
На остром кончике пера.
Мы жили словно в дружной паре,
Точнее — шли мы следом в след.
Я просто Горин,
Ты Гагарин,
Но двадцать лет
Есть двадцать лет!

Недаром же
По воле века,
Приход достойных торопя,
Меня испытывала Вега,
Чтоб не испытывать тебя.
Чтоб волю дать твоим дерзаньям,

Когда ты рос, как все, шаля,
Меня подвергла испытаньям
В те дни тревожная Земля.

Чтоб, дерзкий,
Ты взлетел с рассветом
И возвратился в добрый час,
Мы всё стерпели,
Но об этом
Я поведу другой рассказ.
Я расскажу иными днями,
В словах по сердцу и уму,
Какими трудными путями
Мы шли к полету твоему.

ПАМЯТЬ ВЕКА

Ты, критик,
Как бы мы ни пели,
Не говори, впадая в страх,
Что наши песни не созрели
Судить о горьких временах.
И не советуй нашим лирам,
Воспевшим честные бои,
Отдать трагедии свои
Иным векам,
Иным Шекспирам.
Над нами, говоришь, не каплет,
Повергнут, говоришь, Макбет...
Но жив народ — извечный Гамлет,
Быть иль не быть?
Подай ответ.

Закрытое плитой надгробной,
Уже зарытое навек,
Непознанное зло способно
Недобрый выбросить побег.
Брат Родину любил.
За это
Врагами был он оклеветан
И на крови тюремных плит
Был именем ее убит.
Что из того, что честный воин

Погиб не в тысячном строю!
Он тех же почестей достоин,
Как и погибшие в бою.

Но, возвратясь
Под наше знамя,
Он, мертвый,
Нас, живых, винит.
Пойми же,
Родина глядит
И судит
Нашими глазами.

Для трех,
Для двух,
Для одного
Обиженного человека
Есть память лет...
А память века —
Для человечества всего.

* * *

Та жизнь
Еще не стала сном,
Не позадернулась туманами...
Березы, помню, под окном
Струились белыми фонтанами.
Беда не виделась бедой.
Ласкал мой взгляд
Зарею розовой
В прожилках четких,
Как литой,
Зеленый,
Нежный
Лист березовый.

А между тем
Над боевой,
Над озорной,
Над невезучей
Моей высокой головой
Ползли предгрозовые тучи.
И солнце из-за темных гряд

Блестело то орлом, то решкой.
Друзей сочувствующий взгляд,
Потайных недругов усмешки.

Ни добрых слов,
Ни теплых рук,
В ладонях — скуповатый выем.
Передо мной, как перед Вием,
Чертили отчужденья круг.
Как перед ним,
В глазу — по свечке.
При встрече, чтобы не пугать,
На боязливых человечков
Не смел я веки поднимать.

А грудь гудела, как набат.
Куда пойти?
К кому податься?
Пришел к друзьям.
— Да что вы, братцы?!
— Брат негодяя нам не брат! —
Мне и Борис руки не подал.
Багровей, чем вареный рак,
Скривился:
— Брат врага народа
Потенциально... тоже враг...

И мысль,
Как молнии разбег,
Застыла, не стирая ночи,
Что в осуждении
Жесточе
Бывает подлый человек.
Другая разум потрясла:
Кто в чистоту теряет веру,
Теряет истинную меру
В понятии
Добра и зла.

В тот час,
Когда пошел караться,
Все шмыгало куда-то вбок.
Казалось, стала вырываться
Сама земля

Из-под сапог.
И пусть!
Перед лицом закона,
Перед тобой, любовь моя,—
О, смертный стыд! —
Предстану я
Как брат
Японского шпиона.

* * *

Глядел,
Припоминая брата,
И говорил: родился я
Под орудийные раскаты,
Почти как царское дитя.
Слепые осенив бараки,
Припламеневшие к цевью,
В то утро огненные флаги
Согрели небо
В честь мою...

А через год
Не от пирожного,
Не от медов в златом ковше
Везли меня
Сквозь хмарь таежную
Ко хлебной дедовой меже.
В час отдыха
Меж невоспетыми,
Но не забытыми досель,
Между оглоблями воздетыми
Моя качалась колыбель.
Сама тайга меня качала
На зависть лиственным лесам
И положила там начало
Моим стремленьям
К небесам.

Припоминал
О школьной парте,
О хлебе, что учил труду...
— О брате!.. Говори о брате!..
— Не торопи!.. К нему иду...

Не торопи.
Послушай, Борька,
Все, все скажу, не умолчу.
Он брат,
И не по крови только,
А больше:
Брат по Ильичу.
Бойцы, умевшие все вынести,
От бед не отводили глаз.
Как эталоны справедливости,
Они ходили
Среди нас...

Тогда,
Шумевший, как немногие,
Готовый на любой навет,
Борис мне бросил:
— Де-ма-го-гия!..
Я нарисую твой портрет.
Все расскажу,
Открою начисто,
Как ты,—
Перекривил он рот,—
Из-за преступного лихачества
Разбил советский самолет.

— Факт?
— Факт.—
Торжествовал он:
— Так-то! —
Не ведал я,
Что два лица
Бывает у любого факта:
Для честного
И подлеца.
— Факт?
— Факт.

И снова
Краской черной,
В себя омакивая кисть,
Чужой,
Постыдной и позорной
Изображал мою он жизнь.

Недоставало только стражи.
Мне в усиление вины
Все ставилось в строку,
И даже
Мои космические сны.

Страшнее всякого порока
Изображалась в той строке
Моя шумливая тревога
О неосвоенном пике...
Моя любовь,
Мой свет единый,
И мой восход,
И мой закат.
Так лгал он,
Что в уходе Дины,
Казалось, был я виноват.

Молчал...
Хотя для оправданья,
Лишь тронь,
Сказало бы само
Лежавшее в моем кармане
Ее прощальное письмо.
Когда уже совсем поник,
Уже пошел куда-то книзу,
Услышал я Марьяны крик,
Как две пощечины Борису:
— Ложь! Ложь!..

Потопленный,
Из рямины
В полупритихший глядя зал,
Увидел я глаза Марьянины...
Глаза Марьянины...
Глаза...
Одни глаза...
Большие...
Карие...
В них страх горел,
И стыд в них рдел,
Как будто тесный зал летел,
Как самолет
Летит к аварии...

* * *

И ушел я, преступный...
И не только Седьмое,
Стало мне недоступно
Небо даже простое.
Высота отблистала,
И дорога в развилке
Узким горлышком стала
Недопитой бутылки.
Быть с ней
Сердцу дешевле.
Постигается легче
Лебединая шея,
Голубиные плечи.

Ночь идет, нависая,
Ночь идет, и за полночь
Завихлялась «косая»
Ресторанная сволочь.
Разжижение плоти.
Торжество круговерти.
Как на всяком болоте,
Появляются черти.
И, развязный и резвый,
Плыл он сном ресторанным.
Бойтесь, ежели трезвый
Занимается пьяным.

— Ты же волен?
— Не волен.
— Ты здоров?
— Я калека.
— Чем ты болен?
— Я болен
Всеми болями века.—
Хмыкнул.
— Глупая ноша.
— Не умею иначе.
— Века нет.
— Тогда что же?!
— Лишь минуты удачи.

Я поднялся,
Встревожен,

Отряхнулся от пьянства
И ударил по роже
Мировое мещанство.
Крикнул, все еще дюжий:
— Топочите! Пляшите!..
А вот этого в луже
На мой счет запишите!

* * *

Все рушилось.
Хмельному мнилось,
В глазах — Помпея...
Свет и тьма.
Труба кирпичная кренилась,
Качались люди и дома.
На площади,
Где гимны пели,
Казалось, ставши на вулкан,
Пошатывался великан
В тяжелой каменной шинели.
Не осуждал его,
Не клял.
Был пьян, а все же догадался,
Что он стоял,
Что мир стоял
И только я один шатался.
Доверчиво пошел к нему
Искать защиту и опору...

— Нас, гордых, бьют...
А почему
Услужливые лезут в гору?
Зачем в чести чиновник-трус
И карьерист особой масти,
Которым попривили вкус
К твоим цитатам,
К славе,
К власти?
...Кто страхи превратил в закон?
Кто мою веру вынул вон?
Кто зло внушил:
Казнись, Василий!
Не знаешь?

Горю не помочь?
Так для чего ж
Мне эта ночь,
Перед которой
Я бессилен?!

Огромный,
Каменный в беде
И несгибаемый к обиде,
Он слишком далеко глядел
И, кажется,
Меня не видел.

* * *

И дом — не дом...
Из темноты
Светились, распуская косы,
Три белостройные березы,
Как три богини красоты.
Прощался с ними,
С их листвою:
Прощай, любовь...
Прощай, родня...
Уйду! На все глаза закрою.
Уйду! Живите без меня.

Вдруг скрип...
Вдруг шорох...
Кровь застыла...
Марьяна — как она смела! —
Вошла, спиною дверь прикрыла
И, как распятье, замерла.
Спросила:
— Где ты, дорогой? —
Прислушиваясь и ступая,
На вздох мой трудный,
Как слепая,
Пошла с протянутой рукой.
Близка до умопомраченья,
Склонилась надо мной, нежна:
— Вот я пришла...— и горячее,

Тревожней,
Тише:
— Я пришла...

Молчал...
Ожесточенно. Тупо.
Казалось, что совсем оглох,
Казалось, что пристыли губы,
Казалось, что язык отсох.
Но, ослабевший, онемевший,
Далеким сердцем слышал я,
Как по крови охолодевшей
Текла горячая струя.
Любовь, обида — все смешалось.
Обидней всех иных обид
Была ее ночная жалость,
Принесшая мне боль
И стыд.

— Ты недоволен?
— Мне не нужен
Любовный дар чужой жены
Во искупление вины
Исклеветавшегося мужа...
— Не смей!..
— Нет, смею.
— Ну, взгляни...—
И все клонилась
Ниже... ниже...
— Уйди! Уйди!..
— Да не гони же,
Да не гони же, не гони.
Ведь я твоя...
Припомни, милый,
Полет бедовый нас роднит.
Пусть та беда разъединила,
А эта пусть соединит.
Мой горестный,
От наговоров,
От всех,
От всех,
От всякой лжи
Давай через леса и горы
Мы к нашей речке убежим.

Туда, где лес
В зеленом дыме,
Где нас с тобою ждут давно
И волны те...
И золотыми
Песками
Выстланное дно...

И бредила
И принижалась
В слезах,
Как горицвет в росе.
И грудью ко груди прижалась,
Щекой к щеке,
Слезой к слезе.
Уста подстерегли уста,
Исток притяготел к истоку.
Порок жесток.
А чистота,
Она по-своему жестока.

Нет,
Я не принял праздник страстный.
О том лишь думал, чтоб она,
Как ни мала моя вина,
Не становилась
К ней причастной.
Смущенная,
Уже дичилась:
— Все понимаю...
Не сержусь...
Но все равно,
Что б ни случилось,
А я к Борису
Не вернусь...

Вскочил.
Пустынно.
Нет Марьяны.
Была ль?
Лежит платок.
Была!..
Качаясь,
Морем-океаном
Куда-то комната плыла.

* * *

Куда?
Ты сам судьбою правь,
Любовью, даже в час гоненья,
В окно, как за борт,
Вниз — и вплавь,
Захлебываясь в белой пене,
Гонись за нею до зари,
Гонись,
Гонись,
В нее лишь веря,
Бери с волны,
Со дна бери
И выноси ее на берег.

У площадей,
Как у морей,
Булыжной рябью
Лона вздулись.
В притухшем свете фонарей
Медлительны теченья улиц.
Кружу в отчаянном кругу.
Из переулков,
Из круженья,
Как потерпевшего крушенье,
Меня прибило к тупику.

Калитка
В дождевых накрапах.
И за калиткою — в разгон,
До плеч закидывая лапы,
К моей груди припал Додон.
С упреком и веселым плачем,
Еще боясь,
Что прогоню,
Косматая душа собачья
Признала скорбную мою.

Уж он-то знал,
Кто друг,
Кто враг.
Впервые в жизни,
Пса лаская,

Увидел я, что у собак
Улыбка добрая такая.
Ворча, как бы чуть-чуть браня,
Со всей догадливостью зверя
Он перед Силычем у двери
Ходатайствовал за меня.
Старик впустил.
Вошел из ночи я
И сразу понял:
Мы друзья.
Как у него рука рабочая,
Железом пахла и моя...

* * *

Стол.
Сидим.
Привыкший к ремеслу,
Извлекаю тайное наружу.
По детальке малой, по узлу
Разбираю собственную душу
И кладу на стол.
Кладу.
Кладу.
Нежное, Марьянино,—
В сторонку.
Кажется, на чистую клеенку
Выложил я всю свою беду.

Осмотрел он
Душу инженера,
Осмотрел,
Потрогал хворь ее
И спросил:
— А вера где?
Без веры
Это не душа.
Утильсырье!
Злись.
Но верь.
Гони слепую месть.
Будь собою, думая о брате.
Только вот еще другие есть,
У которых вера по зарплате.

И враги,
И всякое жулье
В революцию и раньше лезли.
Но сильно доверие к ней,
Если
Бьют враги лишь именем ее.
Верь и верь,
Как веришь ты в металл.
Нынче наша вера
В нашем деле.—
Помолчал.—
Я Ленина видал...
И хранить его
Не перестал
В глубине души,
Как в Мавзолее...

С верою,
Что не поддамся злу,
Что в тоске
Перед бедой не струшу,
Снова по детальке, по узлу
Для борьбы собрал он
Мою душу.
Поклоняясь
Скромным именам,
В знатные
И модные не лезу.
Силычи! Я благодарен вам
За родство
По крови и железу.

* * *

Болеют люди.
По наитью
Мудрим, гадаем:
Чем? Бог весть!
Умрут — и обнаружит вскрытье
Их застаревшую болезнь...

С той площади,
Где гимны пели,
Перестоявши ураган,

Ушел однажды великан
В тяжелой каменной шинели.

Уже полжизни,
Как твержу я,
Хлебнувши горького до дна:
У мещанина и буржуя
Природа подлая одна.
Как тощий клоп
Из узкой щели,
Трави его иль не трави,
Так мещанин,
Идущий к цели,
Не пощадит чужой крови.
Такие — им же несть числа! —
Наглеют,
Начиная робко.
Мещанство —
Старая похлебка,
Где вызревает
Вирус зла.

И где-то очень далеко
Уже текла,
Уже кипела
Кровь астурийских горняков
И андалузских виноделов.
Как пламя по сухой стерне,
Чужая,
Ко всему глухая,
Война,
Все жарче полыхая,
Катилась к нашей стороне.

Была добра моя держава.
Спокоен был наш мирный Брест.
Вот Прага пала.
Вот Варшава.
И — взгляд во взгляд:
Звезда и крест.
Пред нами,
Торопя закат,
Как перед новою ночевкой,
Выламывался психопат
С банальной воровскою челкой.

Навстречу в норове крутом
Так нужно было встать кому-то,
Стать знаменем...
Причина культа,
Быть может,
И таится в том?
Не в том ли,
Что свой мудрый дар
Смешал он
С хитростью лукавой:
Тушить, как лесники пожар,
Чужую славу
Встречной славой?

Что б ни было:
Большое ль званье,
Успех иль неуспех в делах,
В природе чинопочитанья
Гнездится обоюдный страх.
Страх сильных — кровь...
И что страшнее:
Не верил нашим он сердцам,
Как будто коммунизм нужнее
Вождю народа,
А не нам.

...Для всех,
На ком остался след
Отверженности,
След изгнанья,
Он, мертвый, нужен,
Как признанье
Преодоленных нами бед.
Зарыт.
Во славу новых дней
Почти забыт.
К чему касаться!
Но мне от памяти моей,
От юности
Не отказаться.

Бери
Немаленькую мерку
Минувшему — всему тому,

Что было скроено по веку
И по народу моему.
Для трех,
Для двух,
Для одного
Обиженного человека
Есть память лет...
А память века —
Для человечества всего.

МОСКВА, МОСКВА...

Всю жизнь мою,
Бывало ль хорошо,
Бывало ль плохо мне,
Не за наградой,
К тебе, Москва,
Я не за славой шел,
К тебе, Москва,
Я шел всегда за правдой.

Известна прежде
Кривостью своей,
Сильна поныне
Жесткой директивой,
Москва, Москва,
Будь с каждым днем прямей,
Москва, Москва,
Будь с каждым днем
Правдивей.

Тебя впервые
Видя из окна,
Не ахал я,
Не охал я при въезде,
Как будто виделась мне
Вся страна
В каком-то
Собирательном разрезе.

Да, да, Москва,
По улицам кривым

Пока в тебе
Доедешь до столицы,
Ты взору явишься
Во многих лицах:
Сельцом,
Селом,
Поселком заводским.

Пока минуют
Улиц рубежи,
Пока спидометр
Гасит километры,
Мелькнут дома
Заштатного райцентра,
Проскочат
Областного этажи.

Но Кремль,
Но Мавзолей
Запомнил я.
Рубины звезд
В бело-морозном дыме
Над древними
Шеломами Кремля
В ту зиму были
Очень молодыми.

Уставшей,
Но глядевшей свысока,
Тебе к лицу была
Твоя обнова.
Под Новый год
В конце сорокового
Такой тебя
Увидел я, Москва.

Мне той поры тревожной
Не забыть,
Когда, подвох
Предвидя сатанинский,
Все свои крылья
После «малой» финской
Моя страна
Спешила заменить.

Стареет все.
Нежданно устарел
Наш бомбовоз,
А время — насмерть драться.
Тогда-то, мастера
Крылатых дел,
Слетались мы к тебе
Стажироваться.

Мы торопились
Окрылить страну,
Прикрыть с высот
От края и до края...
Уже тогда
Работа заводская
Напоминала звуками
Войну...

* * *

Здесь, что ни звук,—
Досрочная борьба.
Есть звук
Как одиночная стрельба.
Есть звуки,
Долетающие слабо.
Есть звуки однозвучные,
Как залпы.

Есть звуки нижних,
Звуки верхних нот.
Бьет миномет.
Стрекочет пулемет.
Грохочет пушка.
На вершине хора
Все покрывает
Львиный рев мотора.

А если звуки
В краски перевесть
И посмотреть на них
В момент разгара,
То в этих красках

Будут жить и цвесть
Все краски
Азиатского базара.

По малым звукам
Накопляя гром,
Что потрясет потом
Дома и рощи,
Здесь строился «ПЕ-2»,
Бомбардировщик,
Пикирующий
Под крутым углом.

Весь новенький,
Всего вчерашний,
Сиял он,
Приподняв крыла
И плексигласовые башни,
Высокие, как терема.

В нем было все
Для удивленья,
Все, все —
От башен, дивных нам,
До хвостового оперенья
С двумя килями по бокам.

Как сын свободы,
Что звала на труд,
Как сын неволи,
Зачатый в страданье,
«ПЕ-2» творился
В том суровом зданье,
Которое Лубянкою зовут...

Не видевший
Ни звезд, ни облаков,
И страху и безверью
Не подвластный,
Его творил
Лобастый,
Коренастый,
Твой сын, Москва,
Владимир Петляков.

Да, было так.
Когда клеветники,
Оклеветав,
Дрожали от бессилья,
Он даже там,
Навету вопреки,
Отращивал стране
Большие крылья.

Таким он
И стоял невдалеке
И объяснял,
Сбивая нашу радость:
— Одна беда:
Сегодня при пике
Машине что-то
Не дается градус...

Мы понимали,
Были не темны,
Что градус тот,
Не давшийся заводу,
Мог подтвержденьем стать
Его вины,
Что снял он подвигом
Всего полгода.

Стоявшего
Над кипой чертежей,
Начертанных
За дверью каземата,
Спросить хотелось:
«Не встречал ли брата
На переходах
Скорбных этажей?»

В окно влетал
Еще не смертный гром,
Но в нем уже была
Его природа...
Как мне ни горько
Говорить о том,
Все войны начинаются
С завода...

Здесь, что ни звук,—
Уже борьба, судьба.
Есть звук
Как одиночная стрельба.

* * *

Ходил предпраздничной Москвой
И тосковал тысячеверстною
Душевною,
Телесной,
Костною,
Таежно-темною тоской.
И больно было, хоть кричи,
Когда вокруг порхали милые,
Как бабочки розовокрылые,
Улыбки женские в ночи.

Вино ли пить,
Читать ли классиков,
Бродить ли у чужих огней?
Для одиноких нету праздников,
Им в праздники еще трудней.
Так думал я, но думу грустную
Развеяла на стапелях
Письмом, врученным второпях,
Какая-то девчонка шустрая.

В письме был зов.
О, сила зова!
Я растерялся, поражен,
Что так вот странно приглашен
В Дворец культуры Горбунова.
И не заметил на тот раз
Всей книжности
Певучих фраз:

«Придите,
Сбросьте боль отравную...
Средь елок, ставших на виду,
Ищите в залах елку главную.
Пробьет двенадцать —
Я приду».

* * *

Парк.
Через парк
Во мгле пуржистой
Меня тропинка привела
К творению конструктивистов,
Певцов бетона и стекла.
Дворец светился до угара.
Из глуби зала на окно,
Танцуя, наплывали пары
Беззвучно, как в немом кино.

А там,
Подобно водопаду,
Навстречу мне
В сиянье брызг
Все многозвучье маскарада
По лестнице катилось вниз.
Там...
Где-то там стояла ель,
И я по лестнице высокой
Вплывал, казалось, как форель,
Навстречу горному потоку.
Преодолев пролет крутой,
Таинственному зову верный,
Поднялся я до елки первой,
Но по всему еще не той...

О, высота!
О, красота!
Плечами хвойными играя,
Очам предстала ель вторая,
Но по всему еще не та.
Под вальс старинный,
Легкий, плавный,
Звучавший мне издалека,
Добрался, наконец, до главной,
С вершиною у потолка.

...Я даже вздрогнул
Средь гульбы,
Когда на Спасской,
Рвя со старым,

Год начался глухим ударом,
Недобрым, как удар судьбы.
А время било...
Било...
Било...
Клянусь, не ведая стыда,
Ударов тех
Тринадцать было,
А не двенадцать,
Как всегда...

Я ждал.
Я терпеливо ждал.
Обидно было,
Горько даже,
Что, ставшего
На чуткой страже,
Меня никто не признавал.

Но вот по шумной быстрине
Шла группа летчиков приметных,
Орденоносных и портретных,
Давно известных всей стране.
В наградах, в блеске их слиянья,
Играло, золотом горя,
И заполярное сиянье,
И халхин-гольская заря.
И чуть темневший на свету,
Среди наград носимый свято,
Негласный в золотом ряду,
Багрец испанского заката...

Шли летчики,
Шли женщины меж них,
И, как бы в фокусе
Живой картины,
Ступала коронованная Дина
В капризном золоте
Кудрей своих.
Как будто
Ничего не изменилось:
Походка та же
И улыбка та.
Все так же лунно,

Матово светилась
Покатых плеч
Лебяжья красота.

Мы любим жен,
Мы женщин обнимаем,
Не постигая
Все-таки душой,
Что красоту их
Лучше понимаем,
Когда она
Становится чужой.

Она шла с мужем,
Как со мной, бывало,
И потому
Больнее стала боль.
Но, может быть,
И с ним она играла
Какую-то
Любительскую роль?
И, в ревности
Себя не утешая,
Спросил ее потом
В порыве зла:
— Красивая,
Капризная,
Чужая,
Счастливая,
Зачем ты позвала?

Стирая свет
Благополучья,
По безмятежности лица
Скользнула тень высокой тучи,
Как бы летевшей в небесах...

— Прости...— и стихла,
А когда-то
Была неробкой на слова.—
Умом я верю, что права,
А чувствую, что виновата,
Для памяти
Звала метелицу,

Чтоб снег укрыл ее собой,
Но память бродит,
Как медведица
Над заметенною тропой.
Шекспира ль,
Пушкина ль прочту!..
Они писали не фальшивя.
Любви законы там Большие,
А правят Малые в быту.
Мне мука сердце изожгла:
Где истина?
Где откровенье?
Пошла на подвиг,
А пришла,
Как баба подлая,
К измене...
Мне оттого и нет покоя,
Затем тебя и призвала.
Когда б ты счастлив был с другою,
И я бы счастлива была...

К нам
Муж ее уже шагал,
Приметив нас
В людском разливе,
И я из ревности солгал,
Сказав, что нет меня счастливей,
Сказал ей, что с конца зимы
Семейным радостям предамся,
Склонился перед ней...
И мы,
Как прежде,
Закружились в танце.

Нарядная стояла ель,
Над ней, высокой, небывало
Пикировала и взмывала
Бомбардировщика модель.
А мы кружили,
Мы кружили...
Просила милая меня,
Чтобы отныне мы дружили,
Как настоящие друзья.
Чужим весельем не пьянея,

Сказал, предавшись куражу:
— Я с женщинами не дружу,
Я женщин лишь любить умею...

Так я сказал,
Прощаясь с нею,
Веселый покидая зал.
Теперь до боли сожалею,
Что так заносчиво сказал.
Теперь иное откровенье,
Иная правда мне видна.
Любовь способна к перемене,
А дружба более верна.
Любовь!
Нет выше и прекрасней,
Чем обжигающая страсть,
Но человек над ней
Не властен.
Над дружбою
Возможна власть.

Простился я,
Того не чая
В своей пустой недоброте,
Что снова Дину повстречаю,
Уже не в блеске, а в беде.
О, если б прежде,
Чем обидеть,
В ревнивую впадая злость,
Я прозорливо смог увидеть
То, что позднее довелось.
О, если б я,
Смиряя бредни,
Увидел не веселый бал,
А грузный эшелон последний,
Ночами шедший за Урал...

...Он, помню, шел,
И расступалась мгла,
И на платформах,
Будто век свой отжили,
Громадились,
На мамонтов похожие,
Остывшие чугунные тела.

И люди, не имевшие вины,
Пригоревались
Под чугунной сенью,
Найдя здесь
Ненадежное спасенье
От холода,
От ветра,
От войны.

И что-то поднялось в моей груди,
И что-то подтолкнуло от вокзала,
И что-то, осеняя, приказало
Властительно:
Гляди!
Гляди!
Гляди!

И я глядел,
С тоскою я глядел
И чуткостью глядел
Почти звериной.
Как бы предчувствуя,
Нашел я Дину
Средь тех громоздких,
Тех чугунных тел.

На прядях снег
Был вроде седины.
Она казалась древней
В темной шали.
Нет, нет, моложе.
У такой печали
Нет возраста.
Все возрасты равны.

Она сидела, не смежая век,
Уставясь холодно и отрешенно
Куда-то вдаль:
За суету перрона,
За фонари,
За белый-белый снег.

Что виделось ей там?
Родной ли дом,

Иль муж ее,
На запад улетевший,
Иль самолет его,
Уже горевший,
Чертивший небо
Огненным крылом?

Что слышала она
В тот снеговей?
Когда бежал я
За платформой длинной,
Когда кричал я:
— Дина!..
Дина!
Дина!..—
Не голос ли его
Был слышен ей?

Снег падал к снегу...
Падал...
Долго-долго
Стоял я
Перед снежной пеленой.
Мне виделась
Наряженная елка
И Дина,
Примиренная со мной.

Все вспомнилось:
И конфетти пороша,
И музыка,
И кудри рассыпны,
И смелый вырез платья,
Так похожий
На вырез
Нарождавшейся луны.

* * *

Мы покидали
Опытный завод
И думали, спеша
К ангарским водам,
Что враг нам даст

Еще бескровный год,
А оказалось, дал
Всего полгода.

Заклятый враг
Готовился к броску,
Начальство же,
Беды не разумея,
Еще два дня
Дало нам на Москву:
Доесть,
Допить,
Долюбоваться ею.

С едой бывало плохо,
Шарь не шарь,
Столица ж не пахала
И не сеяла,
Но в пышном
Магазине Елисеева
Высокий собирала урожай.

А рестораны!
Молодость, прости,
Что, в них бывая,
По нехватке знанья
Боялся я
Не так произнести
Столичных блюд
Мудреные названья.

Еда едой,
Хоть голод
Страшный зверь,
Не веселее
Голодать и душам.
В Москве тогда,
Как, впрочем, и теперь,
С духовной пищей
Было тоже лучше.

Прекрасному
С тех пор я счет веду
И жизни приношу

Благодаренье,
Что видел я
Улановой паренье,
С Качаловым сидел
В одном ряду.

Душа моя
Светилась новизной,
Новей, чем холст
При первой нагрунтовке.
Усталым я шагал
Из Третьяковки,
Как после пересмен
Из проходной.

Печальный Врубель,
Нестеров, Крамской,
Что не пришел еще,
О том жалею...
В тот грустный день
Прощания с Москвой
Я тихо продвигался
К Мавзолею...

* * *

Я буду помнить
Весь свой век
Игру снегов
И холод чертовый.
Мороз и снег,
Мороз и снег,
Как в январе
Двадцать четвертого.

Плечом к плечу,
Плечом к плечу
Мы шли безмолвно.
Снег, не вейся!
Придем из вьюги
К Ильичу,
Войдем с мороза
И согреемся.

Снег и мороз.
Поток людей
Был смутен
Смутностью былинною.
Противник всех очередей,
Я был доволен
Самой длинною.

Старушка —
Из-за трех одеж,—
Нарушив строгость
Ненамеренно,
Как будто шла
К живому Ленину,
Спросила тихо:
— С чем идешь?

Припомнив
Быль и небылицы,
Я шел к нему,
Продрогший весь,
Что был он,—
Лично убедиться,
И в том увериться,
Что есть.

Снег,
Снег...
Сквозь снег
И ветер адовый,
Что мне в лицо
Шрапнелью бил,
Я шел к нему
С судьбою братовой,
Который так его любил.

Снег...
Снег...
И только башни — вехами,
И только выучка — терпи.
Я с трудовыми шел успехами
И с неудачами в любви.

Снег...
Снег...

Но часовых видать.
Все ближе блеск
Штыка почетного.
В буденовках бы им стоять,
Как в январе
Двадцать четвертого.

Пусть форма та
Века пройдет,
Пусть, вызывая
Чувство странности,
В ней Революция живет
В своей суровой
Первозданности

Вниз...
Вниз...
Тепло.
Там Ленин спал,
Не потревоженный шагами.
Там темный камень
Прозревал
Голубоватыми цветами.

Вниз...
Вниз...
В печальном полукруге
Судеб, как бы обнявших гроб,
Лежали трудовые руки,
Светился думающий лоб.

Вниз...
Вниз...
Лицо его сурово,
Широк,
Высок бровей размах.
И недосказанное слово
Еще теплело на губах...

Я думал,
Душу облегча,
Счастливо выйду
С легкой ношею,
А выходил от Ильича

С нагрузкою
Намного большею.

Я старше,
Я мудрее стал,
Как будто он
За все мучения
На всю большую жизнь
Мне дал
Ответственное поручение.

Не знаю,
Сколько буду жить,
Но, отработав
В цехе огненном,
Приду однажды доложить,
Что сделано
И что исполнено...

* * *

Москва, Москва,
Бывало ль хорошо,
Бывало ль плохо,
Бодрый иль усталый,
Как через сердце
Родины большой,
Я шел через тебя
Кровинкой малой.

И счастлив я,
Что узами родства
Сыны земли, как я,
С тобой роднятся.
Ты не имеешь права
Жить, Москва,
Одними теми,
Что в тебе родятся.

Сказать «люблю»,
Душой не покривив,
Сказать не смею,
Это слишком мало!
Ты выше неприязни

И любви.
Ты для меня, Москва,
Судьбою стала.

Ты — высший суд,
Ты — первая в делах.
Суди без спешки,
Думай без затяжек,
Ведь сколько силы
У твоих бумажек,
Лежащих
На ответственных столах.

Известна прежде
Кривостью своей,
Сильна поныне
Жесткой директивой,
Москва, Москва,
Будь с каждым днем прямей,
Москва, Москва,
Будь с каждым днем
Правдивей.

СМЕРТНАЯ ВЫСЬ

Перо
Все тяжелей роднит
Бумагу белую со мною.
Она мне душу леденит
Своей жестокой белизною.
Бел сахар,
Но бела и соль.
О, ветер юности пьянящий,
Когда еще любая боль
Считается
Ненастоящей!
Когда, как мел,
Легко стереть
Все огорченья
На рассвете,
Когда, еще не веря в смерть,
Легко мы думаем о смерти.
Когда в неведенье своем,

Как дети, смелые в реченьях,
Мы злому слову придаем
Еще не полное значенье.

Война! —
И крик,
А не слова,
Как будто, описав кривую,
Отторгнутая голова
Ударилась о мостовую.
Легла немыслимая тень
На камни
И на все живое,
Как будто зеркало кривое
Перекосило ясный день.
Химеры из углов полезли.
У молодых и стариков
В подспудной памяти воскресли
Все ужасы
Былых веков.

Пришла пора
Платить в беде
И в круговой
И в личной доле
За клятвы, данные в труде,
За песни, спетые в застолье.
За все — за подлость подлецов,
За мудрость мудрецов столетья.
За все — за подвиги отцов,
За их суровое наследье.
За милой речки берега,
За радости,
За огорченья,
За первый взлет под облака,
За первое свое крушенье.
За свой диплом,
За переплет,
Серпом и молотом
Горевший.
За все, за все —
За самолет,
Увы, к боям
Не подоспевший...

* * *

Любил я скрипку.
Но в тот час
На опечаленном перроне
Не скрипки провожали нас,
А наши русские гармони.
Под скрипки,
Как бы ни играть,
Как струны
Ни терзать смычками,
Пристало слезы вытирать
Платочками,
А не платками.

Зато гармоням
Боль — не стыд.
Они о муже и о друге,
В тоске заламывая руки,
Как бабы, плакали навзрыд.
Для них рыданье не игра.
Для них на годы расставанья
Придумывали мастера
Двойное, долгое дыханье.
Когда их темные ремни
В игре
К плечам
Приникнут плотно,
Они покажутся сродни
Всем остальным
Ремням походным.

Объятья.
Слезы...
У черты
Ошеломленного перрона
Стояли тридцать два вагона
С дверьми,
Открытыми
Как рты.
Игра судьбы:
Мы снова рядом,
Борис и я,
Враги — друзья.
В тот день

Еще мы пахли складом
Перележалого белья.
Без хитрых
Фиговых одеж
Он стал в экипировке грубой
На прежнего себя похож —
Таким, как в дни аэроклуба.
Откинув голову свою,
В пилотке ставшую крупнее,
Глядел он в небо, каменея,
С руками книзу,
Как в строю.

Там,
В небе,
Над тоской разлук,
На фоне облаков багряных
Спешила легкая Марьяна
Через высокий виадук.
Неопалимая в огне,
Прекрасная в тревожном беге,
И стало странно, как во сне,
Нездешне стало,
Как на Веге.

Вот лестница.
Вот с высоты
Летит Марьяна.
Ниже...
Ниже...
Уже близка,
Уже я вижу
Ее небесные черты.
Сняв туфельки,
Уже земной
По ступеням спешит спуститься,
Спешит, чтобы успеть проститься...
С кем?
С кем проститься?
С ним?
Со мной?

Уже гудок
Сердца потряс.

Под нарастающие звуки
Марьяна увидала нас
И, вздрогнув,
Опустила руки.
Над всплеском горя и тоски
Труба призывная трубила.
Марьяна даже отступила,
Зажав ладонями виски.

И рисовать уже не надо.
На то и красок не найти,
Как отрывался взгляд
От взгляда,
Грудь отрывалась
От груди.
Повдоль вагонов стоны, стоны
В километровый стон слились,
И только тридцать два вагона,
Толкнувшись,
Не разорвались.

Кого же все-таки,
Кого
Марьяна проводить хотела?
Не отличив ни одного,
Она кого-то пожалела.
Вагон стучал:
«Кого?
Кого?»
Найдя ее в толпе угарной,
Подумал каждый благодарно,
Что пожалели
Не его.

Казалось мне,
Художник грубый,
Давно забывший доброту,
На певшие когда-то губы
Кривую наложил черту.
Казалось, сумасшедший гений
Единственную из земных,
Не допуская исключений,
Похожей сделал на других.

В глазах ее
Цвело мученье.
О, лжехудожница-война
С привычкой мрачной
К обобщенью,—
Чтоб все глядели,
Как одна!

* * *

Что мучило?
Что сердце жгло?
Что думал я?
Спервоначала
В моей душе еще кричала
Любовь к тому, что отошло,
Еще и ненависть не зрела,
Но вспыхнула —
Не побороть:
О, как горела, как горела
Любовь, сжигающая плоть!

Еще безликим было зло,
Еще далекими лишенья.
Любовь росла,
А с ней росло
Раскаянье и сожаленье.
Зачем в такой тревожный век
Я счастье вечное пророчил!
Зачем той горестною ночью
Я красоту ее отверг!
Любовь росла,
Любовь крепчала
И ненависти
Не вмещала.

Пиши, железное перо,
Пиши, познавшее сверх меры
Трагедию высокой веры
И в Человека
И в Добро.
Печальна веры той судьба
В людей с ружьем не по охоте,
В людей от Шиллера и Гёте,

От молота и от серпа.
И кто не верил среди нас,
Что стоит только крикнуть:
— Братья! —
Как бросятся
К тебе в объятья
И рыжий Фриц,
И смуглый Ганс.

Пиши, перо,
Все в той же вере
Картины горя и беды:
Мир Моцарта и мир Сальери,
Мир свастики и мир звезды.
Пиши два мира, два лица:
Мир красоты,
И мир уродства,
И безоружность благородства
Перед коварством
Подлеца...

Молчи, перо.
Передохни.
Всем пониманьем,
Данным с детства,
Дай мне додумать,
Как они
За восемь лет
Дошли до зверства.

...Ведь был прогресс.
Была печать.
Да, да, была,
Но от печати
Случилось черное зачатье
И та же выучка молчать.
Была печать,
И был прогресс.
Да, да, он был,
Но от прогресса
Мозгов фашистских,
Как под прессом,
Все меньше
Становился вес.

...Легко ли,
Повстречав таких,
Нам было смертным боем
Биться
И все-таки не очутиться
В борьбе
Похожими на них!

* * *

Рожденные,
«Чтоб сказку
Сделать былью...»,
Как, помню, пелось
В песенке одной,
Свои еще не сломанные крылья
Мы с грустью ощущали за собой.
Уже чужие синеве небесной,
Мы по стальным летели колеям.
Казалось, нам в вагоне было тесно,
Казалось, крылья те
Мешали нам.

Летели?
Нет!
У каждого в петличках
Была не птичек
Божья благодать.
Пишу «летели»
Только по привычке,
По памяти
Умевшего летать.

Пилоты,
Мы сидели средь пехоты,
И, значит, время попусту сгубя,
Мы, строившие наши самолеты,
Их не успели сделать для себя.
Хоть не было вины особо личной
У нас, у мастеров большой руки,
Все ж, если говорить метафорично,
Мы ехали на фронт,
Как штрафники.

От горна,
От его огня
Катились мы
В горнило ада:
С Востока,
От истока дня,
На Запад,
В сторону заката.

О, сколько нужно дней
И доброй силы
Вагон, как люльку,
На пути качать,
Чтобы солдат
Увидел всю Россию,
Увидел все,
Что надо защищать;
Чтоб все увидел,
Все он заприметил,
Не проглядел чего-то
Невзначай...
Россия-мать,
Все для тебя мы дети,
Россия-мать,
Качай меня,
Качай...

Река...
Тайга...
Деревня за пригорком...
Опять тайга...
Вот полоса жнивья...
Вот Иверка...
Вот станция Ижморка...
Вот заблестела
Реченька моя...

Есть много рек,
Но самой дивною
Была и будет,
Жив пока,
Та говорливая, разливная,
Благословенная река.
Она то узится,

То ширится
В прохладе леса и травья,
Моя кормилица, поилица
И нянька мудрая моя.

Налимовая,
Пескаревая,
Да сохранятся на века
Твои глубины окуневые
И черемшовые луга.
Да не иссякнет вод течение,
Да будут дымкой голубой
Ходить туманы над тобой
И зоревые
И вечерние...

Я бросил ветку
В речку-реченьку
С моста, гремевшего над ней,
Чтоб ветку ту
Прибило к вечеру
Под окна матери моей.
Огни зажгутся в Яя-Борике,
Тогда она с поклоном дню
Сойдет к реке
Помыть подойники
И тронет весточку мою.
Застраждет
Грудь ее уставшая...
О том, что минул я ее,
Подскажет
Никогда не лгавшее
Ей материнское чутье.

* * *

Так думал я.
Тем сердце жило.
Теперь с приходом темноты
Моя страна огни тушила,
На окна синие спешила
Наклеить белые кресты.
И за Уралом за рабочим,
Еще не прятавшим огней,

Безлунные глухие ночи
Желанней стали
Светлых дней.

От перегона
К перегону,
От рек до речек,
По мостам
Гремели тридцать два вагона
Навстречу стыдным новостям.
И нарушали эти вести,
Чужие смыслу «не убий»,
Трагическое равновесье
И ненависти
И любви.

Мы пели
Петое давно,
Про паровоз и про винтовку.
Нам помогало петь вино,
Добытое на остановках.
Плясали с чертиком в башке,
И кто-то, помогая ложкам,
Играл на старом гребешке,
Как будто на губной гармошке.
Веселые всегда в чести,
Поскольку в каждой передряге
Обязан кто-то крест нести
Весельчака
И забияки.

А я под лязг
Стальных колес,
В свою заглядывая душу,
Решал мучительный вопрос:
А кто я?
Струшу иль не струшу?
Мне
И не думалось такое,
Когда, уже притихших, нас
За первостольною Москвою
Догнал Верховного приказ:
За полученьем,
Прямо с ходу,

С горячих западных ветров
Он приказал вернуть заводу
Технологов и мастеров.

Средь разбиравшихся в моторе,
Средь отличавших дрели визг
Был назван я,
Василий Горин,
И однокашник мой, Борис.

А эшелон
Тянулся в спешке
До станции,
Где нам сойти.
Звучали едкие насмешки
Не возвращаемых с пути,
Не ограждаемых от смерти,
От смертной раны,
От огня,
От прозябания в кювете:
— Ха-ха! У них в Кремле родня!

Как трудно было
Сильным, гордым
Душой томиться от стыда.
Живой поймет,
А перед мертвым
Не оправдаться
Никогда.
Живой поймет!
Бессильно слово,
Но убедителен зенит.
Живой поймет!
Ему, живому,
Насевший «юнкерс»
Объяснит...

* * *

Он шел в пике,
Мы, как в бреду,
Под рев его и паровоза
Выскакивали на ходу
И скатывались по откосу.

Но взрыв! —
И землю потрясло!
Но взрыв! —
И землю разломило!
Меня волной ошеломило,
Меня куда-то понесло.
И было странным для меня
Последней мысли угасанье:
«Ах, вот как умирают...»
Я
На этом
Потерял сознанье.

Не встал бы,
Но крутая жизнь
Меня в суровости растила:
Упал — на ноги становись,
Чтоб кровь лежачая не стыла,
Я жил и рос в науке той,
И тело памятливым стало.
Оно само,
Слепое,
Встало
И разбудило
Разум мой.

Я слышал стоны,
Стоны,
Стоны
И видел в отсвете зарниц,
Как над обломками вагонов
Шумела стая красных птиц.
Им было тесно.
То и дело
Они дрались остервенело,
Ломали крылья,
И окрест
Звучал их неумолчный треск.
Смешалось все:
И стон смертельный,
И шум огня,
И клекот злой...
Трава горела.
Как в литейной,

Железом пахло
И землей.

Мне все казалось,
Все казалось,
Что в жизни
Что-то повторялось.
Казалось, был и этот зной,
И этот при закатном солнце
Истошно нараставший вой
Штурмующего крестоносца.
Казалось, был уже такой,
Глядевший в небо
И кричавший
С обидой,
С горечью,
С тоской:
— А где же наши?
Где же наши?!

О, небо!
В розовом дыму
Кровоточащее,
Как рана!..
А я все шел.
И звал Марьяну,
И сам не зная почему.
А я все шел.
И вдруг устал.
И вдруг остолбенел,
Пронизан
Глазами скорбными Бориса,
Глядевшего из-за куста.
В них мука смертная сквозила,
Как на окне стекла излом.
Другие все
Ползли в низину,
А он на холм,
На холм,
На холм...

Он полз на холм,
Где над пожаром,
Кроваво-красное сквозь дым,

Лежало солнце детским шаром,
Красивым шаром надувным.
Он полз мальцом
К игрушке детства,
А следом,
Обагряя куст,
Кровь еще помнила о сердце
И отбивала
Слабый пульс.

Он полз
Над взрывом,
Над пожаром,
Как будто
И не ранен был,
Все к шару,
К шару,
К шару,
К шару,
А шар качнулся
И уплыл
За лес,
За речку...
На мгновенье
Борис поднялся над травой
И в горестном недоуменье
Упал к востоку головой.

Есть знак:
Почуяв, что умрет,
Когда б и где б ни очутился,
Смертельно раненный
Ползет
В том направленье,
Где родился.

Ему я
Грудь перевязал
Руками как бы не своими.
Еще он жил,
Еще он звал,
Как я, он звал
Все то же имя.
Еще он жил,
Еще он был.

— Возьми...
Вот здесь...
Вот здесь, в кармане...
Вернешься...
Передай Марьяне...
Скажи, что я...
Ее любил...

Он говорил уже из ночи.
И не успел сказать всего.
Но мне была еще жесточе
Вторая исповедь его.
Неужто думал я о ней,
Когда Борис
Смолкал навечно?!
Нет? Эта мысль
Пришла поздней.
Тогда я думал
Человечней...

Однажды,
Помнится, весной
Втроем мы снялись
В дни полетов.
И вот из книжки записной
Знакомое скользнуло фото.
На фотографии на той,
Казалось, вместе мы летели,
Все трое высоко глядели
С какой-то дерзкой чистотой.
Теперь же, бывший рядом с ней,
Глядевший от любви нетрезво,
На карточке
Я был отрезан,
Как он отрезан
На моей...

* * *

Как часто
Думал я потом,
Как мучился
В догадке смутной:
Чем для него был этот холм

В его последние минуты?
Взбираясь по тому холму,
Роднясь душой
Со смертной высью,
Не захотелось ли ему
Подняться
Над своей корыстью?
Отмывшемуся дочиста
Нечеловеческим страданьем,
Была ли эта высота
Его последним оправданьем?

Как горестно
В беде прозреть,
Печальным светом озариться,
Душою заново родиться
И, народившись, умереть!
Как часто думал я о нем,
О мудром смысле очищенья.
Душа, омытая огнем,
Достойна моего прощенья.

Не взял он дот,
Не взял он дзот,
Навстречу танку
Не метнулся
И по приказу
Не вернулся
Победный строить самолет.
Не взял он дот,
Не взял он дзот,
Но для оставшихся
В пилотках
Вдруг стала
Малая высотка
Прообразом
Больших высот.

КРЫЛЬЯ НА ПОЛДЕНЬ

Припоминая
Гибель друга,
Оспорю мудрость всех наук.

Жизнь мчится по закону круга:
Круг малый
Входит в больший круг.
Есть круг на все,
Что станет с нами,
Есть круг на радость и беду.
Недаром Дант в своем «Аду»
Все судьбы
Очертил кругами...

Дорога
гнется,
гнется,
гнется...

Хоть кажется,
Что нет прямей,
Пока однажды не замкнется,
Как у Бориса,
На холме...

Дорога
гнется,
гнется,
гнется...

А говорили:
Мы ль слабы!
Твердили:
Каждый остается
Хозяином своей судьбы!

А что мне
С мысли той мудреной,
Когда,
Забыв уют квартир,
Идут мильоны на мильоны,
Два мира —
Мир идет на мир.
Вот и попробуй-ка остаться
В своей судьбе самим собой,
Когда такой всесветный бой
Все занял:
Землю и пространство.

Но
Среди ужасов и болей,
Жесточе становясь и злей,
Быть человеком
Был я волен,
А эта служба тяжелей.
Утратив друга,
Полный силы,
Я б мог вернуться
В край родной,
Но от Борисовой могилы
Мне был начертан
Круг иной...

Мы в тесном
Станционном зале
Попутного состава ждали.
Вдруг вестником
Всех божьих кар
Влетел какой-то комиссар.
Мы стали вроде бы виниться,
Что возвращаемся назад.
Нас подняли его петлицы
И скорбно сумасшедший взгляд.
Глаза глядели
Так неистово,
С таким дымком
У синих глаз,
Как два запала,
Как два выстрела
И в самого себя,
И в нас.

Глухой,
Холодный к лепетанью,
Что-де Верховный приказал,
Он только отмахнулся:
— Знаю! —
Спросил хрипотно:
— Кто летал? —
Не поняли.
Тогда он четче,
Нетерпеливей и острей:
— Я спрашиваю,

Кто здесь летчик? —
Пальнул глазами.—
Ну, быстрей!

Нас было двадцать,
Было двадцать,
Стыдливо опустивших лбы...
И я не мог не отозваться
На голос неба
И судьбы...

* * *

Дорога
гнется,
гнется,
гнется...
Настойчиво и горячо
Мое плечо на сгибах бьется
О комиссарово плечо.

Как плат узорный
Долгой носки,
Что был в нужде незаменим,
Шуршала пестрая двухверстка,
В пути развернутая им.
Всего позорней и постылей
Была нам попранная честь.
— Мы отступаем... Отступили...
Они вот здесь... А мы вот здесь...

На карте, помню, той военной,
Вдоль маленького городка,
Набухшей, взрезанною веной
Дрожала синяя река.
Косой надрез дошел до леса,
И мне казалось,
Что вот-вот
Кровь хлынет
Из того надреза
И карту старую зальет.

Мы торопились
По шоссейной
И по проселочной — туда,

Где на земле, пока ничейной,
Остался брошеный «ПЕ-2».
Тот самый,
Днями и ночами
В далекой стороне лесной,
Уже совсем перед войной
Любовно выхоженный нами.
Тот самый,
Что был встречен хором
И громыханием цехов.
Тот, самый трудный,
Над которым
Вымучивался Петляков.

С души поднялся
Голос трубный:
— Стой, комиссар!
Поверь, не лгу,
Я лишь пилот
Аэроклубный,
Взлететь на этом
Не смогу!..
— Довольно! —
И на мне опять
Два синих дыма
В жерлах взгляда,
Два выстрела:
— Взлетать не надо.
Его приказано взорвать.
Ты знаешь, что взрывать:
Ты строил,
Ты, черт возьми, летал!.. Да, да!..
Не только вывести из строя,
А так,
Чтоб не было следа!..
Запоминай! —
Он карту отдал,
Заговорил про динамит,
Про то, как весело горит
К нему причастный
Шнур бикфордов.

Полями,
Лесом,

Перелеском
Все дальше мчался «газик» наш.
И начал видеться пейзаж
В каком-то сумраке библейском.
Все странно:
И любовь до слез,
И отчужденность до страданья.
Казалось, красота берез
Уже стоит за некой гранью.
Казалось, время не бежит,
Казалось, стихла скоротечность,
Казалось, пасмурная вечность
Чего-то ждет
И сторожит...

Спешим —
По ветру в колесе! —
Наперерез беде тотальной
К той самой страшной полосе,
Зачем-то названной
Нейтральной...

* * *

Стоял он
На пустынной пашне,
Тоскливо накренив крыла
И плексигласовые башни,
Высокие, как терема.
Стоял он как бы облаченный
В одежду млечную стрекоз,
Стоял красивый,
Обреченный
И на распыл
И на разнос.

И на разнос
И на распыл.
Поздней он стал бы,
Будь плененным,
Опасней дюжины шпионов,
Врагом заброшенных
В наш тыл.
Ему не стыдно и не больно.

Он у врагов, в руках у них,
Мог стать предателем невольным
Крылатых родичей своих.
Он, одинокий, мог предать их
Еще в их чреве заводском,
И даже тех своих собратьев,
Что нарождались бы потом.

А он и так нам крови стоил
И жизни стоил,
Что скрывать!
Прав комиссар,
Его я строил
И точно знаю,
Что взрывать.
Так Бульба на свое дитя
Глядел, терзаясь
Мукой схожей:
Я породил тебя,
И я
Тебя сегодня уничтожу.

В нем,
Небокрылом,
Все слилось
В одну махину
Безызъянную.
Все вспомнил.
Сердце обожглось,
Как будто встретился
С Марьяною.
Не мучась именем ее,
Забуду все, как при контузии.
Взорву я прошлое свое,
Развею все свои иллюзии.
И для того, как адский взвар,
Клейменный чертовой печаткою,
Носил взрывчатку комиссар,
Потел и я над той взрывчаткою.

Мы тяжесть смертную внесли,
Встревоженные чем-то жутким,
В кабину, где к приборам чутким
Сходились нервные узлы.

Тут я увидел,
К небу зоркий:
По краю облака, врасплох,
Подобно санкам с белой горки,
К нам скатывался легкий «шторх».
Казалось, нас мороз морозил,
А он, приметивший «ПЕ-2»,
Скользил с присвистом,
Как полозья
Скользят по синей
Глади льда.

Тот «шторх»,
Тот «аист» из ворон,
Что так недавно Риббентропом
Был нам в подарок поднесен
От покорителя Европы.
Тот «шторх»,
Его я узнавал.
Как не узнать,
Когда всесветно
Он нагловато стартовал
В те дни
Со всех полос газетных.

Покамест
«Аист»
Сел на луг,
Пока рулил,
Мы поспешили
Порвать тугие бензожилы
И выйти через бомболюк.
Во мне жил страх,
Но с плеч гора,
Когда, пропахшие бензином,
Мы запалили два шнура
И, пятясь, поползли
В низину...

Два огонька
В траве дымили,
Шипели, как шипит гюрза.
О, как они похожи были

На комиссаровы глаза!
Тот полз, как плыл,
Скрывая плечи,
А я, хоть и совсем не трус,
Заслышав лязг ненашей речи,
Припрятался
За рыжий куст.

Смеясь,
Друг другу что-то каркая,
Враги уже так близко шли,
Что видел я
Планшетку с картою
Моей,
Моей,
Моей земли!
Они смеялись
В полный рот,
А справа гнул траву сухую
Винтом, кружившим вхолостую,
Их голенастый самолет...

* * *

Я вспомнил,
Что летал когда-то,
Что у меня была звезда.
Кто хоть однажды
Был крылатым,
Приписан к небу навсегда.
Земной,
Но в тяге к неземному
Приписан всей своей судьбой,
Кровинкой, клеточкой любой
Не просто к небу,
А к Седьмому...

Я знал, что взрыв,
Его рассеянье,
Накроет и меня огнем.
А «шторх» стоял.
Свое спасение
Теперь я видел
Только в нем.

Скорей!
Минута дорога!
В кабину б сесть
И присмотреться.
В конце концов, и у врага
На том же месте
Бьется сердце.
Фашисты могут убивать,
Но там же ставят элероны.
Науки мудрые законы
Они не могут попирать.

Не знаю,
По моей ли воле
Иль по своей,
Сыграв в козлы,
Машина поднялась над полем
С набором синей крутизны.
Она брала все круче, круче,
Она уже несла меня
Над взрывом,
Близким и гремучим,
Над жаркою взрывною тучей,
Над красной кипенью огня.

Она летела
С разворотом,
Казалось, на хромом крыле,
Как будто своего пилота
Высматривала на земле.
Высок был взрыв,
Огонь был плотен,
Была невидимой земля.
Я самолету дал руля
И крылья повернул
На полдень.
На полдень!
На высокий свет,
Когда земля
Верней глядится.
На полдень,
Лучший из примет,
На полдень,
Чтоб не заблудиться.

Потом я глянул за пожар,
За отсвет горестного праздника,
Где на шоссе, застыв у «газика»,
Еще стоял мой комиссар.
Счастливей
Злого божества,
За счастье
Заплативший дорого,
Я сатанел от торжества,
Я пел и плакал от восторга.

Я с песней юности летел,
Я плыл по синеве
С той песней,
Что Марьяне пел
В сибирской стороне.
Как ни летел,
Как ни глядел,
Но в небесах скупых
Я звезд не видел голубых,
Не видел золотых.
Как ни летел,
Как ни глядел,
Все время видел ту,
Опять попавшую в беду
Кровавую звезду.
Как ни летел,
Как ни глядел,
Я видел с высоты
Горевшие огнем беды
Лишь красные цветы.
В огне ветров
От тех цветов,
Что родила война,
Летят засеять времена
Стальные семена...

Машина высилась
И высилась,
И ветер терся о бока.
Уже Седьмое небо близилось,
Уже редели облака.
На крылья падал свет полуденный,
На их кресты, чужие нам.

И вот зенитные орудия
Ударили по тем крестам.
Чужими крыльями возвышенный:
— Свой!.. Свой!..—
Кричал я с высоты,
Но гневная земля не слышала
И снова целилась в кресты...

И стала мысль моя
Пронзительной:
Неужто мне не долететь
И под личиной омерзительной
Вот так безвестно умереть!
Среди нескошенного клевера
Мои останки догорят,
Традиционного пропеллера
На месте том не водрузят.
По русским вековым традициям
И старики и ребятье
Ославят это место фрицевым,
Не зная, что оно мое.

Ну нет! Отринув мысли страшные,
Загадки загадав рулям,
Какие-то сверхпилотажные
Выписывал я кренделя.
Земную силу и небесную
Я заклинал заклятьем слов:
— Ты пронеси меня над бездною!
Ну, пронеси! —
И пронесло.
И пронесло над всеми страхами,
И я сказал машине:
— Гут!..—
Когда зенитки отбабахали,
Обидно стало:
Плохо бьют.

Так думал я, удачей хвастая,
Но тут же,
Радость омрачив,
Как факел, красный «И-16»-й
Вдруг вымахнул и застрочил.
Уже не ждал исхода доброго,

Знал наперед, смиряя дрожь,
Что от такого
Крутолобого,
Как от зениток, не уйдешь.
Забыл я и слова хвалебные,
Опять мне стало не до них.

Заход...

И звезды семинебные
Посыпались из глаз моих...

Заход...

Ошеломленный, раненный,
В сознанье, что еще живой,
Косынку, помнится, Марьянину
Я выбросил
Над головой.
Должно, в секунду ту опасную
Меня лишь это и спасло...
Куда ее с каймою красною
Высоким ветром занесло?..

Мой разум потерял сознание,
Но даже в смутной пелене
Им отданные приказания
Еще работали во мне.
И вдруг...
Снижение...
Снижение...
Близка земля...
Кусты...
Трава...
Закон земного притяжения
Вступил в жестокие права.

И — ночь!..
И странное свеченье!
И бред,
И боль,
И страх в душе,
Что я упал на том ничейном,
На том горячем рубеже...

* * *

Зачем они?
Куда они?
Ко мне из ночи торопливо
Бегут бикфордовы огни,
Все к сердцу, к сердцу —
К центру взрыва.
Бегут огни,
Вот-вот удар...
Нет, это с огненным зарядом
Меня расстреливает взглядом
Неумолимый комиссар.

Был приговор суров и краток:
В распыл меня,
На синий дым
За то, что не пополз за ним,
Когда он уползал в распадок.
Печальный круг в моей судьбе
Замкнул он, холодно сказавши:
— Ответь мне,
Без вести пропавший,
Что доложить мне о тебе?
Как ты, погибшие в позоре,
Как ты, утратившие честь,
Теряют имя...
— Имя есть!..
Я Горин!..
Я Василий Горин!..

— Эх, Вася, Вася,
Друг ты мой,
Мечтал я встретиться иначе...—
И вижу, плачет надо мной,
Но разве комиссары плачут?!
Да нет, такого не проймешь,
Нет, нет, не мог он прослезиться.
Нет! В комиссаровых петлицах
Птиц не было...
— Не узнаешь?..

В глазах
Еще туманы плыли,
Дрожала серая пыльца.

Вдруг ветерок —
И проступили
Черты знакомого лица.
Синели щеки
В бритом глянце,
На лоб свисал
Цыганский чуб...
И вспомнил я аэроклуб
И Федю Зыкова, «испанца».
Так звался он, товарищ наш,
За то, что в памятное лето
Шумел, идя на пилотаж:
— Даешь Бургос!
— Даешь Толедо!

Уже тогда имел он виды
В своей цыганской голове
На крыльях
Подоспеть к Мадриду,
А подоспел
К родной Москве.
Былых фронтов
Сменился адрес,
А враг все тот,
Такой же злой.
— Что, Федя...
То есть дон Фернандес?
— Так... Радуюсь, что ты живой...

Слезился глаз
Слезой нетрезвой.
— Прости...
— За что?! —
И он, обняв:
— Ведь это я тебя подрезал...
Ты понимаешь, Вася... Я!..
— Как ты?! —
Я застонал невольно
И памятью упал во тьму...
Но как бы ни было мне больно,
Случится — я опять пойму!

Поймет ли нас
Потомок дальний,

И догадается ли он
О том, что к полосе нейтральной
Летели пули с двух сторон.
Он как бы и мудрей и старе,
Но где-то там, уже в раю,
В моем безумном комиссаре
Признает ли он кровь свою?

Мы все в пылу.
Мы прямо с пыла.
Не остудил бы скрип пера,
Что, дескать, и не надо было
Все то, что было
У пра-пра...

Пусть будет так.
Но, встретив друга,
Оспорю мудрость всех наук.
Жизнь мчится по закону круга:
Круг малый
Входит в больший круг.
Любая точка замыканья
В итоге жизни и борьбы
Как утверждение судьбы,
А вместе с тем
И отрицанье...

Прав и неверующих суд,
Но правдой очень поздней меры,
Которую солдаты веры
Своей борьбою принесут.
Все круг:
Круг радости и гнева,
Круг разрушенья,
Круг творца,
Круг от посева до посева,
Круг от рожденья
До конца...

ЭПИЛОГ ПРОЩАНИЙ

Становится память короче,
И все, что на сердце храню,
Покрыто золою...

А впрочем,
Зола бережлива к огню.
Чтоб добрые угли не тухли,
Чтоб новый костер полыхал,
Мой пращур горящие угли
До срока в золе сберегал.
Гордясь драгоценною ношей,
Он в темные нес их углы...
Меж нами
Есть разница все же:
Нам выпало больше золы.

* * *

За временем,
За расстояньем
Устал я памятью беречь
Тех лет одни лишь расставанья
Без ожиданий новых встреч.
Вдруг над уставшей головой,
Пройдя, распорет поднебесье
Наш самолет сверхзвуковой:
Все вспомнится,
Все, все воскреснет.

Мы строились среди снегов,
Где с первою слезою в дыме
Все начинается с костров
И рук, протянутых над ними.
Мы небо
На плечах несли,
Чтоб мир
Не одичал во мраке.
Но где те «ЛАГи»,
Где те «ЯКи»,
Которые его спасли?

Давно их нет.
На рубежи
Уходят стаи реактивных.
Их нет, но в заводских архивах
Еще хранятся чертежи.
А если нету таковых,
Я памятью пробел заполню.

Еще я чувствую и помню,
Как трудно делали мы их.

До входа
В сборочный пролет,
До взлета к синеве небесной
Наш краснозвездный самолет
Жил поначалу бестелесно.
И появлялся он тогда,
Покинув сварки цех угрюмый,
Подобно остову кита,
Когда все сало сплавят в трюмы.
Мы не любили волокит,
Напрасно не точили лясы,
Поэтому костлявый кит
Легко наращивал здесь мясо.
И чтоб скорее ожила
Тысячерукая работа,
Ему давали два крыла
И два подкрылка
Для полета...

Уже потом, включая ток,
В него монтер всходил по трапу,
Как редкий голубой цветок
Зажав в руке электролампу.
И узнавали мы потом,
Что приближается победа,
Не так по сводкам Совинформ,
Как по придиркам
Военпреда...

Враг наседал
Европой всей.
Под тяжестью его нажима
Срабатывал закон пружины:
Сожмешь ее —
Она сильней.
Ей нужно только до конца
Выстаивать и не ломаться,
Ей нужно только опираться
На неотступные сердца.

И устояла.
Не сломалась.

И я улавливал чутьем,
Как, сжавшись,
Долго разжималась
Она на сердце на моем.
Как, сжавшись,
Грудь мне отягчала,
Но и к тому я чуток был,
Как сердцу моему легчало
При каждом взлете
Новых крыл...
Лишь с ними всякий-всякий раз
Мы торопили, не печалясь,
Заветного прощанья час,
Лишь с ними мы легко прощались.

И горько, что не почтены,
Как памятники той эпохи,
Те «ЛАГи»,
«ЯКи»,
Пусть не боги,
Пусть только ангелы войны.
Почтите их,
Чтоб, с высоты
Нам годы битв напоминая,
В девятый день любого мая
Могли работать их винты...

* * *

Что дивно:
Много лет назад,
В тот самый первый
День победный,
В тот многозвучный,
В многоцветный,
Казалось, не было утрат.

Что странно:
От потерь устав,
Мы в том хотели обмануться,
Что и погибшие вернутся,
Лишь на немного
Запоздав.

В тот день,
Когда запела медь,
Казалось,
Вечный мир дается,
Казалось нам,
Что все вернется,
Все, все,
Лишь надо захотеть!..

* * *

Опять засветился огнями,
Запраздновал сад молодой,
Когда-то посаженный нами,
Политый ангарской водой.
Деревья, стоявшие рядом,
Успели в нем ветви сплести.
Война не мешала расти
Забытому
Нашему саду.

Он звал.
Но подумал я, званный,
Что в нем
Только впору юнцу
Могло быть начало романа,
А я торопился к концу.

Как трудно идти крутояром,
Трудней, чем на дымной стезе,
Когда с боевым комиссаром
К ничейной спешил полосе.
О, если бы верить и верить,
Что здесь
После стольких дорог
Стучу я в приветные двери,
Вхожу за приветный порог.

— Марьяна! —
Вскричал я, отчаясь.
По стенам,
По комнате всей,
Лишь лунные тени качались
Густых подоконных ветвей.

— Марьяна! —
В прибое кипящем
Вся комната шаткой была.
Стояла,
Молчала,
Ждала,
Как будто в саду настоящем.
Ах, вот где!
Роднее родни,
Стояла,
Глядела,
Молчала.
Холодной щекой отвечала
На ждавшие губы мои.

...Нет, не читала мне она
То знаменитое двустрочье:
Мол, я другому отдана,
Мол, буду век ему верна,
Верна до гроба...
Гроб сколочен.
Соперник пал.
Смерть уточнила
Тяжбу враждующих сторон.
Кровь протекла,
А не чернила,
С пера, писавшего закон.

...Лишь звезды!
Ветер на стене
Качал кленовые побеги.
И стало смутно, как во сне,
Нездешне стало,
Как на Веге.
Все было тихо,
Странно в ней:
Прическа, платье...
Были странны
Глаза ее
В игре теней,
Огромные, как у Звезданы.

Ведь это я.
Звездана, вспомни!

Я нежно взял в полукольцо
Своих натруженных ладоней
Ее небесное лицо.
Я взял его,
Чтоб насладиться
В награду за любовь и труд,
Как воду из ручья берут,
Когда хотят в пути напиться.
Седьмые вспомнив небеса,
Ресницы сизые смежала.
Мерцая, на щеке дрожала
Земная, горькая слеза.

Я только губы холодил,
Их ласка льда не растопила.
— Что ж раньше ты не приходил,
Когда тебя я так любила?
Мне смерть Бориса как печать,
Он сердце опечатал ею.
Все надо заново начать,
А заново я не сумею...

Борис,
Закончив путь земной,
Землей далекою пригретый,
Между Марьяною и мной
Оставил прежние запреты.
Но сердце
Не музей,
Не склад,
Не склеп
Безвыходный и темный.
Нет, нет, Борис не виноват,
А мы с Марьяною виновны.

Меня догадка обожгла,
Не раз испытывая разум:
Онегину своим отказом
Татьяна нехотя лгала.
Слова ее дышали стужей,
Виновны были в тех словах
Не домострой,
Не верность мужу,
А как бы материнский страх...

Когда разлуке нет конца,
Фантазия,
Впадая в буйство,
Как соучастница творца
Творит родительское чувство.
Смеетесь?
Поздно обнаружил
И поднял
Каверзный вопрос?
Ничто не поздно!
Узнают же
У древней мумии...
Склероз!

В иронии
Не зацвести,
Как я, влюбленный,
Цвел вначале.
Ирония — дитя печали.
Марьяна, милая, прости!
Теперь в конце
Вся жизнь видна.
Однажды сказано правдиво:
Любви несчастной нет,
Она,
Какой бы ни была,—
Счастлива.

Я радости
Не смог обресть.
Все, что сказал,
Страданьем добыто.
У счастья
Не бывает опыта,
Лишь у несчастья опыт есть.
Я и другой открыл секрет,
Познав все горечи и сласти:
Есть биографии несчастья,
У счастья
Биографий нет.

Скажи,
Кого нам упрекать,
Что сталось так,

Что так случилось?
История не научилась
Страницы светлые писать.
Опять земля подожжена:
Кипят моря и сохнут реки.
Опять земля напряжена
В своем крутом
Межзвездном беге.
Опять дымит
Земная ось.
Проходит жизнь,
Внушая жалость.

Марьяна, как тебе жилось?
Марьяна, как тебе дышалось?
Хоть на земле
Не меньше мук,
Хоть, мучаясь, кричим:
«Доколь же?!» —
Марьяна, милая,
Вокруг
Людей крылатых
Стало больше.
Они свое
Не проглядят,
Как мы с тобою проглядели.
Мы к радостям не долетели,
Они, Марьяна,
Долетят!

* * *

Я все сказал,
Что смог сказать,
Но все-таки сомненья мучат.
Недаром критики нас учат
За быстрой жизнью поспевать.
Все верно.
Жизнь летит вперед.
Поспеть нам было бы неплохо,
Да вот загвоздка:
Что ни год,
То в жизни
Новая эпоха.

Да, что ни месяц —
Мир иной,
А между тем, в хорошей вере,
Уже полвека шар земной
Линяет, как линяют звери.
Земля косматая кружит,
За нею клочья шерсти тленной.
И где-то в горле у вселенной
Уже полвека,
Как першит.

Что до небес!
Земля — мой кров,
И чувствую не там, а здесь я
Трагическое равновесье
Двух разных станов,
Двух миров.
Раскраивая пополам,
Ракетный ужас дислокаций
Проходит по живым телам,
Живым сердцам
И душам наций.

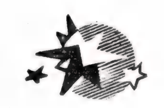
И человеку дел и слов
Во всем —
Душевном и телесном —
На чаше мировых весов
Уже нельзя быть легковесным.
Людей разумность
Мир спасла,
Но — люди! —
Разве ж не зловеще
Увидеть вновь на службе зла
Высокий разум человечий.

Мир старый нам готовит ад,
Но крикну и у двери ада:
Да будет атомный распад
Глашатаем его распада!
Да будут совести в укор
Его злодейства непростимы!
Себе на пепле Хиросимы
Он смертный вынес приговор.

Я все сказал,
Что смог сказать,
Но все ж тревога спать мешает.
Нам критики давно внушают
Законы жизни постигать.
Все правда.
Жизнь в добре и зле
Постигнуть было бы неплохо,
Да трудно:
Нынче на земле
Такая пестрая эпоха.

И хоть на ней
Не меньше мук,
Хоть, мучаясь, кричим:
«Доколь же!?» —
Читатель!
Все-таки вокруг
Людей крылатых
Стало больше!

1959—1967



Женитьба Дон-Жуана

Ироническая поэма в семи песнях

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

У бога мертвых нет...
Древняя мудрость

Пройдя через века
По многим странам,
Стихам,
Поэмам,
Драмам и романам,
Пройдя легенд мистический туман,
Познав мужей ревнивых гнев и ропот,
Душой устав и накопивши опыт,
В наш новый век женился Дон-Жуан.
А впрочем, к безрассудному почину
Имел Жуан двоякую причину.

Женился он,
Сказать приятно мне,
Не где-то, не в какой-то там стране,
А именно у нас, в Стране Советов,
Где появился после тех времен,
Когда стал замечать, что обойден
Вниманьем своих западных поэтов.
Не мнил и здесь к Суркову в стих попасть,
Но знал, что в новизне
Новей и страсть.

О, страсть любви!
От самых давних дней
Он дивным был художником страстей,
Но многоцветье высших ощущений
Сгубила буржуазности печать,
Когда нужды не стало обольщать,
Все женщины пошли без обольщений.
А если чувства словом не цветут,
От страсти
Обновления не ждут.

Лишь страсть ценна.
Прожив века, он знал,
Как изменялся жизни идеал,
Как старики к безусым шли на милость,
Как занимали троны торгаши,
Как падала во всем цена души,
Как все менялось, билось и дробилось,
Но страсть любви
Во все века и лета
Была как неразменная монета.

Явился он
В предел моей страны,
Конечно же, не в поисках жены,
Скорей всего хотел поволочиться.
Когда ж увидел стройку вертопрах,
Ее ошеломительный размах,
Решил остаться и переучиться,
Чтоб смыть с души
Без прежнего цинизма
Родимое пятно феодализма.

Итак, на стройке
Страсти пилигрим
Прижился даже именем своим:
Жуан ли, Жан ли, был бы работяга.
В то время, как теперь сдается нам,
К туманным иностранным именам
Была у нас особенная тяга,
Хоть римский Цицерон, к чему чиниться,
Звучит по-русски
Вроде Чечевицын.

И все-таки потом
Приставку «дон»,
Как ни звучна была, отбросил он,
Взял и отсек без всякого терзанья,
Как отсекают, взятую в щепоть,
Вполне живую, трепетную плоть
При тягостном обряде обрезанья.
Жуан без «дон» по собственной охоте
Стал проще,
Как еврей без крайней плоти [1].

Не диво ли,
От первого «люблю»
У нас закон оберегал семью,
А строгому закону в подкрепленье
Через цехком, завком и женсовет,
Партком и комсомольский комитет
Был и закон общественного мненья,
И тот, кто преступал за грань закона,
Не избегал порой
И фельетона.

«Вот хорошо,—
Подумал жен желанник,—
Что у семьи так много добрых нянек,
Особенно для грешных, кто, как я,
Решил навек оставить круг порочный,
С такой подмогой счастье будет прочно.
Долой разврат!
Да здравствует семья!»
Тогда еще не знал он иносказ:
«Семь добрых нянек,
А дитя — без глаз».

«Долой разврат!»
Сказать-то просто. Кстати,
Поговорим немного о разврате,
Перелистнем страницы словарей,
Откроем те, где есть определенье
Разврату, как порочному явленью,
С позиций моралистов наших дней.
Увы, воображенью не мешая,
Молчит Энциклопедия Большая.

---

[1] Религиозный обряд у мусульман и иудеев.

С послушностью
Наипримерных чад
Вослед Большой и Малые молчат.
Но тут себе позволю замечанье:
Встречаются и в жизни иногда
Такие рассуждения, когда
Бывает вразумительней молчанье.
Ну сами посудите: для морали
Не стало б легче,
Если бы орали.

А может,
Надо только ликовать,
Что дали мне возможность толковать
Добра и зла житейские приметы.
Меж ними очень узенький порог:
Чуть-чуть переступил — уже порок,
Чуть-чуть недоступил — порока нету.
А мера где, чтобы в разврат не впасть?
Одна лишь мера —
Истинная страсть.

Не бойтесь страсти,
Но в любви горячей
Любая страсть
Должна быть только зрячей.
Пусть синие померкнут небеса,
Пусть голубые рухнут небосводы,
Но писанные матерью-природой
Любви своей храните адреса.
В мужчине с женщиной
Есть святый дух,
Когда хранится ими тайна двух.

Открывший тайну —
У порока в нетях,
К почам любви не подпускайте третьих
Ни воспаленных, ни холодных глаз,
Чтоб трезвым не раскаиваться завтра,
Из ласк любви не делайте театра,
Не выставляйте счастье напоказ.
А для картин о чуде женских ножек
Нам нужен не развратник,
А художник.

Еще и ныне вызывает спор
Рембрандта мудрого «Ночной дозор».
На той картине в призрачном луче
Стоит среди дозорных, в их оплоте
Не то девчонка-нищенка в лохмотьях,
Не то принцесса в золотой парче.
В лохмотьях — тем,
В ком мало интереса,
Влюбленному любовь —
Всегда принцесса.

Иной готов
При чувстве небогатом
Любое чувство называть развратом.
Увидев наготу на полотне,
Такой спешит с поспешностью кретина
От самой благороднейшей картины
С тупым упреком к собственной жене.
Хоть крик борца со всяческими «мини» —
Не крик ли
Вопиющего в пустыне?

Художник — полубог,
Когда творит,
Влюбленный — бог,
Когда душой горит,
Но по возможности воспламеняться,
По высшему призванию творцов —
Детей, картин ли —
В качестве отцов
Они местами могут поменяться.
Прекрасна страсть, взлетевшая высоко,
А холодность души — душа порока.

Как часто бьют
В ревнительный набат,
Как часто говорят:
«Разврат!.. Разврат!..»
Разврат — когда из низких побуждений,
Когда же побужденья высоки...
Не юноши, а чаще старики
Скользят на тропках темных похождений.
Нет, истинную страсть, ее азарта

Не надо путать
С путами разврата.

Душа Жуана,
Как одна из ста,
Была добра, наивна и чиста,
Страдательно доверчива к тому же,
На красоту отзывчиво-легка,
Пред женщиной до ужаса робка,—
Что вовсе странно для такого мужа.
Еще странней, что в нем преобладало
Не мужество,
А женское начало.

И вот теперь
Из этого клубка
Потянем нить с понятием «робка»,
Посмотрим и заметим, к удивленью,
Что эта робость в нитке не одна,
Что эта робость мудро сплетена
С готовностью к ее преодоленью.
Так истинный актер, талант бесценный,
От робости дрожит
За шаг до сцены.

И все же
В ситуации любой
Жуан по страсти был самим собой.
Жалка лишь подражания печать,
Поскольку подражатели желают
Того, кому нахально подражают,
Перешуметь, на крик перекричать.
Нет, не Жуан смешон,
Смешней всего
Слепые подражатели его.

Мы с ним сошлись,
Встречаясь на работе,
На зауральском авиазаводе.
Не жалуюсь, что жизнь меня свела
И крепко подружила как-то сразу
С конструктором, тогда из цеха плазов,
Из группы элерона и крыла.
Здесь, как в любви

Негаснущего жженья,
Конструкторам нужно воображенье.

Высокий,
Строгий,
То горяч, то тих,
Глядел он на творенье рук своих,
На связь узлов очерченного плана.
Скажу, на сердце руку положа,
Жуан при толкованье чертежа
Был строже толкователей Корана.
Недаром святость плазового цеха
Была для заводских,
Как туркам — Мекка...

В то время
Из туманной красоты
В нем проступали четкие черты.
Так юности нетронутые лица,
Всегда чуть-чуть хмельные без вина,
Всегда в туманце, будто после сна,
Вдруг обретут гранитные границы.
А эта четкость, эта твердость камня
У женщин будит
Бо́льшие желанья.

Так и случилось.
Изо всех дорог
Они искали всяческий предлог
Прийти к Жуану, как на техэкзамен,
С холодным равнодушьем напускным
Поговорить о срочном деле с ним,
Остекленев влюбленными глазами,
Потом уйти,
Не выяснив значенья
Каких-нибудь деталей сочлененья.

Но так себя вели,
Боясь изнанки,
Скорей всего студентки-практикантки,
А женщины постарше тех девиц,
Без всяких институтов и теорий
Познавшие законы траекторий,
Стрелять умели из других бойниц.

Они-то ведали, что платья вырез
Глаз ловко заглянувшего
Не выест.

Как всякий
Положительный герой,
Он в строгости переборщал порой,
Легко судил себя, судил других.
Не будьте строги
К собственным изъянам,
Вину за них отдайте обезьянам,
Поскольку мы произошли от них.
История в стремленье к идеалу
Нам не дала
Другого матерьяла.

К своей жене,
Чтоб не казалась мелкой,
Не подходите с необъятной меркой,
Иначе с ней не сжиться и не спеться.
От женщины, коль не мудрит сама,
Не надо ждать сверхмудрого ума,
У женщины должно быть умным сердце.
Она решает в случае любом
Сначала сердцем,
А поздней — умом.

Жуана моего,
Чтоб не мрачить,
На этот счет не мне было учить,
Но в нашем мире — мире небывалом,
Где истины не ходят нагишом,—
Мы устоим на принципе большом
И вдруг заспотыкаемся на малом.
Так у него случилось в ходе дела
С Аделаидою из техотдела.

Она была,
Признать открыто надо,
Не мирового женского стандарта,
А если говорить начистоту,
Ее до встречи с ним я видел трижды,
Да, да, и ничего, а вот поди ж ты,
Мой друг в ней заприметил красоту.

Увидел он всей зоркостью своей
Прелестное ушко́
Среди кудрей.

В нем были хороши до удивленья
Все линии, их матовые тени,
Сферически-лирический овал,
В другой овал миниатюрно вхожий.
А кожа!.. Боже мой, так грубо кожей
Я чудо несказанное назвал.
Теперь представьте
Тот эффект великий
От сказочных светильников
При лике.

Для женщин,
Чтоб занять достойный ряд,
Два ушка вот таких же — сущий клад.
Но среди нас бывают добряки,
Все хвалят в женщине — и то и это,
Того не зная, что и две строки
Из пухлой книги делают поэта.
Недаром за ушком
В тенистой прядке
Мой страстный друг
Помчался без оглядки.

Как встретились
И чем была награда,
В подробностях рассказывать не надо.
Он счастлив был, но говорил:
— Пойми,
Во мне все та же вековая рана.
Я счастлив
Прежним счастьем Дон-Жуана,
А не спокойной радостью семьи.
Хочу иметь жену, иметь при ней
Разноголосый выводок детей.

Почти супруг,
Почти уже родитель,
Он гордо оглядел свою обитель,
Для этой цели годную вполне,
Как пьяный в упоительном угаре,

Вдруг потянулся к вековой гитаре,
Тихонею висевшей на стене,
С которой в прошлом,
Будучи влюбленным,
Пел серенады
Всяким разным доннам.

Обманутый в жизни
Судьбою зловещей,
Не внял, не прозрел я
Пути своего.
Потратил я жизнь
На разгулы и женщин,
Ни те, ни другие
Не стоят того.

Бессмертную славу
Меняю охотно
И сердце вручаю
Лишь смертной судьбе.
На что мне бессмертье,
Бессмертье бесплодно,
Пока не увижу
Творца я в себе.

Одну назову лишь
Своею судьбиной,
Одна лишь на свете
Мне станет родной.
Любви упоенье
Найду я в любимой,
Все прелести мира
Открою в одной...

Так пел он,
Фантазируя при этом,
Как, став отцом,
Позднее станет дедом.
Но счастье создавалось невзначай
И так же невзначай оно распалось.
Кого на радость завлекает малость,
Тот и от малости впадет в печаль.
Как ни смешно,
А роль судьбы зловещей
Аделаидины сыграли вещи.

О, вещи, вещи!..
С темных древних дней
Они друзья и спутники людей,
Как лошади, собаки и коровы.
У них есть память,
Есть особый взгляд,
Что человек забыл, они хранят,
Не говоря до времени ни слова.
Зато каким,
Однажды неминучий,
Бывает злым их говорок скрипучий.

Все вещи
По служивости своей
Сживаются с характером людей,
Порой перенимают их недуги,—
Быть может, в том и состоит уют,—
Кряхтят, скрипят и даже предают,
Как давние и близкие подруги.
Иные женщины об этом знают
И потому так часто
Их меняют.

Не знала Ада,
Только молодилась,
Хотя Жуану в нянюшки годилась.
Для разных специй был и разный срок:
Зимой — охлада сыворотки млечной,
А жарким летом — нежно молодечный,
Зеленоватый огуречный сок.
Зато она казалась молодой,
Пока не привела его домой.

Воскликну
Без намерений придиры:
О, наши коммунальные квартиры!
Ты входишь в них не просто, а нырком,
Чутьем пройдя то занятое место
Доставшимся от бабушки в наследство
Каким-нибудь громоздким сундуком.
Потом тебя от прочих потаенно
Ведут куда-то в темень,
Как шпиона.

Переступивши
За второй порожек,
Жуан увидел пару стройных ножек.
Нет, нет, я не хочу интриговать
И прикрывать их кружевной оборкой.
Читатель милый, то была кровать
С подушками, уложенными горкой.
А за кроватью, сторожившей вход,
Стоял буфет, стул,
Столик и комод.

О, вещи, вещи,
Даже без обновки,
Как людям, вам нужны перестановки.
Иной себя сто раз переметнет —
И там нехорошо,
И здесь не климат,
Но вот однажды в угол передвинут,
Глядишь, и свое место обретет.
У Ады и в простенках и в углах
Все вещи были
На своих местах.

Одно забыл,
Стоял еще трельяж,
Имевший тоже ветерана стаж.
Трельяжиком его назвал бы я,
Перед которым Ада то и дело
Легко порхала — о, она умела
При госте прихорашивать себя,
И как бы этим меж собой и им
Создать не что иное,
Как интим.

Но что интим!
Все атомы интима
На этот случай пролетали мимо.
Душа его, как прежде — налегке,
На зов ее любви не отзывалась.
«Где красота?
Куда она девалась?» —
И цепенел в позорном столбняке,
Меж тем на кухне женщины-чистюли

Со злым усердьем
Чистили кастрюли.

Коль ты в гостях,
Умей себя улыбить,
Предложенный напиток надо выпить.
Чудак Жуан впервые пить не стал,
А не имей он прошлого отрыжек,
Не помни про себя известных книжек,
То выпил бы, а выпив, и воздал,
Но Байроны и прочие Мольеры
Избаловали парня
Больше меры.

Померкла Ада.
В прежнем нежном стиле
Светильники Жуану не светили,
Они погасли, стала вялой речь...
Как это горько!
Чуткое на жалость,
Мое бы сердце от сочувствий сжалось,
Душа зажглась бы, чтоб любовь зажечь,
Хоть в случае таком же наши Ады
Бывают с нами
Так же беспощадны.

Кто виноват?
Скажу не воровато,
Скажу открыто — вещи виноваты.
Послушны вещи лишь по мелочам,
Но в главном, даже взять и стул-калеку,
Не вещи потакали человеку,
А человек приладился к вещам.
Они-то Аду, равную годами,
И делали при них
Такой, как сами.

Есть заведенья,
Где на первый взгляд
Поношенные вещи молодят,
Проделывая сложные работы:
Как женщин красят, клеят ловко так,
Что, нанеся на них волшебный лак,
Им возвращают прежние красоты,

Но дни пройдут, и где-нибудь, однако,
Реальный возраст
Глянет из-под лака.

У красоты нет возраста, когда
Ничем не нарушима красота,
Когда ее изнанка мудро скрыта.
Земля в цвету юна, но шрам косой
Геологу откроет мезозой
И меловые тайны мезолита.
А наша Ада, как заметил гость,
И без ущерба виделась насквозь.

Жуан подумал,
Не желая лгать:
«Пока не поздно, надо отступать.
Еще одна победа — шаг к полону,
Но если отступленье суждено,
Пусть будет подготовлено оно,
Иначе быть великому урону...»
И тут мой друг задумался, решая,
Как отступить,
Ее не унижая?

На этот счет
У многих разнобой,
Но вывод общий: поступись собой!
Жуан глаза, приопуская веки,
Трагически закрыл на этот раз.
— Вы хороши... Я недостоин вас!..—
И прочее... Ну, словом, как Онегин...
Все мы цитатчики,
Все мы богаты
Не на свои слова,
А на цитаты...

Они расстались,
Что тут говорить,
Расстались так, что некого корить
И некого оплакать горьким плачем.
Мой друг, неуязвимый до сих пор,
Покинув затемненный коридор,
Унес отраву первой неудачи.
И сам я в юности немалый порох
Растратил в этих жалких коридорах.

Вперед, вперед!
Но строй моих октав
Нетороплив, как смешанный состав
Вагонов пассажирских и товарных.
Сам виноват, неторопливость их,
Должно быть, от созвучий кольцевых,
От полных рифм,
Нерасторжимо парных.
Зато октавы и прочны и строги,
Такие не рассыплются в дороге.

Я сам
И пассажир
И машинист,
Сам для себя даю гудки и свист,
Сам провожу ремонтные работы,
Сам разгружаю грузы и гружу,
Сам стрелочник, состав перевожу,
Когда приходит время поворота.
На повороте жизненных путей
Судьба героя
Нам всегда видней.

Кто раз обжегся,
Тот позднее всуе
И на холодное все время дует.
Так и Жуан, с женитьбою — молчок.
Замкнулся, на работе окопался,
Я было начал... Бедный забрыкался,
Как молодой некладеный бычок,
Когда тому, пощекотав слегка,
Ярмо надели
В качестве венка.

Зато Жуана —
Новость громче грома! —
Избрали председателем цехкома,
А старого решили проучить,
Пустить хотя бы временно в негодность
За то, что сам, имея очередность,
Не смел себе квартиры получить:
Мол, если для себя не стал ты прытче,
То для других
И вовсе не добытчик!

Сей случай,
Как внушительный урок,
Лишь глупым и стыдливым был не впрок.
«Нет, воле избирателей своих,—
Иной подумал,— нечего перечить.
Себя сначала надо обеспечить,
А уж потом подумать о других.
С такой программой,
Посудив заглазно,
Глядь, снова изберут единогласно».

Читатель мой,
Ты спросишь поневоле:
«А как Жуан в руководящей роли?»
Ну что ж, скажу. Предшественник его,
Перемотав ему и многим нервы,
Стал в списке на квартиры снова первым.
«А что еще?»
Пока что ничего.
Как раз в те дни,
Когда он в роль входил,
Я отпуск взял и к морю укатил.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

> У нашей свахи так:
> хожено, так слажено,
> а расхлебывайте **сами!**
>
> *Русская пословица*

О море, море!..
В юности когда-то
Я изумился, что оно горбато,
Но позабыл об этом в малый срок,
Познав его божественную дивность.
Нырнуть в него —
Вернуться в первобытность,
Вновь народиться — выйти на песок.
Недаром же, пожившие на свете,
У моря мы беспечнее, чем дети.

О море, море,
Как я наслаждался!
Ходил в ущелье, загорал, купался,

Пил горькую, медок и даже квас,
И чтоб со мною не случилось худо,
Что именно, я говорить не буду,
Меня втащили Музы на Парнас,
А на Парнасе, все же это знают,
Уже не пьют,
А только сочиняют.

Там сочинял и я,
Пока жених
Не перепутал замыслов моих.
Тогда к столу с лукавым выраженьем
Подсела Муза, подперев щеку.
— Что, не выходит?.. Дай-ка помогу!..
Не женится?! Ну если надо, женим!..—
Так, отогнав сомнения и страхи,
Ко мне явилась Муза
В роли свахи.

Был замысел ее
Житейски прост:
— Во-первых, твой Жуан имеет пост,
Пост в наше время свадьбе не помеха,
А во-вторых — награда по труду! —
Жуан теперь все время на виду,
Что очень важно для его успеха.
Судьба не раз женила и венчала
Вот на таких
Общественных началах.

Есть у меня
Наташа Кузьмина,
Вся для посева, были б семена,
Не девушка — восторг любви заветной.
Возьми сведи их, а потом жени.
Поверженное зло соедини
С душою и любовью первоцветной.
Тут, грешного, меня сомненья взяли,
И я спросил:
— А самому нельзя ли?

— Как это «самому»?! —
Вспылив мгновенно,
Меня отчитывала Муза гневно: —

Ты — не творец! Терзайся и страдай,
Влачись в пыли, валяйся под горою,
Но лучшее в себе отдай герою,
Из сердца вырви, а ему отдай.
В том и беда творцов пера и кисти,
Что пишут
Из тщеславья и корысти.

Стихи поэта —
Горшая из нив,
Речь Музы — нету строже директив.
Хотя корила, так сказать, приватно,
Но дал ответ на то не сразу я:
— Ну вот, с тобой и пошутить нельзя,
А с Кузьминой получится неладно.
Ты знаешь, что Наташа Кузьмина
Два года
Как с другим обручена?

Не удивилась Муза,
Мне внимая,
Лишь горько улыбнулась:
— Знаю, знаю!..
Они клялись, когда тот призван был,
Но в том и грех, что паренек служивый
В присяге чувству оказался лживый,
Письмо ей написал, что разлюбил,
Что женится в стране Дальневосточной,
Что остается в службе
На сверхсрочной.

— И что Наташа?
— А Наташа плачет,
Не понимая, что все это значит.—
Мне жалость горькая сдавила грудь:
— Нам не оставить ли ее в покое
До выясненья, что же с ней такое?
— Нет, нет! Со свадьбою нельзя тянуть!
Жуан красив, начнет любить и нежить,
Она утешится.
Пора утешить!

Сказала так,
Как будто отрубила,

Вздохнула — и уже миролюбиво:
— Ты — сочинитель, призванный творить,
Вот и твори, на горькой правде зрея.
Как бесполезно жизни быть добрее,
Так безрассудно и жесточе быть.
Об остальном когда-нибудь доспорим,
Теперь пойди
И попрощайся с морем.

О море, море,
В этот час прощанья
Как мне любезно волн твоих качанье
И шум, когда волна о берег бьет.
На море море в шумах не походит,
Балтийское колотит, как молотит,
А Черное, хоть гневно, но поет.
Мне, человеку северного круга,
Роднее почему-то
Море юга.

Оно во мне
Еще так долго пело
Уже в моем краю, в метелях белых,
Оно играло снежной белизной,
Когда спешил я к двери ресторана
На свадьбу ожененного Жуана,
Сведенного с Наташей Кузьминой
Не где-то, не в каком-то частном доме,
А на одном собрании
В завкоме.

Русоволоса,
Издали видна,
Она была высока и стройна,
Во всех приманках вызревшая к сроку,
Был у нее чего-то ждущий взгляд,
Каким невесты, как во сне, глядят
На все еще пустынную дорогу.
Тут мой Жуан, подвинутый судьбой,
И очутился
На дороге той.

Все ладно бы,
Но чем утишить стыд

И боль Аделаидиных обид?
Мне показалось, верьте иль не верьте,
В просвете ресторанного окна
Туманно обозначилась она
И растворилась в снежной круговерти.
Должно, где свадьбы,
Там в бессонном бденье
Загубленной любви
Блуждают тени.

Как ни спешил,
Но опоздал настолько,
Что за столом уже кричали «горько!».
И вот Жуан, обняв плечо жены,
Склонился над лицом наивно-юным,
Затмил его, как при затменье лунном,
Когда Земля закроет лик Луны.
Но из-за тени, тенью не затроган,
Сиял и вился
Золотистый локон.

Из века в век,
Изо дня в день еси
Звучало «горько» на святой Руси.
Казалось бы, в обряде есть накладка,
Но хитр и мудр был древний драматург:
Кричали «горько», выходило ж вдруг
Не горько вовсе, а хмельно и сладко.
И то-то рады все,
Что губ слиянье
Не горечь принесло,
А лиц сиянье.

Всего пустяк,
Десятки лет назад
Неделю длился свадебный обряд,
Женились тоже не на две недели,
Те свадьбы было принято «играть»:
Ну, например, невесту выкупать,
Притворно плакать,
А как славно пели!
От свадеб тех —
Друзья, какая жалость! —
Нам только слово «горько» и осталось.

Теперь не то,
Но есть уже прогресс,
Есть бракосочетания дворец,
Есть кольца, есть фата —
И все на сцене! —
Есть очередь на счастье, но, друзья,
Без очереди к счастью нам нельзя,
Иначе мы и счастья не оценим.
И есть еще для полноты обряда
Напутственное слово депутата.

Все это есть,
Но не о том рассказ.
Кричали «горько» уже третий раз.
И снова, улыбаясь благодарно
Неистово хмелеющим гостям,
Жуан, устами падая к устам,
Затмил свою подругу планетарно.
Но это, не в пример минувшим теням,
Уже казалось
Солнечным затменьем.

Здесь пировали,
Как заметил я,
Не дру́жки, а подружки и друзья,
Подружек было как березок в роще.
Средь них, смешливых,
С тягой поболтать,
Невестина главенствовала мать,
В дальнейшем именуемая тещей,
Хоть и была она крупней и строже,
Но все же мать и дочка
Были схожи.

Даю совет
В предсвадебные дни:
Нашел невесту, тещу погляди —
И счастлив будь, когда души не ранит.
Иной зятек ее скорей бы с глаз,
Нам теща — преждевременный рассказ
О том, какой жена однажды станет.
В смотринах мамы весь сюжет невестин:
Начало смутно,
А конец известен.

Должно, посватал
В доброе число,
Жуану и на тещу повезло.
Она была, и не средь юных токмо,
Простите, что делюсь ее словцом,
Осанкою, внушительным лицом —
Раскольница, не скованная догмой.
Бысть такова, смотревшая сугревно,
Жуана теща,
Марфа Тимофевна.

Еще скажу,
Пока помехи нету,
Два слова в дополнение к портрету.
Друзья мои, представьте тот портрет
В обветренной базальтовой скульптуре
И повторите в мраморной фактуре,
Отбросив ровно половину лет,
Тогда второе из творений ваших
Точь-в-точь и будет
Дочкою Наташей.

На шумной свадьбе —
Вот-вот-вот жена! —
Была Наташа вся напряжена.
Глаза ее то стыли в стыни стуж,
То таяли от тайного желанья,
То снова гасли в муках ожиданья
Минут, когда ей мужем станет муж.
Что ж, девушка всерьез
Тогда родится,
Когда супругу
Замужем сгодится.

А что Жуан?
Из родичей его
На свадьбе я не встретил никого.
Да, да, они отсутствовали все:
Де Молино, затеявший игрушки,
Мольер, лорд Байрон, женоверец Пушкин,
А также худосочненький Мюссе.
Их не было при нем
В отцовском чине
По очень уважительной причине.

Зато друзей —
Совсем наоборот,—
Их было, так сказать, невпроворот,
Но многие молчали как-то странно,
Так, будто личный понесли урон,
Как на поминках, после похорон
Великого, бессмертного Жуана.
Я тоже был в друзьях его, а впрочем,
Хотя и друг,
Но вроде бы и отчим.

Тяжелый крест!
Скажу, из жизни зная,
У отчима обязанность двойная.
Чем пасынка родитель был знатней,
Тем неизбежней между ними стычки.
Отцам не мед,
А пасынка привычки
Для отчима и в сотню раз трудней.
Он должен знать, что в пасынке участье
Не горе принесет тому,
А счастье.

Но это к слову.
Как же в самом деле
Не рассказать, что пили и что ели.
Вот раньше то-то были мастаки
По описанью разносолов разных:
Грибков, и огурцов, и рыбин красных,
А нынче хватит и одной строки.
Нашлась бы рифма,
Если бы, как яство,
Максун и нельма
Выставились нá стол.

Однако были
Из большой реки
Поджаренные в масле окуньки,
Ершишки были в огненном томате,
И заливная щука там была.
А вот стерлядка мимо проплыла,
Хоть нет ее, но вы не унывайте.
В утратах века
Стерляди скелетик

Найдут потомки
Через пять столетий.

Друзья мои,
Товарищи родные,
К чему теперь претензии смешные!
С тех пор как люди сделались людьми,
Они все ели с радостью до пляса.
А может быть, ихтиозавра мясо
Вкусней всего, что было,
Но ведь мы
Не просим нынче,
Не попросим завтра
Жаркое из филе ихтиозавра.

Друзья мои,
На нашей кухне русской
Еще нашлась нам добрая закуска.
Не воду пили, чтоб галушки есть,
Нет, было блюдо к чести ресторана,
Которое и тонкостям гурмана
Во время свадьбы оказало честь:
Дымились в чашах,
Полные томлений,
Домашние сибирские пельмени.

Они вкуснейши
Сами по себе,
Наивкуснейшей по одной судьбе.
Я их не ел — блаженствовал, вкушая,
Я праздновал на празднике еды,
Хвалил их между тем на все лады,
Соседям по столу напоминая,
Что на мешке
Мороженых пельменей
Родился знаменитый Менделеев.

Пельмени.
Оо!..
Но те превыше слов,
Когда берется мясо трех сортов:
От нетели, от свинки и овечки.
Его бы все ж не мясорубкой мять,
Так мясо может соки потерять,

А изрубить с лучком
В корытце сечкой,
Поперчить, посолить, потом слегка
Для сочности добавить молока.

В моей Сибири
С добрым знаком плюс
Мы ценим их за вид, потом за вкус.
Есть крайнее из самых высших мнений,
Да буду я за дерзость не судим:
Один едим, а на втором сидим —
Вот это настоящие пельмени!
Сейчас, когда пишу я эти строки,
Во мне кипят
Желудочные соки.

На свадьбах,
Когда сыт и весел гость,
Он затевает песню. Так велось.
Как теща бы сказала,— «а теперьча»
На свадьбе, юбилее ли каком,
Как будто на активе заводском,
Звучат все больше пламенные речи.
Их начинают, связывая ярко
С глубинным смыслом
Своего подарка.

На этот раз
Торговый недодел
Речам глубинным положил предел.
Поскольку в уголочке в виде стопок
Стояло и лежало на виду,
Довольно дефицитных в том году,
Пять схожих чаш и десять сковородок,
Да прислонилась к меди самовара
Добытая в столице
Мной гитара.

На смену той,
Игравшей на износ,
Жуану я подарок преподнес.
Тот взял гитару, вняв желаньям нашим,
Чтобы она свой голос подала,
Чуть отступил от тесного стола

С поклоном легким в сторону Наташи,
Тряхнул рукой, куда-то глядя вчуже,
Как будто бросил наземь
Горсть жемчужин:

Радость,
Нежность
И тоска,
Чувств нахлынувших сумятица.
Ты — как солнце между скал,
Не пройти и не попятиться.

На тебе
Такой наряд —
Сердце вон за погляденье.
Ты светла, как водопад,
С дрожью,
С ужасом падения.

Ты загадочна,
Как Русь,
Ты и боль и врачевание.
Я не скоро разберусь,
В чем твое очарование.

Похлопали певцу,
А там уж в зале
Затанцевали, буйно заплясали,
Но строгий строй моих иных октав
Для описанья плясок не годится.
Тут я решил со свадьбы удалиться,
Молодоженам должное воздав.
Виктрола повторяла неустанно
Разнеженный мотив:
«О, Марианна!..»

«О, Марианна!» —
Слышал сквозь снега,
«О, Марианна!» — как издалека.
Неведома,
Незрима,
Но желанна,
Смущая ум и сердце горяча,
Бог весть какая и черт знает чья,

Терзала мне мой мозг «о, Марианна!».
Пустой мотив любовного страданья
Стал для меня
Мотивом мирозданья.

Таинствен мир
В своей надземной выси,
Его звезда, летящая в капризе.
Сто раз благодарю отца и мать
За то, что молодыми повстречались,
За то, что встретились и не расстались,
За то, что мир мне дали повидать,
Где есть следы моей судьбы рабочей,
Где есть любовь
И тайна брачной ночи.

Вся жизнь нам тайна,
Но тебе, поэт,
Доступно все, что требует сюжет.
Не глядя в щель,
Не прячась за гардину,
Услышав только фразу или две,
Как древних див по косточке — Кювье,
Ты воссоздашь правдивую картину.
Да не смутит тебя других услада,—
Где такт и мера есть,
Стыда не надо.

В делах квартирных
До сих пор упорны
Поборники системы коридорной.
Им нравится в ней буча и шумиха.
Замысловатый коллективный лад.
Жуан привел жену,
Жуан был рад,
Что поздно было и довольно тихо.
Но как назло, от нетерпенья стало,
В замочной щелке
Что-то заедало.

На площади
Житейского квадрата
Из благ семейных было небогато:
Кровать, да стол, да этажерка книг,

Чертежная доска с бумагой белой.
Но тут Наташа тотчас усмотрела
Невиданного цвета алый крик.
То нагло цвел,
Презрев наш грозный градус,
На подоконнике заморский кактус.

Она — к нему,
Желая за цветеньем
Укрыть свое стыдливое волненье,
Но и над цветом думала о том,
Что неизбежное, оно, конечно,
Уже должно случиться неизбежно,
А лучше бы потом, потом, потом...
И мучилась, придерживая сердце:
«Разденет сам
Или самой раздеться?»

Рука Жуана,
Добрая рука,
Была на раздевание легка,
Она в подходе тайнами владела.
Вот, скажем, буря стань озоровать,
Ей все равно одежду не сорвать,
А солнышко согрело и раздело.
Явились вдруг, поставленные косо,
Сибирской пальмы
Белые кокосы.

— Наташа! —
Восхищенье и восторг
Так, только так и выразить он смог,
Когда же заиграли светотени,
Сбегая за сорочкой, и когда
Открылись бедра, словом — красота,
Хотел упасть пред нею на колени,
Но лишь — Наташа! — снова произнес,
Взял на руки Наташу
И понес...

Забавно, право!
Это же ведь казус,
Что цвел так нежно
Мексиканский кактус.

На вид он неприглядея и жесток,
На нем колючки, каждая — как лучик,
И вот среди таких лучеколючек
Родился удивительный цветок,
Подобный колокольчику, в котором
Почти что слышен звон
О счастье скором.

Как откровенье,
Как любви призыв,
Был цвет его особенно красив,
Красивей роз, красивее пионов.
Все кактусы, цветущие вот так,
Как слышал я, выхаживать мастак
Не кто-нибудь, а Леонид Леонов,
А он, мы знаем, добрым делом занят
И пустяков выхаживать
Не станет.

Признаюсь запоздало,
Что уж тут,
Я сам не знал, что кактусы цветут,
Зато читал, и это даже лестно
Для кактуса, не бывшего в чести,
Что надо бы его нам завезти
В пустынное, засушливое место.
И не было б, писали, выше дара,
Чем этот сочный кактус
Для отары.

Я верил в мудрость
Этого проекта,
Пока огнистого не встретил цвета
И не представил радость поселян,
Глазеющих, как на пустынном поле,
Наукой возрожденном к лучшей доле,
Сей милый цвет жует себе баран,
Питается безводно и бестравно
Таким цветком.
Не правда ли, забавно?

А все — мой такт,
Заставил все же такт
Писать меня о кактусе трактат,

Пока Жуан в своем стремленье лучшем
Наташу в ее прелести земной
Не сделал настоящею женой,
А сам не стал ей полномерным мужем.
Она уже, смахнув с лица слезинку,
К себе тянула
Белую простынку.

Все жены любят,
Хоть не говорят,
Когда их за любовь благодарят.
Жуан отрадно в бережном наклоне
И целовал и взгляд жены ловил,
Ласкал ей груди, словно бы кормил
Два жадных клюва с ласковой ладони,
Дивился в тайне, что дитя Сибири
Вело себя,
Как женщины Севильи.

Мужчины все,
Чем более грешны,
Тем больше и в желаниях смешны.
Чтобы жена была и не тиха,
Но отвечала нормам идеала,
Чтоб знала все и ничего не знала,
Чтоб, согрешив, не ведала греха.
Уж не на этой ли душевной криви
Родился миф
Безгрешности Марии?

В делах любви,
В игре огней и стуж
Взывают часто к родственности душ.
Неправда это, здесь нужна полярность,
Здесь нужен тот особенный магнит,
Который тем вернее породнит,
Чем больше нежность и сильнее ярость,
Но гаснет страсть,
Когда за общим плугом
Жена и муж становятся
Друг другом.

Все это так,
Но не о том же речь,
Чтобы душой влюбленной пренебречь.

Кто любит только телом, счастье губит,
Меж ними не должно быть дележа.
Как долго любит верная душа,
Как яростно, но кратко тело любит.
И все же, если тело устает,
Душа — не жди,
На помощь не придет.

Прекрасна ночь,
А женщина прелестна,
Когда и ранним утром с ней не тесно.
Бывает же, на мир и на уют
Не все в такую ночь сдают экзамен:
Ложатся спать хорошими друзьями,
Врагами молчаливыми встают.
У наших же супругов без печали
Все было так,
Как сказано вначале.

Уже пришла пора
Другим вставать,
А новобрачным было впору спать.
Но вот к полудню, жалуясь на сердце,
Явилась теща чуть ли не бегом
С еще горячим рыбным пирогом,
Завернутым от стужи в полотенце,
Оценочно прищурилась с порога
И подвела итог:
«Ну слава богу!»

Очаг семейный —
Добрый костерок,
В потемках жизни разведенный впрок,
Заблудшему дающий направленье.
И я себя погрел у костерка,
И мне того досталось пирога
Да беленькой к нему — для вдохновенья,
Чтоб их поздравил, также и себя.
Итак, свершилось.
Родилась семья!

Из всех проблем,
Из всех больших идей
Семьи идея мне всего милей.

Все дело в том, что изо всех историй,
Прошитых кровью по живой канве,
Из многих философских категорий
Главнейшими считаю только две.
На первом месте в роли верховода
Есть отношенья:
Люди и природа,

А на втором
Из категорий вечных,
Из отношений чисто человечьих,
Дающих вездесущей жизни ход,
Рождающих и радость, и кручины,
Есть отношенья женщины с мужчиной,
А можно говорить наоборот.
Все остальное, если вам угодно,
От этих отношений производно.

И даже то,
Что люди страстно бьются
Оружьем мятежей и революций,
Прозрев любви зарю в кромешной тьме.
Ах, сколько в распрях от огня и стали
С мечтою о грядущем погибали,
Душою апеллируя к семье!
Сам Энгельс относил,
Свергая царства,
Вопрос семьи
К вопросам государства.

Но вот беда,
Читатели упрямы,
Им подавай трагедии и драмы.
А где их взять?
Не просто же возвесть
До ранга драм скандальчики соседей.
В том и трагедия, что нет трагедий,
Хоть жертв любви вокруг не перечесть.
Влюбленные все больше с каждым годом
От всяких драм
Спасаются разводом.

Зато Жуан,
Пусть будут хоть напасти,
Сжег все мосты на переправах страсти.

Теперь он только одного хотел
Хотением души, хотеньем тела,
Чтобы одна Наташа им владела,
Чтоб только он Наташею владел.
Но вознесенная до неба верность
В нем слишком скоро
Возбудила ревность.

О, ревность,
Неподвластная уму,
Она легко ревнует ко всему.
Вот пошутил сосед довольно плоско,
На шуточку ответить бы тремя,
Но ревности холодная змея
Уже ползет извилинами мозга
И, ясному сознанью вопреки,
Прочерчивает адовы круги.

Он ждет ее
С лицом белее стенки,
Чтоб заглянуть в обманчивые зенки,
Чтоб взглядом взгляд сурово повстречать,
Чтоб на лице, невиннейшем когда-то,
Холодного, постыдного разврата
Увидеть потаенную печать.
Но вот пришла и ахнула канашка:
— Ах, Жуня!..
Ты не ужинал, бедняжка!..

О, женщина!
Соблазнами красот
Она и бога с неба низведет
И смертным его сделает, шалунья.
Ах, до чего жесток любви полон!
Был Дон-Жуаном,
Был Жуаном он,
Теперь же для Наташи просто Жуня!
Счастливый дар людей — воображенье
Во всем, ревнуя,
Видит униженье.

Меж тем Наташа,
Хлопоча о муже,
Проворить стала небогатый ужин.
Жуан остановил ее:

— Постой!..—
Наташа обернулась удивленно,
Наташа улыбнулась так влюбленно,
С такою откровенной чистотой,
Что мой Жуан, стыдясь за окрик грубый,
Стал целовать Наташу
Страстно в губы.

В Америке
Для сердца и души
Давно изобретен детектор лжи,
Довольно хитроумная машинка,
Через которую с вопросом — вдруг:
— Ну-с, изменяла? —
Ревностный супруг
Ложь узнает жены и даже лжинку.
У нас же без детекторов со спросом
Еще в ходу
Проверки древний способ.

Итак, Жуан
Любимую жену
На женскую невинность и вину
Так проверял, как проверял бы предок.
Ну, словом, чтобы все наверняка,
Ласкал все упоительней, пока
Мильоны и мильярды нервных клеток,
Восторга обладанья не тая,
Не крикнули:
Моя!
Моя!!
Моя!!!

Он пил и пил,
Казалось бы до дна,
А огненная чаша все полна,
Хотя Наташа и глядела в оба:
— Ты, милый мой Жуанчик, нервным стал,
Вчера всю ночь курил, почти не спал,
Взять отпуск бы тебе да на курорт бы.
— Сейчас не время...
— Все тебе помеха,
Вон Федоров
Опять на юг уехал!

Вот так,
Супруга дружески браня,
Она заговорила про меня.
— Тот к морю, а попросишь ты — оттяжка,
Ну как же так выходит, не пойму?..
— Он сочиняет что-то, вот ему
Поэтому и делают поблажки.—
Наташа смолкла и — почти вполголос:
— Ты с ним о нас
Не очень-то болтай...

Не знаю сам,
Из множества чудачеств,
Каких она моих боялась качеств?
Одно скажу, я человек с ленцой,
Зато иной, загоношив поэму,
Свирепым львом наскочит на проблему
И убежит испуганной овцой.
А я хоть и ленив, но тем хороший,
Что если ноша,
Не бегу от ноши.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Хороший муж, как правило, ревнив,
Но часто ошибается предметом.

Байрон. Дон-Жуан

Привет тебе, о море,
Мне родное,
Сегодня ты, как я, совсем седое.
Девятый вал багрянит свой венец,
От гелиозаката набегая.
Я гимны, море, для тебя слагаю,
Но, море, море, я не твой певец.
Встречай меня, как прежде, не шутя,
О океана шумное дитя!

Шуми, шуми!
Мои земные думы
Расстраивали северные шумы,
А ты шуми, а ты о берег бей.
Да, я устал, не буду лицемерить,

Да, я пришел к тебе тобой измерить
Всю косность и всю суетность людей.
С тобой видней, как часто мелковата
Их славных сил
Бессмысленная трата.

Враг суеты,
Недаром в добром строе
Я выбрал многовечного героя.
Не потому, что не о ком сказать
И не на чем придумать новой сказки.
В нем есть урок,
Он давние завязки
В себе самом не может развязать.
Жуан для нас имеет то значенье:
Что в нас мало,
В нем — преувеличенье.

Из многих тайн
Супружеского быта
Природа ревности не вся раскрыта,
А в ней найдутся добрые черты,
В ней есть и благородные начала,
Чтобы жена, к примеру, отвечала
Душевным идеалам красоты:
Не то чтоб плавать
Ангельским виденьем,
Но отличаться строгим поведеньем.

Наташа Кузьмина
Не виновата,
Что были с нею все запанибрата.
— Наташка, эй!..—
Пора, пора в утиль
Вот этот легонький, простецкий, свойский
И псевдопроф, и псевдокомсомольский,
И прочих псевдо грубоватый стиль.
Мне Пушкин по душе,
Сказавший здраво:
«Прекрасное должно быть величаво».

Но я и не за то,
Чтобы супруга
Вся столбенела, словно от испуга,

Чтоб муженька держала за рукав,
Чтоб говорила, что намного хуже,
Все с мужем, все о муже и о муже.
Нет, все-таки Жуан был в чем-то прав,
Когда просил, чтоб мужем, как бывало,
Жена нигде
Его не называла.

Тут что-то есть.
Иллюзией свободы
Хотел он снять моральные заботы,
Ответственность душевную с себя.
Для объяснения болезни кровной
Врачи теперь идут от родословной,
По их рецепту поступлю и я.
Болезни и отжившие идеи
На расстоянии всегда виднее.

В Испании,
Где благодать оливам,
Родился он, как все, уже ревнивым,
Но выручила страсть, любовь, интим,
Еще точнее — женщин перемены:
Меняя, он не знал себе измены,
Любая изменяла только с ним,
А муж бывал до рокового часа
Измен жены
Ходячею сберкассой.

В нем ревность
Замолкала, как дракон,
Которому бросал красавиц он.
А сколько здесь напущено тумана,
Тогда как вот как возникал и гас
В душе его, в других, потом и в нас
Довольно сложный комплекс Дон-Жуана.
Когда пороки управляют нами,
Мы ж думаем,
Что управляем сами.

До встречи с Натой,
Головы кружа,
Нестойкая Жуанова душа
Вела себя как добрая простушка:

Влюбленно льстила, искренне лгала,
Короче, суетилась, как могла,
У тела своего на побегушках,
Пока не взял в стеснительные клещи
Закон несовместимости
Двух женщин.

Согласно сути
Этого закона
Влюбленный жаждет вечного полона,
Любви и поклоненья не на час.
Проснулась совесть в нашем ловеласе,
Как в школьнике,
Застрявшем в первом классе,
Менявшем только школы, а не класс.
Вот почему Жуан уже без чванства
Избрал для сердца
Подвиг постоянства.

Лишился он
Всех вычурных манер,
Являя удивительный пример
Поборника таких высоких качеств,
В которых был когда-то очень слаб,
Теперь не пил, чужих не трогал баб,
Но в этом, кстати, не было чудачеств,
Все страстные натуры год от года
В себе самих
Рождают антипода.

Продолжу песнь
Без лишних аллегорий.
Жуан бы пережил такое горе,
Когда бы все, что,
Перьями скрипя,
О нем не написали без смущений,
Он сам во всех деталях обольщений
Теперь не опрокинул на себя.
Воистину, как говорит Писанье:
От больших знаний
Большее страданье.

Он помнил все,
Как роль свою артист,

Как партию великий шахматист,
Одной лишь скромной пешки продвиженье,
Противного коня ответный скок,
Жуан уже средь множества дорог
Всей партии предвидел продолженье,
Припоминая прошлое к примеру:
«Да, так вот соблазнял я
По Мольеру!»

Пусть шахматы
И древняя идея,
Игра любви во много раз древнее.
Хоть и хитер бывает ход конем,
В игре любви ходы замысловатей.
Играть случалось
Даже в женском платье,
Как ни смешно, жуанил он и в нем,
Когда его — по Байрону — в серале
Наложницы султана соблазняли.

Я думал,
Что Жуана в первый год
Лишь собственная ревность подведет.
Она одна была в моем прогнозе,
Возможная, как прошлого урок,
Не страшная, как легкий ветерок,
Дающий горделивость нежной розе,
Но я не мыслил, занятый романом,
Что легкий ветер
Станет ураганом.

Сначала солнце
С примесью багряной
Заволоклося пеленой туманной,
Вскипело море кипятком крутым,
Да так, что волны с тучами смешались,
Да так, что даже чайки не решались
Четыре темных дня летать над ним.
Душа моя покрылась тоже мраком,
Что для сюжета стало
Грозным знаком.

Четыре дня
Сквозь роковую хлябь

Мне одинокий виделся корабль,
Я слышал вопль:
«Спасите наши души!» —
И все смолкало в мрачном гуле гроз.
На пятый день сигнал тревожный «SOS»
Не с моря прилетел ко мне, а с суши,
Где, видно, свой пронесся ураган:
«Наташа потерялась.
Твой Жуан».

Я горе
Морем измерять хотел,
Я думал, море — мерам всем предел,
Но море все же людям покорялось,
Хотя урон и от него велик,
Но чем измерить мне тревожный крик
Души живой: «Наташа потерялась»?
Теперь я знал, что есть для поморян
За морем горя
Муки океан.

Я думал о Наташе и Жуане,
Уже плывя в небесном океане.
С покачиваньем,
С дрожью плоскостей
Наш славный «Ту-154»,
Казалось, плыл в каком-то новом мире,
Освобожденный от земных страстей.
Не потому ль привыкшие к высотам
Бывают холодны
К земным заботам?

Как хороши,
Похожие на наши,
Высокие небесные пейзажи.
Видна лыжня, бегущая ко дню...
Кто ж тот безумец,
Для земли безвестный,
Вот в этой беспредельности небесной
Пробивший одинокую лыжню?
Пастух ли, отгонявший зверя злого,
Или гонец
Пророческого слова?

Хотел бы знать,
Где раньше все явилось:
Взошло ли от земли
Иль к ней спустилось?
Здесь каждый миг родит пейзаж живой,
Как будто не домой летим, а вдаль мы:
Далекой Кубы голубые пальмы
Приветливо качают головой.
Небесные пейзажи над планетой
Блуждают,
Как бродячие сюжеты.

А на табло
Сигнальные огни
Уже сигналят: «Пристегнуть ремни!»
На всякий случай, если будет встряска,
Чтоб с кресла не взлететь и не упасть,
Земля опять берет над нами власть.
Пусть небеса — и в них земли привязка,
Как в старой зыбке с лямкой и крюком,
Подвешенной
Под низким потолком.

Вновь препоясан
Тяжестью земной:
Так что же, что с Жуановой женой?
Я горько плачу...
Милые, доверьтесь
Моим слезам над выдумкой моей.
Нет, выдумайте собственных детей,
Жените плохо, а потом и смейтесь!
Не до игры, сама игра порой,
Дойдя до слез,
Не кажется игрой.

Вот и земля.
О, как она трясет,
Должно, в отместку за покой высот.
Не тратясь на случайные заметы,
Спешу в такси, оглохший от гудьбы,
К Жуану... По иронии судьбы,
Покойное стояло «бабье лето»,
И странно было, что в таком покое

Могло случиться
Что-нибудь плохое.

Жуана не было.
Сутуля плечи,
Я проискал его весь день и вечер,
Прошел цеха и дома этажи,
Не обнаружив прежних связей звенья.
Как жутко мне людей исчезновенье,
Как будто долго видел миражи.
С тем большим утвержденьем,
С большим пылом
Твержу о бывшем:
Было!
Было!!
Было!!!

Болея болью
Друга моего,
К печали чуткий, я нашел его.
Нашел чутьем в себе почти звериным,
Ослабшим в людях по нехватке сил.
В ответ на нюх и мысленный посыл
Душком повеяло сугубо винным,
И я пошел с решимостью тарана
На этот смутный
Запах ресторана.

Жуан был там,
Сидел на месте том,
Когда сиял за свадебным столом.
Казалось, что не он сидит, а мрак
Качается, за этот стол воссевши.
Какая грусть!.. Испанец обрусевший
Пил горькую, как истинный русак.
Припав к стакану, друг на скользком дне
Искал все ту же
Истину в вине.

Он пил жестоко,
Даже слишком грубо,
Пил без закуски, стискивая зубы,
А я глядел, не смея помешать,
А я молчал, подвластный не капризу.

Лунатика, что бродит по карнизу,
В такой момент не надо окликать.
Случается, заботливость не в пору
Лишь вышибает
Из-под ног опору.

Нет, пьяница не тот,
Кто к рюмке льнет.
А тот, кто криво морщится, но пьет,
А выпив, и ругнет.
— По этой части
Ты сам мастак,— съязвила бы жена.
Да, милая, сгорают от вина,
А более сгорают от несчастья.
Что пьянство — злой порок,
Ни с кем не спорю,
Зато оно и равновесье горю.

Строг моралист,
Он судит всех прямей,
На этот счет философы добрей.
Когда-то Герцен с болью признавался,
И здесь его признания важны,
Что долго после гибели жены
Он этому пороку предавался.
А между прочим, как и в песне нашей,
Его любимая
Звалась Наташей.

— Пей, пей, Жуан!
Пусть водка оглоушит,
Пожар несчастья пусть в тебе потушит!..—
Однако пить Жуан не захотел,
А, глядя мимо взглядом напряженным,
Казалось бы от мира отрешенным,
Он странно улыбнулся и запел:
Пел тихо на мотив довольно старый,
Пел просто так, для сердца,
Без гитары:

> Мое сердце, молчи,
> Как молчат в одинокой квартире,
> Как вода подо льдами Оби.
> Мы с тобою в суровой Сибири

Без надежд и любви,
Без надежд и любви,
Без надежд и любви в этом мире,
Без любви.

Мое сердце, молчи,
Не стучи, все равно ниоткуда
Нам хороших не ждать новостей.
Нам осталась метелей остуда
На последней версте,
На последней версте,
Той версте, где кончается чудо,
Той версте.

Мое сердце, молчи,
Мы с тобою теперь одиноки,
Мы с тобой совершенно одни,
Те, что близкими были, далеки.
Ты мне счастье верни,
Ты мне счастье верни,
Все верни: и мольбы и упреки,
Все верни...

Все выпивохи,
Будучи не глухи,
Вдруг загудели, как мясные мухи.
Прилипчивей репья к чужой беде,
Подсел к Жуану с мимикой приветной
Какой-то чужерюмный, чужеедный
Вития с хлебной крошкой в бороде.
Когда дела у человека плохи,
А деньги есть,
К нему спешат пройдохи.

Для пьянства
Независимо от чина,
Должно быть, есть какие-то причины.
И этот бородатый с «хи-хи-хи»,
С готовою слезой, блеснувшей кстати,
Решил восполнить разницу в зарплате,
Пониженный по службе за грехи.
Тут я рванулся.
— Отойди, приятель!..—
И спас Жуана от его объятий.

Почти бессмысленно,
Темно и криво
Тот на меня смотрел, как с негатива,
Но, скованный каким-то мрачным сном,
Как в проявителе, вдруг стал меняться,
Знакомыми чертами проявляться,
Умнеть глазами и светлеть лицом,
И наконец, утратив взгляд остылый,
Узнал и оживился.
— Вася!.. Милый!..

Скорбя душой
О без вести пропавшей,
Его спросил я:
— Что, скажи, с Наташей?
— Черт знает что, увел какой-то хлюст!..—
Он говорил, спеша и заикаясь,
Горячими словами обжигаясь,
Как бы спеша их выбросить из уст.
— I Zeiablos! —
Закричал он в гневной краске.—
J Maldita sea! —
Видно, по-испански.

Не странно ли,
До этого момента
Он говорил по-русски без акцента,
Как будто не пришел издалека,
Теперь же с подозрением предательств
В минуту гнева для простых ругательств
Чужого не хватило языка.
Так в каждом при смятении душевном
Рассудок в силах
Уступает генам.

Мне стало стыдно.
С Музой поневоле
Мы оказались в сводническої роли.
Мне сводники всех рангов и мастей,
Всех побуждений стали вдруг постылы.
В них, в каждом, что-то от нечистой силы,
Играющей соблазнами людей.
Так Мефистофель, дьявол знаменитый,

Свел Фауста
С невинной Маргаритой.

А мы, наоборот,
Жуану в милость
Подсунули коварную невинность.
Не ревность ли его была виной?
Одно лишь подозрение бесстыдства
Внушает нашим женам любопытство.
— Ты ревновал?
— Не больше, чем любой.—
Он говорил и долго и невнятно,
Я ж расскажу короче,
Но понятно.

Событья сразу
Наступили грозно:
Она домой пришла позорно поздно,
Не бросилась к своим вчерашним щам,
Не стала объясняться даже вмале,
Казалось, что все вещи ей мешали,
Что и она мешала всем вещам,
И самое печальное при этом,
Решила спать не рядом,
А валетом.

Как спать валетом,
Даже нет вопросов,
Но это же не самый лучший способ.
Читатель, сам представь и сам суди:
Будь ее ноги красотою линий,
Ну, скажем, даже ножками богини,
Муж их не станет прижимать к груди.
При сне таком по правилам, как малость,
Нельзя брыкаться,
А она брыкалась.

Проснувшись
И вздыхая то и дело,
Наташа на Жуана не глядела.
С печальными глазами, как в дыму,
Сказала каждодневными словами,
Что вечером зайдет на время к маме.
Должно, зашла, но не пришла к нему.

Супруг прождал один в своей квартире
И час,
И два,
И три,
И все четыре...

И ворвались сомненья,
Все круша,
И дрогнула Жуанова душа.
Душа?.. Да не душа — сплошная рана,
Как будто, потоптавшись на меже,
Всю ночь скакали по его душе
Копытистые кони Чингисхана.
В ней, как в степи,
Где прежде цвел ковыль,
Лишь оседала пепельная пыль.

Как призрак
Катастрофы неминучей,
На горизонте заклубились тучи.
Пугает нас не молнии излом,
Не огне-гневное ее сверканье,
Мучительней бывает ожиданье
Того момента, когда грянет гром.
Жуан и на заводе не воспрянул:
Жены там не было,
Но гром не грянул.

Коль сразу не убит,
Мечта живет,
Что гром еще далек и не убьет.
Друг — к теще.
Нет и там.
Мамаша гневно
Сняла с него допрос:
— Дошли до драк?
— Нет, нет, мамаша!
— Тогда как же так?! —
Осатанилась Марфа Тимофевна,
Сказала грозно, тут же одеваясь:
— Пусть будет хоть в земле,
А докопаюсь!..

Самим собою,
Строже, чем судом,

Он был судим позором и стыдом,
Таким стыдом, что людям и не снится,
И как уже бывало много раз
В его проклятом прошлом, он сейчас
Готов был хоть сквозь землю провалиться,
Но, вынося все тяготы позора,
Не находил бедняга командора.

Опять Жуана,
Как холостяка,
Встречал тот кактус,
Только без цветка,
Опять варил он ячневую кашу,
Картошку — пионеров идеал,
Уныло ел и ненасытно ждал —
Хотя бы тещу, если не Наташу.
Вот ночь уже четвертая настала,
Жуан гулял,
А теща все «копала».

Ушла?!
Уйти — дивились все кругом,—
Когда был муж уже под башмаком?!
Нет, что-то тут не так.
Когда б хотела
Наташа власти, а борьба за власть,
Допустим, ей, Наташе, не далась
Иль не совсем далась — другое дело,
Иначе бы с какой такой ноги
Он мягкие
Купил ей башмаки?

По-своему
И образно и метко
Судачила экономист-соседка:
— Клянусь, ушла Наташа не со зла,
Корысти в этом нет,— и намекала,
Что в той от вложенного капитала
Прибавочная стоимость росла...
— Недаром в прошлый месяц с середины
Ее заприхотило
На маслины.

В поэзии
Нас ждет за рифом риф:

В поэму плыл, а выплыл в детектив.
Теперь он в моде, чуть не директивной,
Но я-то по нужде, впадая в риск,
Как ловкий сыщик, начал частный сыск
И вот стою на тропке детективной,
Зато на факты и событья все
Имею я теперь свое досье.

А было так:
В тот вечер роковой,
Из цеха выйдя, Ната шла домой
По заводскому скверу.
Между прочим,
Терновника там рос высокий куст
С плодами, очень терпкими на вкус,
До коих прежде не была охоча.
Я думаю, у вас найдется сметка,
Чтоб вспомнить,
Как права была соседка.

Медовей меда
Со цветов долин
Теперь стал вкус ей северных маслин,
Она карманы ими набивала,
Она их ела, не кривясь ничуть,
Звенело тело, молодая грудь,
Как лет в пятнадцать,
Сладко поднывала,
Все было как во сне,
Легко и дивно,
А ягода чернела неизбывно.

Красива женщина
В поре такой
Какою-то особой красотой.
Здесь кисть нужна, а не слова поэта,
Чтоб красками живыми передать,
Как на нее нисходит благодать
Высокого, небесного расцвета.
В природе все, что нам плоды рождает,
В свой мудрый срок
Сначала расцветает.

Спеша к супругу,
Собственным умом
Она еще не думала о том,
Что в ней пирует новой жизни завязь,
Еще не знала, что ее вот-вот
У многостворных заводских ворот
Подстережет расчетливая зависть.
Нет, мужа в мыслях
Нежно именуя,
Наташа миновала проходную.

За проходною,
Как из прошлых грез,
Перед Наташею предстал матрос
В щеголеватой куртке нараспашку;
Не то матрос, покинувший свой бриг,
Не то полуматрос-береговик,
Для форса выставляющий тельняшку.
Она его узнала без труда
И загорелась
Краскою стыда.

Чуть-чуть наигранно,
Расправя плечи,
Он взял под козырек.
— Какая встреча!..—
Вы, верно, догадались, это тот,
Кто распрощался с нею, как с обузой,
Кого мы на своем Парнасе с Музой,
Творя сюжет, не приняли в расчет.
— Ну, здравствуй! —
И насмешливо-елейно,
Почти с издевкой:
— Как очаг семейный?

Сказать хотела
Из того расчета,
Что не ему теперь сводить бы счеты,
Но почему-то недостало слов.
Обида втайне все еще терзала,
Она ожесточилась и сказала:
— Спасибо,
Хорошо.
Хватает дров.

А как твоя семья? — спросила смело
И на него впервые поглядела.

Стараясь скрыть
Обиду и укор,
Она глядела на него в упор,
А он стоял пред ней, как на параде,
И бравый и внушительный на вид,
Как будто весь единым слитком слит,
Пригож лицом и крепким телом ладен,
И лишь в глазах хитрившего матроса
Торчали два зрачка,
Как две занозы.

Ответил так,
Что холода ушат
Он вылил на нее.
— Я не женат!
— Как не женат?! —
Суровый голос Наты
На этом дрогнул.
— Ты же мне писал...
— Нет, просто я мешать тебе не стал,
Хотел избавить от забытой клятвы,
Чтобы она игрушкой школьных дней
Не захламляла
Памяти твоей.

А помнишь ли,—
Продолжил с увлеченьем,—
В десятом мы писали сочиненье,
Твое в пример зачитывали нам,
В нем, не предвидя
Своих взглядов смену,
Ты осуждала черную измену
Любви и дружбе, слову и делам...
— К чему все это? —
Удивилась Ната.—
Ты мне налгал —
И я же виновата?!

Спокойный,
Торжествующий почти,

Он подал ей письмо.
— Тогда прочти! —
Лишь только развернув листок несмело,
Лишь увидав расшатанно-кривой
Знакомый почерк Надьки Луговой,
Наташа почему-то побледнела,
За ней следил с улыбочкой злодея
Друг юности ее,
Вадим Гордеев.

Неужто был Вадим
Настолько прав,
Что, смятого письма не дочитав,
Наташа зашаталась, стиснув зубы,
Упала бы, когда б ее Вадим
Не поддержал всем корпусом своим
И не довел до лавочки у клумбы,
Где до поры для розысков иных
Я с горьким чувством
И оставлю их.

Передо мной
Потрепанный весьма
Лежит оригинал того письма,
Что обожгло Наташино сердечко,
Ударило строкой, простой на вид:
«Твоя Наташка
Здесь вовсю *кадрит*!»
Какое новомодное словечко,
А говорят, что в области морали
Мы новых слов
Еще не создавали!

Есть люди,
Жаждущие для других
Такой же неудачи, как у них.
И вот одна такая,
Лишь налгать бы,
Писала и в строке и между строк,
Что у Наташи есть уже и срок,
Сокрытно обозначенный для свадьбы,
Хотя Жуан в супружеском аспекте
В то время не был
Даже и в проекте.

Когда Вадим
Прочел все это, он
Был в гордости своей так уязвлен,
Что Нате дать отказ поторопился,
Чтобы не он стал первой жертвой зла,
Чтобы она покинутой слыла,
Но без большой любви
Женитьба вскачь
Приносит только
Бремя неудач.

Теперь и сам,
Попавший в бездорожье,
Намеренно смешал он правду с ложью,
Решив Наташу от семьи отбить.
Какое суетливое уродство —
Рядить себя в одежду благородства,
Не лучше ль просто благородным быть!
Что, трудно? А под ласковые речи
Быть негодяем,—
Разве ж это легче?

В беду попасть нетрудно,
Все труды
Лишь в том, чтоб с честью выйти из беды,
Вадим же бросил все свое старанье,
Чтобы внушить, что был не виноват,
Чем и принес ей горестный разлад
В жестоко потрясенное сознанье.
Душа ее в трагическом циклоне
Металась в самой
Безысходной зоне.

Ей слово клятвы —
Не словесный хлам,
Она была хозяйкою словам,
В них голос сердца был и голос крови.
Ее учил учитель и поэт,
Что если слова нет, то жизни нет,
Все в этом мире держится на слове.
Без слова, умирая и родясь,
Утратят люди
Всяческую связь.

Глупей всего
Ведут себя в осуде
Добру недоучившиеся люди.
Так и Наташа, чтоб в себе не пасть,
Глядела на Вадима той Наташей,
Как будто был он без вести пропавший
И вот вернулся, взяв над нею власть.
Иные скажут: «Цельная натура».
Натура — да,
Но дура, дура, дура!

Вадим ей лгал
И стал за слово люб,
А что бы его слово да на зуб,
Коль своему хорошая хозяйка,
Ядро в любом орешке ли найдешь,
Вот так и в слове пребывает ложь,
Как за скорлупкой тухлая козявка.
Тут даже белка преподаст урок
Тем, что берет орех,
Лишь годный впрок.

Она ж решила,
Ты, читатель, знай,
С Вадимом улететь в Приморский край,
Бродила с ним.
— Тебе я верю, Вадик.
— Ну, наконец-то! —
Ночь была темна.
— А все же что-то страшно! — И она
Хваталась крепче за его бушлатик.
Не верь, не верь!
Но на пути порока
Красавицы не слушают пророков.

На свой позор,
Учи их, не учи,
Они легко летят, как из пращи.
Быть может, лишь одна из многих ста
Способна отвратиться от гордыни,
Зато ей, как библейской Магдалине,
На этот случай подавай Христа.
А нынче у безбожного поэта

Такого все же
Нет авторитета.

О, первая любовь —
Любовь любвей,
Манящий призрак юности твоей,
Неповторимый, памятный и милый.
Пусть та любовь до гроба греет грудь,
Пусть долго-долго светит, но не будь
Ты осквернителем ее могилы.
О, первая любовь!
Люби и славь,
В своей душе
Ей памятник поставь.

Забыл о ней —
Беда неотвратима.
Тем и страшна завистливость Вадима,
Что мстительность вдруг овладела им,
Когда узнал он, что его Наташа
За мирового вышла персонажа,
Что счастлива...
Как?! Счастлива с другим?!
И вот Вадим, когда-то друг-приятель,
Пришел к Наташе
Как гробокопатель.

Сюжет бы мне
По сердцу и уму,
А то уже противно самому
Описывать все эти шуры-муры,
Которые особенно низки,
Особенно постыдны и мерзки
На общем фоне мировой культуры.
В том нет любви,
Нет мужества и чести,
Кто женщину берет
Из чувства мести.

Уже не той,
Высокой и прямой,
Пришла Наташа в эту ночь домой.
Сначала мысль в сознанье копошилась,
Что надо бы не подличать, не лгать,

А напрямик Жуану все сказать,
Но почему-то сразу не решилась.
Ей стало тяжко и в постели тесно,
Ну, остальное
Вам пока известно.

Мужчине,
Даже с вывертом блажны́м,
Всего страшнее выглядеть смешным.
Храня свое достоинство мужчины,
Жуан свою жену искать не стал
(Куда пойдешь?), к тому же и не знал
Ее ухода истинной причины.
Но теща, как причина ни скрывалась,
Два дня «копая»,
Все же докопалась.

Она в два дня
Успешно провела
Всю операцию под шифром «А»,
Что означало — поиски Амура.
Всех обходя Наташиных подруг,
Сжимала Марфа Тимофевна круг
Неумолимее, чем агент МУРа,
Пока не повстречалась роковая
Та кляузница
Надька Луговая.

Злодейка
Из резерва старых дев
Не выдержала Тимофевны гнев,
К тому ж раскаяньем руководима,
Что две любви пустила под откос,
Теперь не пожалев ни слов, ни слез,
Все рассказала Марфе про Вадима.
У той из грозно дышащей груди
Одно лишь слово вырвалось:
— Веди!..

На длинный путь,
На сложные зигзаги
Боюсь потратить лишней я бумаги.
В издательствах над нею — ох да ах,
Мол, держится достаток на привозе,

Хоть экономят не на толстой прозе,
А как всегда и всюду — на стихах.
Пусть торжествует принцип эконома:
Они пришли,
Они уже у дома.

Среди таких же,
Найденный с трудом,
То был обычный поселковый дом,
С обычной деревянной голубятней.
Тут Надька, осторожная, как зверь,
Кивнула указующе на дверь:
— Они вот здесь! —
И сразу на попятный.
Послушав, как воркуют сизари,
Метнулась Тимофевна
Ко двери.

Она в те двери
Ворвалась без стука.
И первым словом было слово «сука!»,
— А ты щенок!..—
Раздался треск, и вот
В одних трусах в сопровожденье шума
Вадим из дома, словно как из трюма,
Вдруг выскочил и полетел за борт,
Вослед — бушлат,
Два грохнувших ботинка,
Тельняшка, брюки клеш
И бескозырка.

Ища одежду,
— Черт ее принес! —
Серчал обескураженный матрос,
Себя отдавший слишком бурным водам.
— Ну, ведьма, ведьма! — повторял со зла,
Поскольку ведал, как она грозна,
Еще по безмятежным школьным годам.
А перед тем, кого боялся смладу,
У льва и то
Со страхом нету сладу.

Тем временем,
Изгнав Вадима прочь,

Трепала Марфа Тимофевна дочь,
Пол подметала бедною Наташей,
И за большим грехом ее измен
Еще не замечала перемен:
Ни губ припухших,
Ни груди набрякшей,
Но ахнула и выпустила Нату.
— Да ты же, окаянная, брюхата!

И мать запричитала.
В причитанье
Звучал ее упрек в непочитанье
Ни матери,
Ни мужа,
Ни родни.
Тут и Наташа всхлипнула в подмогу,
И вот уже помалу-понемногу
Слезой к слезе заплакали они.
Теперь, закончив поиска задачу,
Я их оставлю,
Пусть себе поплачут.

Безмолвная свидетельница зла,
В ночи луна ущербная плыла
И остроносой лодочкой качалась,
Скрывалась, видима едва-едва,
За гряды тучек, как за острова,
И снова, золотая, появлялась.
Мне чудилось в ту ночь,
Что правил ею
Нахальный морячок
Вадим Гордеев.

Луна плыла,
От страха сердце стыло,
Уставясь на луну, собака выла.
Должно быть, ей,
Как в древней седине,
Поговорить с людьми не удается,
Теперь собаке то и остается,
Как ночью апеллировать к луне.
Есть у собак
Свои собачьи слезы,
Свои неразрешимые вопросы.

Луна плыла,
Напоминая ликом
О чем-то беспредельном и великом,
О жизни, может быть совсем иной,
Необычайно легкой и забвенной.
Но, поманив, она, как щит вселенной,
Меня вернула к суете земной.
И я боюсь, что заблужденья Наты
Для всех троих
Трагедией чреваты.

Жизнь равновесна:
По доходу трата,
По взятому предъявится и плата.
Уже ты семьянин, а жизнь — все бой,
И на тебя, героем в новой драме,
Противник жмет твоими же ходами,
С годами позабытыми тобой.
Тщеславного Вадима похожденья —
Воистину Жуана порожденье...

Но в наше время,
В этом нет открытий,
Отходы быта стали ядовитей.
Жуан в любви был романтично свят,
В нем, чистом, страсть жила
И страсть осталась,
Двадцатый век себя добавил малость —
И вот в Вадиме новый результат,
Зато и нет ни славы, ни почета
Для баловней
Холодного расчета.

Как я в глаза
Доверчивые гляну,
Что расскажу я моему Жуану,
Сумею ли вину свою признать?
Зачем сюжет я вовремя не сузил,
Дал завязать Вадиму новый узел,
Который без борьбы не развязать.
Жуану, жизнь прожившему мятежно,
С ним столкновенье
Стало неизбежно.

Три песни спел я,
А каков итог?
Герой мой, друг мой снова одинок,
Такой, каким и был он при начале,
Но как ни горек в судьбах поворот,
А все же в мире уже зреет плод —
Дитя любви, дитя его печали.
Уже редакторов предвижу бденье:
Каким Жуана
Будет поведенье?

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!

Сергей Есенин

Землей рожденный,
Преданный лесам,
Я с детских лет стремился к небесам,
Как к высшей правде жизни и познанья,
Где бедствуют особенной бедой,
Где плачут не обычною слезой,
А золотыми звездами страданья,
Но грузом человеческих забот
Отринут был
От голубых высот.

Познавшему людские недомоги,
Что до того мне,
Как страдают боги!
За Демона не стал бы я рыдать,
Когда бы он в трагическом кошмаре
В той неземной любви к земной Тамаре
Не попытался человеком стать.
Теперь людская боль мне поневоле
Становится больнее
Личной боли.

А мой Жуан,
Друг и товарищ мой,
Был все еще в душе полугерой,
Он к человеку шел от полубога,

Свою Наташу искренне любя,
Шел смело, но до нового себя
Не дотянул совсем-совсем немного,
Когда в пути на крайнем спуске вниз
В его семье
Сотрясся катаклизм.

Давно ли он,
Нежданную, как призрак,
Наташу внес бы в донжуанский список,
Где были и звучнее имена.
В том списке на бумаге глянцеватой
Какой-нибудь, ну, скажем, сто двадцатой
Стояла бы Наташа Кузьмина.
Состав пополнив своего гарема,
Тетрадь закрыл бы —
Вот и вся проблема!

Пока я излагал
Событий суть,
Жуан уже ступал на этот путь,
Ворчал сердито:
— Замолчи!.. Не надо!..—
И вновь шагал в своих былых веках
С презрительной улыбкой на губах
И молодым высокомерьем гранда,
Но я его вернул к своей эпохе:
— Где женщины плохи,
Мужчины плохи.

— А если дрянь жена? —
Спросил он гневно.
— Не торопись, она чиста душевно.—
Жуан скосил свой уросливый зрак,
Цедя слова с издевкою жестокой:
— Измена с благородной подоплекой,
Так, что ли, друг мой?
— Если хочешь, так.
— Чиста душой? —
И гаркнул обалдело: —
Нет!.. Я предпочитаю чистым тело!

В чужой душе,
Как ни свети, темно.

Вот и смывай родимое пятно
Замашек буржуазно-феодальных.
Ведь многие на жен чужих глядят,
А собственных коснется, все хотят
От них поступков только идеальных.
И я спросил:
— А у тебя из ста
Была ли хоть одна во всем чиста?

Опешил он,
Не каясь в связях с ними:
— Они же были женами чужими!
— Но если в прошлом для своих любвей
Ты чистоту считал души ненужней,
Представь Наташу за другим замужней
И по привычке заново отбей,
Тогда она, полученная с бою,
Уж не тебе изменит,
А с тобою.

На этот раз
И я не без уловки
К поступкам подводил мотивировки:
— Нет, милый мой, двоить себя нельзя,
Быть может, снова, как уже когда-то,
К нам подступает век матриархата,
А мы не знаем и бушуем зря.—
Жуан, заметив, что его дурачу,
Послал меня
Ко всем чертям собачьим.

Герой — потемки,
Но по резкой речи
В нем человека нам увидеть легче.
Как только начал он меня бранить,
Я сразу понял, что мой друг с разбегу
К себе вернулся, то есть к человеку,
А с человеком можно говорить.
— Сядь! —
Приказал Жуану я, готовясь
Сказать ошеломительную новость.

— Твоя беда
Была неотвратима,

Да, да, ведь сам ты породил Вадима,
Собравшего в себе твое хламье.
О, донжуанство без душевных граций —
Подлейшее из поздних генераций,
Оно теперь возмездие твое!
Как гордый человек,
С открытым взором
Испытывай теперь
Себя позором!

Один и тот же грех,
Но в двух сердцах
Неодинаков на больших весах,
У каждого свой потолок и полка.
Как ни тяжка Наташина вина,
Как ни трагична, все-таки она
Лишь жертва ложно понятого долга,
С тобой ли будет,
С ним ли, наглецом,
Она того-с...
Готовься стать отцом!

Он так смотрел,
В таком холодном поте,
Как будто спрашивал:
За что же бьете?
Неясно было, что владело им,
Боязнь ли, что к былому не вернуться,
Иль первый страх, что может разминуться
С таким желанным будущим своим?
И я, чтобы облегчить груз известий,
Заметил, уходя:
— Рождайтесь вместе!

Закрывши дверь,
Я в тот же самый миг
Услышал за собою львиный рык
И некий шум, как ураган над лесом.
Так у Жуана в мозг его и грудь
Вошла психопатическая муть,
В науке называемая стрессом,
А возникает этот самый стресс,

Когда над мыслью
Чувства перевес.

А мой герой,
Как бывший соблазнитель,
Был не философ, даже не мыслитель,
Но понимал, в чем благо и в чем зло.
У самолетов — надо ж догадаться! —
Чтоб те не разрушались от вибраций,
Отяжеляют каждое крыло.
А может, если посмотреть не узко,
И человеку
Легче под нагрузкой?

Сначала в нем
При взрыве безрассудства
Возобладали низменные чувства,
Но не бесплодным был тот львиный рык.
На бурных взрывах вот такого рода
Нас подвигала мудрая природа
Очеловечивать свой темный лик.
Лишь стоило мне друга крепко вызлить,
Как, пошумев в горячке,
Стал он мыслить.

И мысль пришла:
«Как, не свершая месть,
Мне сохранить достоинство и честь,
Кого судьею взять, не унижаясь?
Насчитывал когда-то до семи
Я добрых нянек у своей семьи,
Теперь же все куда-то разбежались.
Сегодня в положении таком
Помочь не сможет
Даже мой цехком.

Как наказать
Измену и обман?
Когда бы вор залез ко мне в карман,
Его б судили очно и стоглазно,
А негодяй — не-е-ет, я его убью! —
Ограбил душу и любовь мою
И почему-то ходит безнаказный...»
Стихом поэта

Для острастки бестий
Жуан затосковал
О шпаге чести.

Тем временем,
Со злом войдя в мой опус,
Вадим еще догуливал свой отпуск,
Наташа у подруг его ждала,
Не сдавшись грубой материнской силе,
А Марфа Тимофевна в том же стиле,
Все ту же дипломатию вела.
Вот расстановка лиц, и в ней на диво
Держался каждый
Своего мотива.

Едой пренебрегая,
Даже сном,
Печальная Наташа пред окном
Ждала матроса, глядючи за раму,
И в том, что после горькой ночи той
Матрос не появлялся с темнотой,
Винила только собственную маму,
Наивно полагая, будто он
Был в лучших чувствах
Ею оскорблен.

Обидно зло,
Обидней во сто крат
Любовь и благородство невпопад,
Самовнушенные по школьным книгам,
Меж тем когда читаем книги мы,
То лишь щекочем слабые умы
Мечтаньями великих о великом,
Иначе бы — Толстого прочитал,
Так сразу бы
Философом и стал.

Жизнь старше книг.
Уже через неделю
Наташе ожиданья надоели,
И та решила с долей озорства
Зайти к Вадиму, выбрав путь окольный,
Пока что на правах подруги школьной,
А не по праву тайного родства.

Оделась хоть и скромно, но прилично.
На этот раз
Она была практична.

При встрече рек
На берегу крутом
Гордеевых стоял высокий дом.
Не бредя каменными городами,
Их дом стоял еще со старины,
Когда Гордеевы и Кузьмины
Дружили семьями или домами.
С кедровыми венцами
Дом крестовый
До сей поры глядел
Почти как новый.

И берег,
И река напротив дома
Наташе были с детских лет знакомы.
Не зная ни заботы, ни тоски,
Они в реке купались,
Внешне кроткой,
В гордеевской переплывали лодке
На золотые свейные пески.
Ах, детство, как ты далеко-далече!
Когда глупы мы,
Жить намного легче.

Где две реки
В одну соединились,
Там воды цветом надвое делились.
Наташе стало странно, как она
Той разницы тогда не углядела:
Река же половиной голубела,
А половиною была темна.
Душою смутной постигая что-то,
Она вошла
В тесовые ворота.

Уже в дому,
Ухоженном на диво,
Она застала только мать Вадима,
В заботе разбиравшую белье.
Та увидала гостью и запела:

— Как выросла да как похорошела! —
И принялась усаживать ее,
Украдкой пряча в уголок косынки
Две тайно
Недоплаканных слезинки.

По тем слезам
Наташе ясно стало:
И здесь ее мамаша побывала.
Жестокая в стремлении своем,
Она почти что — не почти, а точно —
Сравнялась в дипломатии челночной
С американским госсекретарем,
Но Тимофевны редкие задатки
Не принесли
Желаемой разрядки.

И все-таки она,
Как дипломат,
Уже имела некий результат.
Ее переговоры, то есть ссоры,
Неумолимо привели к тому,
Что в этот день
В гордеевском дому
К отъезду сына начались сборы,
А сам он, пережив однажды страхи,
Сойтись с ней снова
Не нашел отваги.

«Все для меня!» —
Вадима был девиз,
Родителям же этот эгоизм
Сначала не казался трудной ношей:
«Все для него, а значит, и для нас!»
Но, как и у других, им от проказ
Единоличника жилось все горше.
Родить второго не хватает сметки,
То и страдают
Семьи-однодетки.

Отец сердился,
Но хитрюга-мать
Грехи сынка умела прикрывать.
Вот и теперь, колючим взглядом глядя,

Как будто бы не зная ничего,
Заговорила слезно про него,
Кивнув на фото:
— Уезжает Вадя...
Покуда рос, был и душа и плоть,
Завел жену —
Отрезанный ломоть...

На карточке,
Вниманье привлекая,
К Вадиму льнула женщина другая...
Как будто нож по сердцу полоснул,
Как будто гром по голове ударил,
Как будто молний огненные твари
Обвили грудь и задушили гул.
Забыла все, очнулась в жути дремной
На берегу,
На половине темной.

Там омут был.
Черней, чем эбонит,
Он притягал Наташу, как магнит,
Как взгляд удава свою жертву манит.
О, красота!.. Недаром говорят,
Что пожилых страдания дурнят,
А молодым их красоту чеканят.
Она была красива, несомненно,
Но красотой теперь
Уже надменной.

Ни горьких слез,
Ни жалостного вздоха.
Что скажешь ты мне, милая эпоха?
Ведь на земле все та же маета,
Хотя века над миром пролетели.
О, сколько женщин,
Как она, глядели
В холодные речные омута!
Но не у всех у них, как у Наташи,
Невидимый хранитель
Был на страже.

Высокая,
Она наверняка
И на себя глядела свысока,

Чтоб умереть, собой пренебрегая,
Уже ступила на ступени дна,
Вдруг ощутила то, что не одна,
Что с ней уходит вместе жизнь другая,
И эта жизнь уже,
Как выкрик с мест,
Активно выражала
Свой протест.

Все это
О Жуановой супруге
Я в Марьевке пишу, а не на юге,
На той пишу Назаркиной горе,
С которой видно, как, углы меняя,
Бывает своенравной речка Яя
В дождливой предуборочной поре.
Вчера услышал с берега стенанья,
Что утонула
Липецкая Таня.

Ах, Таня!..
Шестиклассница всего,
Жила напротив дома моего,
Мне довелось улыбкой с нею знаться,
С утра в подмогу маме, говорят,
Она пасла у берега телят,
А вечером решила искупаться.
По выходе на берег окунулась,
Нырнула вновь
И больше не вернулась.

Ах, Таня, Таня!
Мне бы жизнь воспеть,
А не твою бессмысленную смерть.
Найти ей оправданье просто негде.
Помощница, телят не допасла,
Не доучилась и не доросла
До счастья жизни и ее трагедий.
Уж лучше бы над омутом она
Стояла,
Как Наташа Кузьмина.

А у Наташи,
Повернувшей круто,

К спасению была одна минута,
Одна минута, но она была,
Чтоб заглянуть в глаза
Манившей бездны,
Чтобы подняться
На́ берег отвесный,
Любовью прежней выгорев дотла,
А за любовью, преданной сожженью,
Судьба сулила самоотверженье.

Да неужели
В этот ураган
Ни разу ей не вспомнился Жуан?
Нет, вспоминала и впадала в жалость,
Но, если же по совести сказать,
Ей стыдно было даже вспоминать,
А встретиться тем более боялась,
О чем Жуан узнал и что сначала
Его еще сильней ожесточало.

Как мысленно,
Переживая стресс,
Хватал он шпаги мстительный эфес,
Что думал он в часы своих терзаний,
Униженный, в позоре и стыде,
Узнал я из допросов на суде,
Из протоколов первых показаний.
Так, защищая честь своей семьи,
Не избежал он
Роковой скамьи.

Весь день
Без суеты и без помехи
Жуан сурово проработал в цехе,
Цех стал спасеньем друга моего,
Где, горю и тоске не потакая,
Железная работа заводская
На время отвлекала от всего:
То калька,
То шаблон,
То к мысли повод,
Глядишь, задаст
Какой-нибудь шпангоут.

Закончив смену,
В тягости души
Он разбирал к уходу чертежи
И чередил на новый день по плану,
Вдруг из-под них
Предвестьем новых бед
Упал незапечатанный конверт,
Коротко адресованный: «Жуану»,
А в том конверте — сложенный листок,
Имевший пять
Машинописных строк.

!!!! Вот так в начале,
Как ножи в замахе,
Стояли восклицательные знаки.
«Я знаю, ты не трус и не святой,
Так почему же миришься с позором?
Сегодня в десять вечера на скором
Уедет подлый оскорбитель твой.
Отмсти!!!!»
Вновь за призывом наказанья
Стояли те же знаки восклицанья.

Еще без мысли,
Но Жуана взгляд
Уже вцепился в темный циферблат.
«А кто так страждет за мои обиды?»
Перечитал записку, и тогда
Узнал он без особого труда
Высоковольтный стиль Аделаиды.
О чем подумал,
Неизвестно нам,
Но только взгляд
Опять прильнул к часам.

Непостижимо!
Изумляться надо,
Что ту записку написала Ада,
Любовница, покинутая им.
Подумать, для любви и любований
Такая амплитуда колебаний!
Обидчик злой, он все же был любим,
Хоть с появленьем у него Наташи

Любим любовью
Родственницы старшей.

Как у металла,
Если он нагрет,
У истинной любви один лишь цвет,
Горячий цвет, и отклоненья редки,
Точнее, он бывает только ал,
А холодеть начнет, как и металл,
Любовь являет разные расцветки:
Малиновый сойдет на темно-синий,
А синий низойдет
До черной стыни.

Есть женщины
Душевной темноты,
А есть негодницы из доброты.
Они воображают все несчастья,
Которые на милого падут,
Чтоб оказаться рядом, тут как тут,
И проявить душевное участье.
Скажу, не трогая оттенков всех,
Была Аделаида
Не из тех.

Для выдумки любви,
По-детски смелой,
Была Аделаида слишком зрелой
И слишком опытной, добавлю я.
Нет, в ней любви воспоминанья жили,
А раз его, Жуана, оскорбили,
Считала оскорбленной и себя.
Не потому ли, что добро являют,
Таких добряшек
Чаще покидают.

Опасно зло,
Опасней во сто крат
Бывает благородство невпопад.
Когда бы Ада не казалась правой,
А виделась коварной, сердце в нем
Не вспыхнуло бы гибельным огнем,
Не отравилось мстительной отравой.
Теперь же, от укора сам не свой,

Он тотчас заспешил...
Куда?
Домой!

— Зачем домой?! —
Вы тоже удивитесь
И скажете, наверно:
— Экий витязь! —
А между тем Жуан почти бежал,
Трамвай попутный на пути приметив.
Он в этот миг и сам бы не ответил,
Зачем в свою каморку поспешал.
В ней было все печально и уныло,
Пустынно было,
Одиноко было.

Сначала он ходил,
Не зная сам,
Что нужно затуманенным глазам,
О чем томился в беспредметной думе,
Но, проходя в огляде все подряд,
Нечаянно остановил свой взгляд
На новомодном праздничном костюме.
И он решил,
Что в битве даже с блудней
Не подобает быть
В одежде будней.

Под цвет к нему,
Носимому нечасто,
Сорочку выбрал он и выбрал галстук,
По моде крупный узел завязал,
Сменил ботинки общего топтанья,
Как будто шел к любимой на свиданье,
А не крушить Вадима на вокзал.
Хотя и новой ожидалась стычка,
Сказалась все ж
Дворянская привычка.

Он знал врага,
Но знаньем прежде скрытым,
По фотографиям, к стене прибитым,
На двух из них с Наташей тот сидит,

Гордясь соседством
И, должно быть, млея,
Всем напряженным обликом имея
Что ни на есть десятиклассный вид.
Сорвал, хотел их разорвать,
Но вновь
Подумал с болью:
«Этот невиновен!»

Нет, нет, не этот,
А совсем другой
Призвал Жуана к встрече роковой:
Подлец и лжец, играющий на вере,
Невинных заставляющий страдать,
Выслеживать себя,
Ревниво ждать
Под фонарями в привокзальном сквере,
К тому удобном, чтоб иметь обзор,
Но экономно узком,
Как Босфор.

Перед любой бедою,
Вплоть до драки,
Природа часто подает нам знаки,
Лишь надо быть внимательнее нам,
А мой Жуан, прямой,
Почти что фрачный,
Стоял в тени с решительностью мрачной,
А если бы взглянул по сторонам,
Прозрел бы там
В обычных голых сучьях
Переплетенья
Проволок колючих.

Но мститель,
Обратив свое лицо
На шумное трамвайное кольцо,
Не замечал пророческого знака,
Он зорко на трамваи все глядел:
Уже четвертый, пятый отзвенел,
Матроса с ними не было, однако
В нем не слабел решительный настрой,
Тем более
Что близился шестой.

Трамвай звенел,
Рассвеченный и быстрый,
С его дуги во тьму летели искры.
Вот завернул и встал,
И в рельсы врос,
А из дверей, как самою победной
Из катера торпедного торпедой,
Одним из первых вылетел матрос.
Так вылететь на этот раз, наверно,
Не помогала
Марфа Тимофевна.

Жуан его
На вылете засек,
Измерил взглядом:
«Хоть и невысок,
Все ж, кажется, нахальный и здоровый».
В нем не узнал он с фото паренька,
Как не узнать зеленого дубка
Под огрубелою корой дубовой.
Но даже в свете зыбком, как неон,
В сознанье утвердилось:
Это «он».

Вадим спешил,
Не склонный к передрягам,
А тут к нему Жуан особым шагом.
Нужны, однако, крупные мазки,
Чтобы представить сразу всю картину:
Шел, голову кудрявую откинув,
Легонько нажимая на носки;
Шел напрямик пружинисто, но веско.
Как он поступит?
Он поступит дерзко.

Для встречи
Им был выбран тот момент,
Когда противник выходил на свет,
С тем чтоб ошеломить приемом верным.
Вадим успел отставить чемодан.
Жуан к нему вплотную.
— Я Жуан!
— И что?

— А вот что! —
И ударил первым.
Была крепка гордеевская кость,
К тому же и удар
Пришелся вскользь.

— Полундра! —
Хоть и быстрый,
Но приметный
К Жуану полетел кулак ответный,
Другой бы от него, наверно, сник,
Но от удара при таком заносе
Друг знал прием,
Используемый в боксе,
Так что противник цели не достиг.
За этой первой стычкою, однако,
И началась
Отчаянная драка.

Теперь они сцепились
Грудью в грудь,
Глаза в глаза,
Да так, что не моргнуть.
— Прощайся с жизнью, выродок
проклятый! —
Хрипел Жуан в неукротимом зле
И, изловчась, ударил по скуле,
Когда Вадим шатнулся на попятный.
Но и тому, впадающему в злость,
Ударом хитрым
Врезать удалось.

Запахло кровью —
Той, что вечно в трате,
Той алой, что всегда
За все в расплате:
За жизнь и честь,
За истину и ложь.
Сейчас она окапала нежданно
Сорочку белоснежную Жуана.
Торжествовал подлец,
А все ж, а все ж,
Как ни хитри он хитростью лукавой,
При равной силе побеждает правый.

Жуанова губа
Кровоточила,
Но это лишь его ожесточило,
Зато теперь Вадим Гордеев, в ком
Для битвы цели не было и жажды,
Свое лицо ему подставил дважды
И дважды повстречался с кулаком.
Он только зашатался, глядя тупо,
И выплюнул
Два драгоценных зуба.

Я видел
Драку злобную собак,
Я видел в ранней молодости, как
Дрались два жеребца непримиримо.
Читатель мой, не горько ли, пойми,
Такое же увидеть меж людьми.
Жуан лишь свирепел и бил Вадима,
Уже и нос ему сровнял с губой,
Но все же продолжался
Смертный бой.

Жуан не видел,
Как народ собрался,
Как кто-то разнимать их попытался,
Жуан не слышал, как по мостовой,
По улице,
По скверу
Бегом быстрым,
Подбадриваясь милицейским свистом,
Бежал, запаздывая, постовой.
Вадим уже упал с кровавой маской
И вывернутой
В сторону салазкой.

Вадим лежал.
Жуан стоял хмельной,
До боли потрясенный тишиной.
И понял он по напряженным лицам,
По голым веткам у барьера тьмы,
Что между ним, и миром, и людьми
Уже прошла незримая граница.
И только с тем одним,
Упавшим наземь,

Еще как будто
Сохранялись связи.

Вадим лежал.
Жуан стоял над ним,
Тоской и человечностью томим:
Позор был смыт,
Но легкость от успеха
Сменилась горькой тяжестью потом,
Что наказал прохвоста, а в самом
Его же боли отдается эхо.
Такая человечность выше права,
Есть в человечности
Своя отрава.

— В чем дело? —
Вопросил порядка страж
И, охватив всей драмы антураж,
В Жуане быстро разгадал убийцу,
Но, деловитый, был хоть и безус,
Прощупывая у матроса пульс,
— Связать бандита! —
Бросил бригадмильцу,
Прислушался с гримасою кривой
И удивился:
— Кажется, живой!..

— Кто был свидетель? —
Публика молчала.
— Кто, повторяю, видел все с начала? —
Опять не отозвался ни один,
Иные даже расходиться стали,
Когда же друга моего связали,
Старушка появилась из-за спин
И назвалась, лицо свое заботя:
— Пишите...
Худокормова Авдотья.

Связали друга
Лишь за то, что он
Был очень уж расхристан и страшон.
Сорочка кровенела после драки,
А красный сбитый галстук, моды крик,
Дрог на плече Жуана, как язык

От бега запалившейся собаки.
С готовностью,
Неслыханной в бандите,
Он с хрипом молвил:
— А теперь ведите!

У двух машин,
Что привлекли зевак,
На каждой виден был особый знак,
Отчетливый и по значенью четкий.
Вадима увезли из-под куста
Под знаком милосердного креста,
А друга в черном кузове с решеткой.
С ним, даже связанным,
Скажу меж делом,
Авдотья Худокормова не села.

Люблю слова.
Их смысл всегда мне нов,
Но есть среди бродячих звучных слов
Слова со смутной смысловой нагрузкой.
К примеру, лишь с намеком на исток
Уютный милицейский закуток
В народе прозывается *кутузкой.*
И надо же!.. Эпоха созиданья,
А держатся
За старые прозванья.

В милиции,
Когда ведут опрос,
Доставкой именуется привоз,
А вот задержка значится приводом.
Все это, как заметил я потом,
В ближайшем отделении седьмом
Писалось и звалось таким же родом.
В нем, раз уж отделеньем называют,
Кого-то
От кого-то
Отделяют.

Здесь,
Если говорить про интерьер,
Уже при входе видится барьер,
Локтьми отполированный до блеска,

В той полировке — трепещи, злодей! —
Была работа и моих локтей,
О чем теперь и вспоминать-то мерзко.
Одно лишь извиняет сердца траты,
Что не всегда
Бывал я виноватым.

Не утаю,
Скажу себе в укор,
Любил я заводить застольный спор,
В азарте доходить до утверждений,
Что я родной поэзии Атлант,
Что я еще непонятый талант,
Черт побери, а может быть, и гений!
Понять все это люди не могли,
Вот почему
Сюда и волокли.

Но как-то
При моей защите бурной
Заметил мне находчивый дежурный:
— Ну ладно, пусть поэт и пусть пророк,
Не бредили, а шли в плену наитий...
Поверю, если что-то сочините,
Чтоб доказать,
Что варит котелок.—
Подумал я, закрыв лицо рукою,
И прочитал им
Горькое такое:

Скажу,
Невзирая на лица,
Маяковский лжет.
Моя милиция
Меня не бережет!

Дежурный — в смех,
Голосом веселым:
— Сварить сварил,
Но с явным пересолом! —
Однако попросил продиктовать,
А записав стихи, пришел к итогу:
— Поэта проводить к его порогу,
А за порогом шум не поднимать...—

Жаль!.. Не было дежурного того,
Когда вводили
Друга моего.

На этот раз
За горестным барьером
Порядком правил, судя по манерам,
Интеллигентный старший лейтенант,
Питомец школы позднего призыва,
Без лишних сантиментов и наива,
Аккуратист скорее, чем педант.
В нем виделся без фальши и уклонов
Гроза
Всех нарушителей законов.

Непререкаемый,
Как сам закон,
Снять путы с рук распорядился он,
Направил в туалет за коридором,
Чтобы Жуан обрел нормальный вид,
Смыл кровь, и грязь, и прочий реквизит
Убийц и хулиганов, при котором
Любая человеческая святость
Могла бы впасть
В недобрую предвзятость.

И все же
В милицейском туалете
Жуан не смыл постыдные соцветья
С лица почти цыганской смуглоты.
На нем в каком-то обновленном стиле
Еще заметней пятна проступили,
Похожие на странные цветы,
Как будто вынес
Свой портрет пятнистый
Из мастерской
Мараки-модерниста.

Здесь ни к чему,
Поскольку стих не проза,
Описывать формальности опроса,
Мы через кое-что перемахнем.
О том, как вел себя он ураганно,
Жуану было слушать как-то странно,

Как будто говорили не о нем.
Но тот, другой,
Его с собой сближая,
Влезал в Жуана,
Кровью ужасая.

Еще страннее
Был ему сейчас
Свидетельницы красочный рассказ,
Как он, Жуан, припрятался за светом,
Как шел матрос и что-то тихо пел.
— А этот из кустов вдруг налетел,
Перед матросом выставился фертом,
Я, говорит, жу-жу, и туча тучей
Шипел ему в лицо,
Как змей шипучий.

И все-таки,
Как ни смешон наив,
Рассказ Авдотьи в общем был правдив,
Поскольку по законам алфавита
Жуан с «жу-жу» звучанием похож,
Но дальше — больше, вот уже и нож
Блеснул в руках напавшего бандита.
Нет, здесь она слегка перехлестнула:
То не был нож,
То запонка блеснула.

Зато потом
В перипетиях зла
Авдотья снова точною была,
Жуана представляя мрачно-грозным:
— Я, говорит, таких не потерплю,
Что породил, то сам же и убью...
— Так было?
— Да, но в смысле переносном.
— Ах, негодяй, какой там перенос,
Когда перекосил
И рот и нос!..

Красиво,
Не крючки да закорючки,
А строчкой к строчке
Шариковой ручкой

Писал дежурный уже третий лист,
Теперь к Жуану повернулся круто
И молвил с удивлением:
— Конструктор! —
Как если бы сказал кому: «Артист!»
Затем Авдотье:
— Вы рисуйте сценки,
Но не входите в личные оценки.

Тот старший лейтенант,
Скажу в упрек,
К интеллигентам был особо строг,
Как свой к своим,
Что ж, это справедливо,
И я бы поступал, наверно, так,
Но вот беда — к проступкам работяг
Он относился слишком терпеливо,
А значит, неосознанно пока
Глядел на них
Как будто свысока,

Как будто
При поступках равно тяжких
Рабочий класс нуждается в поблажках.
Нет, милый, нет, не вымышляй элит,
Для всех бери одну святую меру,
С одною мерою одна и вера,
А потому суди, как честь велит.
Мы все, мы все, за редким исключеньем,
Интеллигенты
В первом поколенье.

Но лейтенант,
Напрасно я мечтал,
Моих стихов в то время не читал,
А четко шел по протокольной части.
Всех, кто сумел хоть что-то показать,
Заставил он прочесть и подписать,
Потом все в том же
Праведном бесстрастье
Повел рукой, не напрягаясь слишком,
И вот возникла магниевая вспышка.

А вспышка та
Была тому пример,

Что и сюда внедрялась НТР,
Хотя бы для мгновенных фотографий
По ходу дела в профиль и анфас,
Чтоб выставить народу напоказ,
Коль речь пойдет о большем, чем о штрафе.
Другою кнопкой,
Большею по чину,
Могли включить
Судейскую машину...

Жуан очнулся,
Ужаснулся он:
О, сколько в той машине шестерен!
Привыкший мыслить только конструктивно,
Мой друг, чтоб увидать без ворожбы
Простую арифметику судьбы,
Закрыл свои глаза интуитивно;
В тот закуток, уже воспетый нами,
Так и пошел
С закрытыми глазами.

Есть жизни ритм,
Любое нарушенье
В том ритме
Может привести к крушенью.
Так и случилось. Все пошло в излом,
Все покривилось в горестном зигзаге,
Все перенапряглось с клочком бумаги,
С пустым Аделаидиным письмом,
В котором та Жуана укорила...
Ах, Ада, Ада,
Что ты натворила!

В ком цели нет,
Тому и горя нет,
У человека цели больше бед.
Для дерзкого,
В ком есть свое «во имя»,
Кому начертан неизбежный путь,
С которого уже не повернуть,
Коль быть беде, она неотвратимей.
Трагедия тернового венца
И в наше время
Не для подлеца.

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Дракою горя не поправишь.
Русская пословица

У гениев
С их славою живучей
Цитаты мы найдем на всякий случай:
И «за» и «против», и у каждой вес,
И каждую цитату нянчит пресса.
Одна приветствует плоды прогресса,
Другая убивает весь прогресс.
Как все-таки при множестве резонов
Нам утверждать
Незыблемость законов?

А было время,
Когда пришлый Рим
Был своевольно претором судим,
Всего одним, умевшим мыслить здраво,
Проступки взвешивать, а вот теперь,
А вот теперь попробуй-ка доверь
То волевое преторское право!
Нет, нынче преступленья и пороки
Давно имеют
И статьи и сроки.

Еще до древнеримского закона
Законы были мудрого Солона.
В те времена для тех преступных лиц,
Которых кара римская карала,
Для писаных статей вполне хватало
Всего двенадцать каменных таблиц.
Сегодня свод законов так огромен,
Для них не хватит
Всех каменоломен.

О, слово русское!
Сойдешь с ума
От слова непонятного «тюрьма»!
Чужое мне, оно вообразимо,
Как яма на дороге, как провал.
Вот я о древнем Риме толковал,
А прокурор-то к нам пришел из Рима!

Не потому ли другу моему
Он до суда
Определил тюрьму?

Так думал я,
Не зная фактов многих,
Не понимая мер особо строгих.
Повсюду было слышно «ах» да «ох»,
Сочувствия, догадки, слухи вроде,
Что он убийца,— словом, на заводе
Произошел большой переполох,
Как годом раньше, в роковое лето
При испытанье
Нового объекта.

Нацеленный на высоту и скорость,
Тот самолет принес тогда нам горесть,
А не триумф в ряду других побед.
В одно мгновение почти отвесно
Ушел он вверх,
На синеве небесной
Оставив темный реактивный след...
И долго нам потом была заметна
На чистом небе траурная лента.

Да будет вечен
Миф о Фаэтоне,
О том, как в небе солнечные кони
Летели так, что небосвод дрожал,
Так, что прошли запретную границу,
А юный бог, стоявший в колеснице,
Тех солнечных коней не удержал.
Пределов нет!.. Они еще рванулись,
Но в тот же миг
О молнию запнулись.

У новых сил,
Открытых нами дерзко,
Своя для нас есть тайная отместка.
Земные Фаэтоны наших дней,
Овладевая силою могучей,
Мы самолеты этой силе учим,
Впрягая сразу тысячи коней,
А узнаем, увы, намного позже,

Какие хитрые
Нужны им вожжи.

Зато потом
Нас учит самолет
И поднимает до своих высот,
С мечтами жизни ускоряя встречи.
На том пути к сияниям вершин
Ужасна гибель опытных машин,
Ужасней катастрофы человечьи.
При гибели идей
Среди последствий
Страшней всего
Топтание на месте.

Жизнь, мать моя,
Люби и береги
В любой борьбе идущих впереди
И первыми вступающих в сраженье.
Нельзя все продвигаться, мчась и мчась.
Всегда, чем больше войсковая часть,
Тем медленней бывает продвиженье.
Скажу в итоге, выражаясь метче:
Во всяком деле
Впереди разведчик.

Вот почему и вызвало волненье
Нелепое Жуаново паденье.
Мы все в его хмельные виражи
Не верили, подозревали шалость.
Так много новых линий прозревалось
На добром чертеже его души,
А более того — особо важных
Пока еще набросков карандашных.

В милицию,
Перешумев станки,
Звонили телефонные звонки,
Чтоб оградить Жуана от порухи.
Весь цех о нем просил, как ни о ком,
Бумаги переслав через завком,
Чтобы его отдали на поруки,
С гарантией, что мудрый коллектив
Задушит в корне
Этот рецидив.

День проходил, второй —
И все сначала.
Машина доброхотная стучала,
Внушая самой белой из бумаг,
Что у Жуана — светлый ум, призванье,
Отзывчивость, любовь к труду и званье,
А было-то, действительно, все так.
«И при наградах,—
Скажет мне завистник,—
Не пишется
Таких характеристик».

В пустых надеждах,
В похвалах без края
Прошла неделя, началась вторая,
Но даже и такой авторитет,
Как наш директор
С мудрым лбом бугристым,
Входивший запросто ко всем министрам,
Не получил желательный ответ.
Все попусту! На наши упованья
Не отвечали
Органы дознанья.

Не одолев какие-то препоны,
Машинки стихли, даже телефоны,
Да и цехком собрал весь кворум свой
Без шума, без повестки широченной.
Цехкома обезглавленные члены
Хотели быть обратно с головой,
Хотя и не пытались скрыть, к их чести,
Что в этой роли был Жуан на месте.

Стал головой
За друга моего
Застенчивый предшественник его,
Имевший право жить в большой квартире,
А он, как помните, стыдясь, молчал,
В дверь обязательную не стучал,
За что товарища и прокатили.
Жуан тогда помог, теперь у зала
Не избирать его
Причин не стало.

Все объяснялось
Гробовой доской,
Дежурившей в больнице городской,
Пока Вадим на грани был опасной,
Да и теперь, воскресший от шприца,
С первичной реставрацией лица,
Был все еще для следствия безгласный.
Его, не покладая чутких рук,
Неделю штопал
Опытный хирург.

Оберегая мускульные связки,
Тот возвернул Вадимовы салазки,
И только после принялся за нос,
Вернее, то, что называлось носом,
С таким невероятным перекосом,
Хоть сразу отсекай, да и в отброс,
Что для хирурга и не важно вовсе,
Лишь были бы хрящи при этом носе.

Конструктор жизни,
Плоти властелин,
Он мял ее, как скульптор пластилин
И мнет и гладит, нежно притирая.
Хирург трудился долго, но не зря,
Вот появилась первая ноздря,
Вот обнаружилась ноздря вторая.
Все ладно бы, однако в том каркасе
Вадима лик
Был все еще ужасен.

На этой стадии,
Пока что трудной,
И появился следователь юный,
Не зубр,
Не дока,
А всего стажер,
Как все они, мечтавший о великом,
Учившийся уже по новым книгам,
А потому не знавший прежних шор,
С тем, чтобы при любом судебном иске
Был идеал решений
Самый близкий.

Смышленый юноша уже писал
Статейки в юридический журнал,
И вот теперь с прилежностью похвальной
Спешил сюда к тому, кто претерпел,
Хотя в душе, конечно, сожалел,
Что случай выдался почти банальный,
И даже удивился, что хирург
К Вадиму допустил его не вдруг.

Любой художник
В крайней неохоте
Ведет нас к незаконченной работе,
Боясь опошлить таинство труда,
Боясь от нас придирчивости мелкой.
Когда в лице такая недоделка,
Он все-таки сгорает от стыда
От одного сознанья, что скульптуры
Так далеки
От подлинной натуры.

Вадим был жив,
В конечном счете он
Понес лишь эстетический урон,
А вот как выглядел, судите сами,
Коль харьковский стажер спросил о нем:
— Так сильно?.. Да неужто кистенем?!
— Нет, — отвечал ваятель, — казанками! —
И показал у собственной руки
На сжатых пальцах
Эти казанки.

Будь следователь
Трижды беспристрастен,
Он заключил бы, что Жуан опасен.
Хоть не доказана была вина,
Хоть было далеко до обличенья,
Но мера, названная *пресеченьем,*
Уже была к нему применена.
Мечтал он благоденствовать в семье,
А очутился
В каменной тюрьме.

Тюрьма
По образцу тюрьмы московской,

Имевшей славу «тишины матросской»,
Здесь называлась просто «тишиной»,
Что было понимать намного проще,
Поскольку примыкала близко к роще
Высокой смутноглазою стеной.
Она по виду не казалась мрачной,
Но не шибала
И на комплекс дачный.

Как на заводе,
Там ему родная,
И здесь его встречала проходная,
Но только пропуск нес за ним другой,
А дверь стальная голосом державным,
С большим ключом,
И в наши дни не ржавым,
Проскрежетала о беде людской.
И не было печальнее на свете,
Чем были для него
Минуты эти.

Уже в тюрьме
Испанских грандов отпрыск
Сначала отдан был на строгий обыск,
Потом сфотографирован, смурной,
Потом, чтоб не играл с законом в прятки,
С красивых пальцев отдал отпечатки
И побыл в бане, правда, без парной.
Как видите, преследуя заразу,
Здесь водворяют
В камеру не сразу.

Казалось,
Беды лишь теперь настигли,
Когда его, кудрявого, постригли,
О чем скажу особо, без помех.
Хоть в правилах, властями утвержденных,
Острижка значилась для осужденных,
Здесь остригали поголовно всех,
Но из подследственных о малом горе
С начальником тюрьмы
Никто не спорил.

Он был неузнаваем
В то мгновенье —

С глазами оскорбленного оленя,
Бежавшего на зов издалека,
Которому за вольность похождений
Из высших и гуманных побуждений
Спилили благородные рога.
Так мой Жуан в своей тоске безмерной
Стал тридцать первым
В камере тюремной.

В ней с двух сторон,
Загородив простенки,
Железные стояли этажерки
В двух ярусах,
А полки — в два крыла,
И каждая для бедного Жуана
На образ допотопного биплана
Нелепостью похожая была.
На них какой-то странный вид имели
Заправленные с хитростью постели.

Они имели,
Без морщин и складок,
Такой геометрический порядок,
Тот вечный ряд, который дли и дли,
И каждая одно изображала,
Как будто в длинной куколке лежала
Египетская мумия внутри.
Все было чисто, вымыто отменно,
А все же где-то втайне
Пахло тленом.

Не дай вам бог,
Читатель мой любезный,
Вдыхать вот здесь
Застойный пот телесный,
А более того — душевный пот.
И все-таки при обработке долгой
Телесный пот сбивается карболкой,
А пот души карболка не берет.
В процессе воскрешенья и распада
Из душ больных
Выходит много яда.

Казалось бы,
Откуда взяться поту,

Когда почти что школьную работу
Все тридцать делали за свой урок.
В большом застолье,—
В клейке — идеальным,
Пакеты клеем клеили крахмальным
С их фирменной эмблемою «Сибторг».
За двести штук у каждого, вестимо,
Был свой особый
Да и общий стимул.

Их староста,
По виду плут типичный,
Хотя и плут, но человек практичный,
Жуана сразу приобщил к труду:
— Укладывай-ка, друг, свою котомку,
Садись да клей, да не особо громко
Рассказывай, на чем попал в беду...
— Хи, — подмигнул чернявый, рот осклабя, —
И без рассказа видно,
Что на бабе.

Есть и в цехах и в тюрьмах хохмачи.
— Ты, Итальянец, лучше помолчи,
Дай человеку место на скамейке!..—
Тот староста из-под своих начал
Не выпускал весь стол, на всех бурчал,
Не отрываясь от пакетной клейки.
Жуан присел с горчайшей из гримас
И начал тихо клеить свой рассказ.

В его рассказе
Не ахти как складно
Перемешалась с правдою неправда:
Портвейн,
Потом сучок,
Потом стручок,
Потом уже — по версии допроса,
Бог весть за что почти убил матроса,
А про Наташу там и тут — молчок.
«Нет,— думал,— лучше отсижу я лишку,
Чем грязное свое трясти бельишко!»

Поверили не все.
По крайней мере

Чернявый Итальянец не поверил.
— Вот он зазря испытывал судьбу,—
Кивнул на старосту со лбом Сократа,—
Всего пять тысяч — разве же растрата,
Нет, нет, растрата явно не по лбу!
Не тот пошиб, не тот определенно.
За что страдаю я?
За миллионы!

Есть странные
Особенности в быте:
При каждом маломальском общежитье,
При коллективе, мал он иль велик,
С образованьем,
Без образованья,
Со славой большей должностного званья
Имеются философ и шутник.
Философу — хоть свадьба,
Свадьбу судит,
А шут при нем
И на пожаре шутит.

За шутника, должно, чернявый был,
За мудреца же староста здесь слыл,
Спокойный, рассуждавший не впустую.
Сказал он кратко и на этот раз,
Жуана тихий выслушав рассказ:
— Имей в виду статейку сто восьмую,
Часть первую, а за нее, дружок,
Легко схватить и восьмилетний срок.

Друг-покупатель,
Если в магазине
Расклеится пакет с эмблемой синей,
Виновен в том Жуан, не кто другой,
Лишь потому, что он в минуту эту,
Отчаясь, злополучному пакету
Края помазал дрогнувшей рукой.
Меж тем закон к его житейской драме
Располагал еще пятью статьями.

Среди причин,
Смягчающих вину,
Всей камерой искали хоть одну,

Которая сказалась бы счастливо,
Но знавшие статьи по их частям,
Все комментарии ко всем статьям,
Не отыскали нужного мотива.
— А ревность? —
От наивности вопроса
Опешил даже староста-философ.

Статьи законов
Пишут не поэты,
А потому и ревности в них нету,
Ведь ревность — пережиток дней былых,
В которой признаваться неприлично,
Но в практике она, хоть и частично,
Допущена в понятиях других,
Ну, скажем, вот таком,
Как оскорбленье,
Когда взбурлит
Душевное волненье.

Так в первый раз
Жуан прослушал впрок
Свой первый юридический урок,
Открыв себя, как школьную тетрадку,
Запоминая памятью своей
Все, все — от лиц и названных статей
До «Правил внутреннего распорядка»,
Догадливо наклеенных в углу,
На видном месте,
Ближе к санузлу.

В тех правилах,
Что строго непременны,
Оберегались камерные стены
От вырезок, от надписи любой,
А тут Жуан увидел нарушенье,
Перед окном такое украшенье,
Которое узрел бы и слепой:
Для глаз ошеломительней удара,
Там было нечто
В духе Ренуара.

На высоте окна
Перед решеткой,

В пристойной позе
И с улыбкой кроткой,
Но в то же время в полной наготе,
Чуть-чуть бочком, скрывая стыд умело,
Смазливенькая дамочка сидела
С ладошкою на зрелом животе.
Все на нее повылупили зенки,
Как будто гостья
Вылезла из стенки.

Уже ЧП.
Была та дама скоро
Замечена дотошным контролером,
А это приключилось в той поре,
Когда, за спинами сцепивши пальцы,
Той камеры жильцы и постояльцы
Гуляли на прогулочном дворе.
Начальство поступило слишком строго,
Вернув их, грешных,
В камеру до срока.

Виновника нашли
Без всяких мытарств,
Тщеславного само тщеславье выдаст.
Так и случилось, не смолчал талант,
Который наконец-то пробудился.
И надо ж, на художника учился,
А получился крупный спекулянт,
Сплавлявший за рубеж через кордоны
Какие-то старинные иконы.

— Стереть и смыть! —
Художнику за шалость
Пять суток гауптвахты полагалось,
Но камера вступилась — дескать, мы
Не станем лучше, если будет смыта.
Просили контролера, замполита,
Дошло и до начальника тюрьмы,
И снова с просьбой
Староста-молчальник:
— Оставить просим,
Гражданин начальник.

Никто не знал,
Что бравый подполковник

Был всякого художества поклонник,
Стихами увлекался, как юнец.
На даму долго он глядел с усмешкой,
Изъяны в ней оправдывая спешкой,
Задумался на миг и наконец
Сказал, ни в чем не углядев распутства:
— Хоть не шедевр,
А все-таки искусство!

Большой начальник,
Властью облеченный,
Почти всегда добрей,
Чем подчиненный.
Уже не гауптвахту, а барыш
Имел барышник после дерзкой ночи.
Еще бы, у него в глазах всех прочих
Поднялся человеческий престиж,
К тому же, уже будучи прославлен,
Через неделю
Был в Москву отправлен.

Недоставало друга
В новом списке,
Пусть был бы и не друг,
А просто близкий,
С кем поделился б горьким горем, в ком
Сочувствие нашел бы промах явный.
Жуану приглянулся тот чернявый,
Прослывший зубоскалом-шутником.
Заметил при одной из ситуаций,
Что был и сам
Не чужд для Итальянца.

Тот не таил,
Довольный разговором,
Как стать мечтал международным вором,
Иметь свой миллион, свой лимузин
И наконец, мечтая, домечтался:
В счастливую Италию подался,
Ограбив ювелирный магазин.
— И вот я там!..
— А как без языка-то?
— Язык — пустяк:
Evviva folporato!

Припоминая города и встречи,
Признал он, что смущала быстрость речи,
Что все как пулеметами палят,
Что все слова как пули вылетают.
— Когда они подумать успевают
О том, о чем так быстро говорят?!
А впрочем, там,— сказал не без бравады,—
Пока есть деньги, языка не надо!

Пока в кармане был родной запас,
Жизнь улыбалась мне, но пробил час
Переходить на местные караты...
В Италии, скажу, не то, что тут,
Там в одиночку люди не крадут,
А создают сначала синдикаты.
Мне коллективность их была странна:
Вот вам и буржуазная страна!

Я тоже не дремал,
Не спал все ночи,
Пока не ухватил свой миллиончик,
Ну, думаю, теперь гуляй и пей,
Но в этих лирах, боже, еле-еле
Его хватило мне на две недели
При всей советской выдержке моей.
На хлопотах о новом миллионе
Меня потом
Застукали в Болонье.

Тюрьма там, бр-р-р,
Заклятого врага
Не поместил бы в ней у потолка
На третьей полке
Спальни трехэтажной.
Туда и залезать-то — маета,
А влезешь — ну, такая духота,
А теснота, ее и вспомнить страшно.
Нет, все-таки у нас,—
Вошел он в раж,—
Преступность ниже
На один этаж!

Конечно же,
Рассказ про Интерполо [1]

[1] Интернациональная полиция.

Не песня о Франческе и Паоло,
Но им владела истинная страсть,
Ему судьбой подаренная слепо.
Жуан подумал: «Все же как нелепо
Растрачивать ее на то, чтоб красть,
В тюрьме Болоньи обливаться потом,
В свою вернуться
Вором-патриотом!»

Еще он думал:
«До каких же пор
Останутся и вор и прокурор,
Ученые юристы, адвокаты,
И судьи, и помощники судьи?
Неужто так и будут все идти
Ума и сил чудовищные траты?»
Вопрос не столь глубокий,
Сколько страстный,
Но для раздумий
Не такой уж праздный.

Суть добрых перемен
Всегда — в законах.
Среди преступников традиционных
Был социально новым некий Зам,
Зловредными отходами завода
Круглогодично отравлявший воды
Большой реки, бегущей по лесам;
Хотя и знал, что в ней давно не удят,
А все не верил,
Что за это судят.

А рядом с ним,
Худой и тонкокожий,
Лицом на Грибоедова похожий,
Сидел иезуитик-клеветник,
Постыдно оболгавший —
В том и штука! —
Не власть,
Не строй,
А собственного друга,
За что и поплатился.
Тоже сдвиг!

Весь год ждала, в безделье пребывая,
Статья его сто тридцать,
Часть вторая.

И вот к Жуану
Этот людо-змей
Стал прибиваться с добротой своей.
Открытый дружбе и любви обычно,
Но все ж наметанный имея глаз,
Доверчивый Жуан на этот раз
Ответил гордо и категорично:
— Не разбойник,
Не вор,
Не ябеда,
Я не вашего поля ягода!

Здесь в камере,
Где упреждают зло,
Где всюду глаз, и речи не могло
Идти о клевете или доносе,
Но невзлюбив, как невзлюблял досель,
Под строгую Жуанову постель
Он карту самодельную подбросил,
Ехидно улыбнулся в полгубы,
Когда Жуан
Отправлен в карцер был.

Мне в карцере
С его площадкой малой
И описать-то нечего, пожалуй,
Всего пять строк достаточно вполне:
Вот каменная тумба в том уделе,
Где ночью быть лежанке без постели,
А в прочий срок примкнутой ко стене,
На полке хлеба кус не мягче тола
Да горстка соли
Грубого помола.

На тумбу сел он
С мыслью той курьезной,
Что это все пока что не серьезно,
Что это все случайно, все шутя,
Что главное еще придет позднее,
Что станет все понятней, все яснее.

Не думало ль наивное дитя,
Что в эти уголки уединений
Приводят всех
Для мудрых размышлений?

В суровости,
В игривости затей
Воспитывайте мысли, как детей
Воспитывает опытная няня:
До той поры питайте мысль душой,
Пока не станет мудрой и большой,
Способной на великие деянья,
Способной в жизни доброе творить,
Другие мысли
В людях породить.

Еще скажу,
Без страха впасть в ошибку:
Без мысли зрелой наше чувство зыбко,
В нем стержня нет,
Как в молодой траве,
Сникающей по ветру то и дело.
Когда-то голова служила телу,
А нынче тело служит голове.
Забыла голова, вскружась по чину,
Рожденья своего
Первопричину.

К несчастью,
Кибернетика сама
Несет конец развитию ума,
Дает предел достигнутым вершинам.
Настанут дни, мы будем тосковать
О том, чтобы самим помозговать,
А не бежать с вопросами к машинам.
И мой Жуан решил,
Чтоб мысль возвысить,
Все передумать,
Все переосмыслить.

«Зачем я лгу?
Зачем я фордыбачу?
Зачем же сердце от себя я прячу?
Какое счастье женщину любить,

Когда она тебя страстями полнит!
И если мое тело ее помнит,
То как же голове моей забыть?»
Так думал он не раз,
И все сначала
Меж тем в душе
Назойливей звучало:

Долго ждать не могу,
Помани — прибегу
И опять постучусь в твои двери.
Скажешь, будто ждала,
Будто верной была,
Я и лжи твоей подлой поверю.

Даже то не зачту,
Что увидел не ту,
С синевою опущенных век,
И прощу, что с тобой
Оставался другой,—
Знать, такой на земле человек!

Не аукай — ау! —
Прибежать не могу,
Не могу в твою дверь постучаться,
Но, как призрак в ночах,
Со слезой на очах
Буду, буду к тебе я являться...

Вдруг звякнул ключ.
Жуан многострадальный
Успел прервать мотив сентиментальный,
Встать у стены с руками за спиной,
Но надзиратель, кажется, не строгий,
Не поднял из-за песенки тревоги,
А лишь кивнул на дверь:
— Иди со мной.—
И повели певца куда-то спешно,
Не в студию грамзаписи, конечно.

Его вели на новый, и всерьез
Стажером подготовленный, допрос,
Отложенный так надолго, вестимо,
Из-за незнанья службы и семьи,

Из недостатка разных справок и
Плохой речеспособности Вадима.
Хоть речь уже и удалось поправить,
Зато куда-то подевалась память.

Помог стажеру,
Дело полиставший,
На вид ленивый следователь старший,
Не Шерлок Холмс, на выдумки не резв,
На фото глядя, раззевался даже.
— Лицом-то, как пьянчуга, изукрашен,
А вот глазами... А глазами — трезв!..
Не говорю, что случай эпохальный,
Но, юный друг мой,
Явно не банальный.

И появились у Жуана в деле
Бумаги в новом, так сказать, прицеле:
Здесь были показанья разных лиц,
Свидетельства врачей,
В соседстве близком
Записка Ады с донжуанским списком,
Представить только, в несколько страниц.
Вот так солгавший — да не будет ложен! —
Как дикий зверь,
Был фактами обложен.

Жуан жалел,
Что шаг излишне скор,
Что не длинен служебный коридор,
А то бы шел и шел до дальней дали,
Вдыхая тонкий аромат духов,
Когда легко, как бабочки лугов,
Девчата в мини-юбочках порхали,
Осуществляя связь между пороком...
Простите,
Между дьяволом и богом.

Стажер-очкарь,
Надежда института,
Свои психологические путы
Сплел заново и переплел аркан.
С улыбкою далекого значенья
По имени назвал без усеченья:

— Входите и садитесь, Дон-Жуан!..—
Жуан вначале несколько опешил,
Но общий добрый тон
Его утешил.

Еще сказал стажер,
Но без улыбки:
— Вас в карцер посадили по ошибке,
Вы не картежник, согласитесь — нет,
У вас другие страсти и призванья...—
Стажер ошеломлял Жуана знаньем,
Внушал, что на событья пролит свет,
Что обнаружены меж ними связи,
Что нечто есть
Особое в запасе...

— А вы обманщик! —
И взмахнул арканом.—
В тот мрачный вечер
Не были вы пьяным,
Что, кстати, усугубило б вину,
А если вы в тот вечер трезвым были,
Тогда зачем себя оговорили? —
И повертел записочку одну.
Жуан упал бы, если бы не крепко
Привинченная к полу табуретка.

— Тут анонимка. Видели?
— Да, видел.
— В ней про обиду; кто же вас обидел?
— Безделица!
— Безделкам счет иной,
Для следствия безделиц не бывает,
А главное и время совпадает...
Нет, вам пооткровенней бы со мной! —
Жуан и сам дорос за время это
До полной откровенности поэта.

— Ну, хорошо! —
Заговорил он четко.—
Моей обиде не страшна решетка.
В любви я самолюбья не скрывал,
Но женщина, как ни дурна собою,
В моих глазах не может быть плохою,

Коль я ее хоть раз поцеловал.
Прошу учесть, что ни к добру, ни к худу
Имен я женских
Называть не буду.

История любви,
Почти былинной,
Стажеру показалась длинной-длинной,
Но страстную не прерывал он речь,
В душе благословляя случай этот,
Родивший, как он думал, новый метод:
Сначала удлинить, потом отсечь.
Жуан, казалось, нес,
И все заметней,
Какие-то мистические бредни.

Стажер все слушал,
А когда дослушал,
Еще одну ошибку обнаружил:
«Что отпустил Вадима, это срам!»
Боясь огласки,
Тот, как мать велела
Не возбуждать против Жуана дела,
Спеша уехать, показал, что сам
В случайной драке, будучи не старым,
Ответил на удар
Своим ударом.

Суд близился.
Ни при какой беде
Я прежде не участвовал в суде,
Хоть равнодушных и судил стихами,
Оспаривал трусливый тезис их:
Мол, не корите никогда других,
Да некоримы будете и сами.
Мне, осуждавшему ненарочито,
На этот раз
Милей была защита.

Должно быть, потому
В момент потребный,
Когда назначен был процесс судебный,
Определен и день, и время дня,
Когда об этом цех предупредили,

На цеховом собранье утвердили
Общественным защитником меня.
Все знали, что годами, а не днями
Мы были закадычными друзьями.

О, русские слова,
В них свет и тьма,
Их родила История сама,
Доверила с корнями русским людям,
Чтобы во многих смыслах не блуждать:
Как, например, «судить» и «рассуждать»,
И «рассудить»...
Да мы все время судим!
Но слово «суд» при всяком разговоре
Уже томит предощущеньем горя.

Лишь только я ступил
В судейский зал,
Так силу слова этого познал.
Жуан сидел в особой загородке,
А около стояли с двух сторон
Два стража, представляющих закон,
Хоть вид его был виновато-кроткий.
На перегляд, возникший между нами,
Глаза прикрыл он
И развел руками.

Он ждал кого-то,
Улыбнулся нервно,
Когда явилась Марфа Тимофевна.
— Жуан, родной мой! — и не без вины
К нему метнулась всей телесной мощью.
— Гражданка, не положено!
— Я — теща!
— Доставлен не на тещины блины.—
И Марфа Тимофевна, не переча,
Перед законом
Опустила плечи.

Зал заполняли.
Глядя напряженно,
Переговаривались приглушенно,
Вздыхали, как вздыхали бы кругом
Перед началом скорбной панихиды,

Возникло личико Аделаиды,
Ушко мелькнуло нежным кренделькoм.
Зато у той, что больше виновата,
Не приходить на суд
Хватило такта.

Судейский стол
Стоял на возвышенье,
Подчеркивая как бы отрешенье
От суеты людского бытия.
К нему, своей обыденностью сходных,
Взошли два заседателя народных
И волевая женщина-судья,
В глазах которой и в суде не тухли
Живые огоньки
Домашней кухни.

Над судьями
В готическом разрезе
Голов превыше были спинки кресел,
Взлетавшие к Российскому гербу,
Наглядно утверждавшему серпасто,
Что именем страны и государства
Они вершат Жуанову судьбу.
Здесь, вопреки пословице известной,
Любого человека
Красит место.

При уточненье имени Жуана
Раздался смех уже не в стиле жанра.
Хосе Мариа Кармен дель Дайман
Тенорио Франциско де Перейро
Де лос Кондатос Риос дель Виейро
Кастильо Гранде Педро дон Жуан.
Но зала смех
Мой друг, лишенный чванства,
Отнес на счет
Испанского дворянства.

С глазами,
Поумневшими в раздумье,
Стоял он в том же праздничном костюме,
Что и во время драки был на нем.
Вот странность, о которой я не ведал:

Суду и прочим он отвода не дал,
Но вздул ноздрю при имени моем.
Заминка от суда не ускользнула,
Она меня, признаться, резанула.

Почти спокойный,
Пока шел допрос,
Он отвечал, казалось бы, всерьез,
А выглядел насмешником бодливым.
Ответы для людей со стороны,
Наверно, были очень уж странны.
Когда спросили, был ли он судимым,
С иронией ответил остряка:
— Всю жизнь.
— А поточнее?
— Все века.

Мой подзащитный
Разрушал, как мог,
Защиту, заготовленную впрок.
Уже в тюрьме подученный законом,
Немалую сумятицу он внес
Загадочным ответом на вопрос:
— Вы признаете ли себя виновным? —
Кого бы не смутил его ответ:
— Виновным — да,
А виноватым нет!

Суд — не игра,
А все же, все же, все же
Пружины их невидимые схожи.
Хоть на суде поглубже скрыт азарт,
Зато в страстях не меньше интереса.
Почти весь ход судебного процесса
Напоминает чем-то драмтеатр,
Где впечатляет голой жизни фактор,
Где гениален
И бездарный автор.

Здесь каждую написанную роль
Диктует непридуманная боль,
Душою пережитая и плотью.
Вот показует строгому суду,
Отяжелив Жуанову беду,

Все та же Худокормова Авдотья,
— А чем еще могли бы подтвердить,
Что он хотел
Гордеева убить?

— Как чем?! Да всем!..—
Сомненья отметая,
Заговорила простота святая:
— Все помню. Я охолодела вся,
Когда кровища потекла по рожам.
Я, говорит, стал тихим да хорошим,
А быть хорошим мне с тобой нельзя.
Нет, говорит, что будет,
Знать не знаю,
Прикокну и навеки закопаю.

Будь прокурор
Историк и психолог,
Он приподнял бы выше тайны полог.
В пример тому свидетельницу взять
С одним дефектиком правосознанья.
Когда она давала показанья,
Ей виделся ее драчливый зять.
Так друг мой,
Представляемый двухлицым,
Как в сказке,
Становился Черным принцем.

У жизни есть два плана:
Есть первичный
И есть вторичный,
План метафоричный.
Для всех законны оба, но когда
Два этих плана где-то совпадают,
Второй, высокий, сразу отметают,
Лишь первый остается для суда.
— Вы подтвердите? —
Прокурор — дотошно.
Жуан в ответ:
— Не помню, но возможно.

Жуана ранил
Раной ножевой
Вопрос об отношениях с женой.
И он представил, как жена и муж,

Все растоптав, с враждой и неприязнью
В суде друг друга обливают грязью
Из всех лоханей и всех грязных луж.
— Боюсь, что подменю с дурным азартом
Историю души
Случайным фактом.

Стол прокурора
Из дубовой плоти
От моего стола стоял напротив.
Тот прокурор, в суде не новичок,
Когда Жуан ответствовал вот этак,
Чуть оживлялся при его ответах
И на бумагах проставлял значок.
Те впечатленья чисто человечьи
Сказались после
В прокурорской речи.

В виду имея
Лишь реальный план,
Сказал он, как опасен хулиган,
Какое зло приносит честным людям,
А обществу и нравственный урон.
— История души?.. Нет, мы закон
Проклятым прошлым ослаблять не будем.
Нельзя же нам за каждую волну,
Как за морской прилив,
Винить луну!

Связав проступок
С донжуанским списком,
Назвал он ревность
Чувством подло-низким.
— А если бы за женщин в списке том,
Когда у тех пошли с другими встречи,
Наш подсудимый стал бы всех калечить
В своем негодовании святом? —
Мы даже вздрогнули,
Вопрос лукавый
Ошеломил картиною кровавой.

Мечтал я втайне,
Что Жуану с ходу
Своей защитой принесу свободу,

Но прокурор ослабил тезис мой,
Оставил только при надежде слабой
Переменить ему статью хотя бы
На сто десятую со сто восьмой.
Статьи, повышенные номиналом,
По кодексу
Нисходят к срокам малым.

Я начал:
— Уважаемые судьи,
За все, что вам скажу, не обессудьте,
В пристрастии моем не будет лжи.
Здесь в незавидной роли хулиганов
Правопреемник прежних донжуанов,
Но с новой биографией души.
Историю, когда она подвижна,
Судить не надо
Запоздало книжно.

Мы к новому
С поспешностью возможной
Всегда подоспеваем с меркой прошлой,
Когда у жизни меры новый спрос.
Так, как в семье:
Пока слезам уступим
Да милому сынку обновку купим,
Сынок, глядишь, обновку перерос.
Здесь можно все ж
Предвидеть вещи выброс,
Законы же не пишутся на вырост.

Был Дон-Жуан
В далекие года
Вполне достоин нашего суда,
Но не теперь, когда любовь и верность
Он оценил превыше многих благ.
Так что же вскинуло его кулак,
Неужто только ревность?
Нет, не ревность,
Не пьяный выпад,
Не слепая месть,
А подлостью поруганная честь!

О, наша честь!
Не в ссоре на пирушке

Погиб поэт, невольник чести, Пушкин,
Великий ум, отец большим умам,
Магической поэзии создатель,
Любви и красоты законодатель,
В грядущее путеводитель нам!
А Пушкин оценил пределом злого
Всего одно
Дантесовское слово!
Да, есть закон,
Но есть у миллионов
Авторитет неписаных законов,
Которые нас испокон пасут.
Приспело, чтобы с уголовным вместе
Существовал забытый кодекс чести,
Точней бы стал товарищеский суд.
— Дворянские замашечки!.. У нас-то?!
— А чем мы хуже всякого дворянства!

Хоть в чувствах
Люди разной глубины,
В делах любви и чести все равны,
К тому же, уважаемые судьи,
У Дон-Жуана больший повод был,
Чтобы явился гнев его и пыл,
По форме грубый,
Искренний по сути.
Его вину с оглядкою назад
Не ставьте в старый
Донжуанский ряд.

Блеснул я,
Как положено поэтам,
Таким психологическим курбетом:
— Мой подзащитный человек не злой,
Скажу вам более, такую личность
Страшит не наказанье, а публичность,
Тюрьма — укрытье, лишь бы с глаз долой.
Суд хмурился, но думал я, однако,
Что переплюнул
Самого Плевако.

Сел Дон-Жуан,
А не Вадим Гордеев,
Которому за все, что он содеял,
Ответчиком сидеть бы надо здесь.

В том факте, уважаемые судьи,
Что так жестоко их столкнулись судьбы,
Такая же закономерность есть,
Как в данном споре
Истинного с пошлым,
Как будущего
С незавидным прошлым.

Искал я
Аргументы веские:
— Его грехи для бога детские,
Ребяческие страсти не разврат...—
Связать я тщился порванные нити
В догадке той, что сам, как сочинитель,
В Жуановой судьбе был виноват.
Суды же в качестве авторитетов
До сей поры
Не признают поэтов.

Во время речи,
Мне казалось, веской,
Глядел я пристально на стол судейский,
Но обращал свой взгляд и на скамью,
Где Дон-Жуан, разъединенный с нами,
Сверкая потеплевшими глазами,
Чуть удивляясь, слушал речь мою.
Должно быть, прежде полагал он вчуже,
Что думал я о нем
Намного хуже.

Ему смягчал
Лица суровый очерк
Волос подросших темный козыречек,
Торчавший над его открытым лбом.
Он выглядел в каком-то свете новом,
Когда, после меня, с последним словом
Растерянный стоял перед судом.
— Что ж, отвечать готов и за прохвоста!
Я доверяю вам...—
Сказал он просто.

Мечтал я все-таки
И верил даже,
Что Дон-Жуан уйдет со мной без стражи,

Но мне звучат знакомые слова,
Ведущие к суровому пределу:
«Суд оглашает приговор по делу...»
А подоплека слов уже нова,
Особенно в результативной части,
Где под конец
Итожатся несчастья.

Нет строже фраз,
Прочитанных судьей,
Чем фраза «руководствуясь статьей»,
Что прозвучала, как «прощай, свобода».
Так судьи, несмотря на пафос мой,
Статьи придерживаясь сто восьмой,
Жуана осудили на три года,
В колонию, туда,
Где быть бы живу,
Не строгого, а общего режима.

Жуан отвесил
Чуть ли не поклон.
Готовый к худшему, подумал он,
Что суд ему явил большую милость,
Меж тем раздался в тяжкой тишине
Вздох, резко резанувший сердце мне:
— Когда же в мире будет справедливость! —
То не сдержала горя и обиды
Влюбленная душа Аделаиды.

Когда-нибудь да будет,
Боль-то в том,
Что будет не при нас, уже потом,
Уже потом, потом, потом, когда
Корысти всякие в былое канут,
Когда своим сознаньем люди станут
Все членами Верховного Суда.
Виновному, когда все это будет,
И полминуты лишней
Не присудят.

Все так и будет
По любви и страсти,
Но после нас, без нашего участья.

Как ни печально, мы признать должны
Всю диалектику всего судейства:
Законы достигают совершенства,
Когда они почти что не нужны.
И правосудье будет совершенней,
Когда уже не будет преступлений.

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.

М. Лермонтов

Как все же быстро люди, боль не теша,
В своих рядах заделывают бреши.
На всех постах —
Кто зав,
Кто зам,
Кто пред,
В достоинствах
Сомнительных и мнимых
Нет, говорят, людей незаменимых,
Зато и повторимых судеб нет.
Все судьбы человеческие тоже,
Как отпечатки пальцев, не похожи.

Вокруг лица,
Известного собою,
Случится ль что,
Все полнится молвою,
Дурной и доброй, но едва-едва
Успеет ставший притчей во языцех
С друзьями и постом своим проститься,
Как умолкает праздная молва.
Вот так и на заводе очень рано
Затмился образ моего Жуана.

Но до конца
Не рвутся связей нити,
Всегда найдется памяти хранитель,
Душа, а в ней заветный уголок,
Всегда найдется тот,
Кто слово скажет,

Кто бережно и вовремя завяжет
На роковом обрыве узелок.
И мой Жуан, прославленный всесветно,
Из памяти не мог уйти бесследно.

Но женщины
Иначе память полнят,
Они не головой, а плотью помнят.
Аделаида как бы самого
Жуана в своем сердце поместила,
Наташа между тем в себе носила
Уже затяжелевший плод его.
Большой Жуан помалкивал, усталый,
Все беспокойней
Становился малый.

Две женщины —
Два мира и два взгляда.
Куда же только не писала Ада,
Винясь в порыве горя и стыда.
Ходатайства ее теперь взлетали
Все выше по судебной вертикали,
До самого Верховного Суда,
Но все суды и в центре и на месте
Те письма оставляли
Без последствий.

Не так себя вела его жена,
Строптивая Наташа Кузьмина,
Хотя себя по-своему терзала.
Виновница Жуановой беды
С повинною не бегала в суды,
Просительные письма не писала,
А, муку молчаливую терпя,
Пыталась в страхе
Заглянуть в себя.

Она в себе,
Бунтующего рьяно,
Малюсенького видела Жуана
И думала, когда его родит,
То маленький, обиженный жестоко,
Глазами осужденья и упрека
Так сразу на нее и поглядит.

Тогда-то в голове ее соблазной
 Стал оформляться
Замысел ужасный.

Она решила
С долей эгоизма
Спастись той мерою антитрагизма,
Когда развод с души снимает грех.
Живущим обок разводиться мука,
А вот при осуждении супруга
Закон уже не делает помех.
Но в этих планах Кузьминой Наташе
Пришлось столкнуться
С Кузьминою-старшей.

— Дите под сердцем
Что тебе — лягушка,
В бездождье заскочившая в кадушку,
Чтоб захотеть и выплеснуть ее?
Не-е-т! — Тимофевна злее упрекнула.—
Ты самого Жуана копытнула,
Так сбереги же хоть его дите!
Когда себя еще сильней замутишь,
Как людям-то в глаза
Смотреть ты будешь?

— Но, мама!..
— Мама — уже двадцать зим!
— Да никакого выхода мне с ним!
— Не трожь!.. —
Тут мать заговорила, даже
Не замечая каламбурных нот:
— Нет выхода?.. Дите само найдет,
Да и тебе еще потом подскажет! —
Я думаю, не в радости был добыт
Вот этот мудрый
Материнский опыт.

Но опыт матерей
По многим точкам,
Как правило, не достается дочкам.
Любая мать в интимности своей
Должна хранить душевную опрятность,
Чтоб в сердце дочек

Сберегалась святость,
Земная неподсудность Матерей.
Зато границ не знающие речи
Не поучают дочек, а калечат.

Ах, если б все,
Что в жизни знала мать,
Да бестолковой дочке передать,
Ну, например, что той самой грозило
Не народиться с девичьим лицом,
Что мира не было с ее отцом,
Когда она в себе ее носила,
А родила, пренебрегая ссорой,—
Та стала и заботой
И опорой.

В семейных ссорах
Женщин и мужчин
Не так уж много коренных причин
Сходиться вновь, переборов напасти.
Есть просто-напросто привычки власть,
Есть властно обжигающая страсть,
Да, но ребенок
Даже выше страсти.
Он был и остается посейденно
Вершиной в треугольнике семейном.

Как истинная
Любящая мать,
Умела Тимофевна гнев сдержать
И перейти на тон спокойно-здравый.
Теперь она решила нежно гнуть,
Чтоб для семьи Наташиной вернуть
Порядок геометрии лукавой,
Когда семья во всех ее делах
Уверенно стоит
На трех углах.

Они сидели в горенке,
Как в детской,
Обставленной почти по-деревенски,
Да так и было по причине той,
Что тесаные, струганные ровно,

Сибирской кладки вековые бревна
Крестьянской отливали смуглотой.
Здесь было все не знавшими извода
Сработано для продолженья рода.

Жуан жену, как новизну из новин,
Сильней любил на фоне этих бревен,
Восторженней: «О, солнце ты мое!»
Теперь в ней —
Дочь ли, сын ли беззаботно
До красоты природно подноготной
Спешили распоясывать ее.
Наташа красивела. Мать недаром
Хотела внука в помощь этим чарам.

— Все поздно! —
Так, чеканя каждый слог,
Наташа начала свой монолог.—
Теперь со мной
Одно другого хлеще:
Как будто я уже давно не я.
Зачем семья мне, если от меня
Куда-то убегают даже вещи.
Хожу, как в заколдованном кругу,
И не могу найти для взгляда точку.
Все вещи вижу только в одиночку,
А вместе их увидеть не могу.
Продрогшая, стою, как на ветру,
К себе самой уже теряя жалость.
Все, кажется, в сознании распалось,
Все дробно, ничего не соберу,
Все смутно, непонятно, високосно...
Зачем семья мне?
Поздно, мама, поздно!..

Дочернее, пронзительное слово
Для Марфы Тимофевны было ново,
Не глупой девочкой предстала дочь.
Мать по-житейски ей помочь хотела,
Послушала ее и оробела,
Не ведая, не зная, чем помочь,
Лишь, прядки тронув жесткою рукою,
Всего-то и сказала:
— Бог с тобою!

Не знала мать,
Не слышала, что есть
У медиков в студенчестве болезнь,
Которая их запросто кокошит.
Научится иной почти все знать,
На части человека разбирать,
Собрать потом живым, увы, не может.
А из такого, милый мой читатель,
Как ни учи,
Не выйдет врачеватель.

Но все ж случилось,
Что не от бесед
Наташа Кузьмина ушла в декрет.
В том помогли не матери уроки
С ее чутьем роженицы-земли.
Нет, нет и нет!
Наташу подвели
Вошедшие в привычку монологи.
Произносила длинный монолог
И пропустила самый крайний срок.

Зато и оказалось,
Что вопрос-то,
Быть иль не быть,
Решился очень просто.
И стал заметен поворот во всем:
В делах, в поступках,
В разговорных нотах,
В неведомых еще вчера заботах —
Пеленках, распашонках, том да сем,
Что даже не приметила в истоме,
Как очутилась в нем...
В родильном доме!

Мне нравится,
Что в доме том крылато
Зовется помещение палатой.
Палата — это, братцы, высота,
Палата — это, знаете, по-царски.
Должно быть, исторические краски
Замешаны в том слове неспроста.
Мне даже нравится, что та палата
За множеством рожениц тесновата.

На этот раз она была тесна.
Наташу положили у окна,
Где по стеклу — фазаны и грифоны,
И стебли трав, и белые цветы,
Над белыми цветами с высоты
Свисали феерические кроны...
Но дальше рассмотреть,
Где ствол,
Где ветка,
Мешала бесноватая соседка.

Не описать,
Какой она была,
Как беззастенчиво она кляла
И жизнь дурную, и злодея-мужа...
Нельзя мне с поэтических высот
От только что описанных красот
Упасть и распластаться в мутной луже.
Не потому ли, что мужей здесь хают,
Их в этот дом
Врачи не допускают?

Не описать,
Всего и не опишешь,
Чего-чего здесь только не услышишь.
Все начинают разно — по уму,
По воспитанью и образованью,
По возрасту,
По росту и страданью,
Но все приходят к воплю одному.
Все разные во всем, они в палате
Находят общий вечный знаменатель.

Представьте,
Выше всяческого срама
Была там образованная дама,
Как говорят, не из простой среды,
Переводившая в период некий
В какой-то заводской библиотеке
С английского научные труды.
Так вот она
Без нравственного риска
Ругала мужа
Только по-английски.

Когда же боль сильнее обожгла,
Она уже на русский перешла,
Но говорила длинно, между прочим,
Звала врача:
— Ах, как нехорошо,
Как тяжко-тяжко...—
Черствый врач не шел,
А фразы становились все короче.
И наконец воспитанная дама
Вдруг выгнулась и завопила:
— Ма-а-а-а-м-а!..

Что говорить, и мы бываем тоже
В своих скорбях на даму ту похожи.
Нам кажется, что наступило то,
То самое — о, и дышать-то нечем,
А сами говорим такие речи,
Что в нашу скорбь не верит нам никто
В нас много многословья и рекламы,
Пока однажды
Не дойдем до «мамы».

Наташа б поднаслушалась, когда
Ее не наступила череда
Пройти рожениц огненное поле,
Но зубы стиснула, как удила,
И не заметила, что родила
Почти без громких слов,
Почти без боли,
Но, правда, породив буяна-сына,
Она весь день потом
Была бессильна.

Такой роженице,
Такой спартанке
Дивились и врачи и санитарки.
— Где совершенство тела, нам — покой,—
Заметил врач, держа ее в примере,—
А если бы рожать самой Венере,
Она б не знала боли никакой! —
Отнесся философски и к вопросу:
— По мрамору узнали?
— Нет-с, по торсу!

Дивясь Наташе,
Не считали дивным,
Что новорожденный был сам активным,
А между тем мальчишка был смышлен,
Мамаши помня план, имел свой опыт.
Должно, боясь, что передумать могут,
Явиться в жизнь поторопился он,
Родившись, не расплакался впустую,
А закричал,
Победу торжествуя!

То знак был,
Возглашенный не для стен:
«Вот я родился, ждите перемен!»
Да, если новой жизни единица
Приходит в мир, переборая тьму,
То в мире, в людях, вопреки всему,
Хоть что-то, но должно перемениться,
Иначе бы при постоянстве зла
Бессмысленной
Любая жизнь была.

Он в чем-то
Мать успел переменить.
Когда буяна принесли кормить,
Наташа как-то даже растерялась,
С опаскою взглянула на него
И, к счастью, не увидела того,
Чего еще недавно так боялась.
Теперь ему, кричавшему бунтарно,
Была уже за это благодарна.

Она ему,
Как делали кругом,
Грудным смочила губы молоком,
И он притихнул с первой теплой каплей,
Дорвался до груди и засопел,
Как будто этим выразить хотел:
Что мне до ваших
До семейных распрей!
Сознанье обретенного единства
В ней пробудило
Чувство материнства.

Родив, она постигла наконец,
Что значит муж ей, а ему — отец,
Представший в этот миг
Виденьем грозным...
У всех цветы, а им в седой рассвет
Достался лишь таинственный букет,
Меж рамой нарисованный морозом.
Как стыдно в унизительной уловке
Всем говорить,
Что муж в командировке.

А Тимофевне,
Жившей в прежнем стиле,
И мысли в голову не приходили
Здоровье дочки поправлять цветком.
Поскольку на пайке теперь их двое,
Носила не цветы, а едовое,
Чтоб дочь не оскудела молоком.
Но все калории приносов этих
Та отдала бы
За живой букетик.

Ей вспомнилось
Жуана благородство
Еще в поре их первого знакомства.
Была зима, такой же был мороз,
Летел колючий снег, гонимый ветром,
Когда Жуан за много километров
Ей розу настоящую принес.
Сберег ее, за пазухою грея,
От самой городской оранжереи.

Ей вспомнилось...
А что же делать кроме
Здоровой женщине в родильном доме?
Лишь вспоминать!
Читатель мой, прости,
Воспоминанья — памяти разминка.
Воспоминанья — долгая пластинка,
Лишь стоит ту пластинку завести.
Однако не было серьезней повода
Для них, чем в день
Ее больничных проводов.

В заказанном такси
Погожим днем
Они домой поехали втроем,
Как и позднее будет неизменно:
Наташа, сын, не ведавший всего,
И золотая бабушка его,
Спасительница Марфа Тимофевна.
В новейшей роли
С нежностью в глазах
Она держала внука на руках.

У центра где-то,
Развернувшись хлестко,
Шофер застопорил на перекрестке.
Дорогу преградил солдатский строй
С каким-то новым, весело взлетавшим,
Не пехотинским, а небесным маршем,
Рожденным под счастливою звездой.
Солдаты пели без трубы и альта,
Подогреваясь музыкой асфальта.

Мы, как летчики, как летчики, крылаты,
Только не летаем в небесах,
Мы ракетчики, ракетчики-солдаты,
Мы стоим при небе на часах.

Тверже шаг!
Где там враг?
Страшись ответа грозного!
Нам по велению страны
Ключи от неба вручены,
Ключи от неба звездного.

Кружит, кружит наша милая планета
В голубом и розовом цвету.
Наши умные и меткие ракеты
Берегут земную красоту.

Тверже шаг!
Где там враг?
Страшись ответа грозного!
Нам по велению страны
Ключи от неба вручены,
Ключи от неба звездного!»

Наташе после марша батальона
Представилась нестройная колонна,
Бредущая таежною грядой,
А в ней Жуан, исхлестанный ветвями,
С широкими и белыми бровями
И белою от снега бородой.
Хоть это даже романтично было,
Но все же у нее
Слезу прошибло.

Рождение ребенка —
Важный фактор,
Меняющий у женщины характер.
Заслышав голос своего птенца,
Мать вздрогнула, в лице переменилась,
Невнятный писк при этом умудрилась
Сравнить с напевным голосом отца,
Тем более в машине шум дорожный
Всем звукам создал
Как бы фон таежный.

Ах, дети, дети,
Где ваш глаз и слух,
Пока не клюнет жареный петух?
Наташе прежде было не до строя
Ни до солдатского, ни до иных...
При случае потом сравню я их,
Когда вернусь описывать героя,
Потом я разделю границей четкой
Чекан солдатский
С горестной походкой.

Насчет тайги,
Насчет пурги простудной
Наташе ошибиться было трудно,
Хотя фуфайка, теплые носки
Под сапоги, что Кузьмины прислали,
Жуана от простуд оберегали,
Но не от частых приступов тоски.
Еще ошибка: здесь не знали моды,
Все, как и в тюрьмах,
Были безбороды.

Любой отсидчик
Рвется из тюрьмы,

Уйти, как говорят, из-под «чалмы»,
В колонию, к природе, где в затишке
Свободнее житейский антураж.
Природа все смягчает, а пейзаж
Способен скрыть сторожевые вышки.
А кто того не видел и не нюхал,
Готов держаться
За тюремный угол.

В тюрьме после суда
С душой в кручине
Жуана оставляли даже в чине,
Ну, в роли вроде бы наставника,
Достойно наводящего порядки,
А если попросту, то в роли дядьки
В особой камере молодняка.
Однако, не имея в том сноровки,
Он к собственной
Стремился перековке.

Решая так,
Мой грешный друг мечтал
Попасть на новый «Беломорканал»
С такою же великою отдачей,
С таким же осветительным огнем,
С такой же вековой нуждою в нем,
С такой же давне-дальнею задачей,
Когда в труде
Под взглядом всей страны
Добрели ее падшие сыны.

Нам и сегодня говорит немало
Моральный опыт «Беломорканала».
Преступники, не чуждые стыду,
С умом и сердцем,
Если глубже вникнем,
Тем взглядом освещенные великим,
Меняются у мира на виду.
А мы уже и позабыли вроде,
Что нужен им
И Николай Погодин.

Ко времени тому
В Жуана влез

К вопросам социальным интерес,
К законам жизни и началам истин.
Что, как да почему?
Он стал раним,
Он мучился, что отбывали с ним
Не слуги страсти, а рабы корысти.
Их было большинство, позорно павших,
Совсем по-разному,
Но что-то кравших.

Ах, деньги, деньги!
У коварных денег,
Как ни крути,
Почти что каждый пленник.
Не виноват ли рубль, смахнувший грязь,
Отмытый, в Октябре переодетый,
Охотно ставший нашею монетой,
Однако с прошлым не порвавший связь?
Не сохраняет ли поныне оный
В себе самом
Старинные законы?

Хотя Жуан
В познаньях быстро рос,
Но не по силам поднимал вопрос,
Довольно острый и довольно спорный.
Тогда к услугам он имел, друзья,
Всего четыре месячных рубля,
Притом в ларьке по книжице заборной,
И то сказать, имел не постоянно,
А лишь потом
При выполненье плана.

Он в мастерской,
Посаженный за пресс,
Не тратясь на технический ликбез,
Своей работе научился скоро,
Как будто бы всю жизнь одно и знал,
Что из сухой пластмассы штамповал
Фигурный корпус электроприбора.
Так и глотал бы воздух он пахучий,
Когда б не подвернулся
Редкий случай.

Однажды начколонии, майор,
Вел с неким капитаном разговор
На тему, возникавшую не часто:
— Заказик тут на кресла есть один,
Нет, нет, не мягкие под дерматин,
А жесткие — для среднего начальства,
Но добрые, чтоб если сесть, так сесть.
Скажи, у нас
Краснодеревщик есть?

В колонии тогда,
Ему на жалость,
Краснодеревщика не оказалось.
— А кто же есть?
— Есть мастер-металлист,
Есть мебельщик, но по перепродаже,
Есть часовщик, есть плановик и даже
Конструктор есть и техник-протезист. —
Начальник почесал затылок: — М-да,
Давай-ка мне
Конструктора сюда!..

Со впалыми щеками в сизом дыме,
С глазами, как у ворона, большими
Жуан перед начальником предстал.
— Вы самолетчик?
— Да.—
К пострижке сизой
Начальник взглядом потянулся снизу,
Как будто друг в то время вырастал,
И начал странное для первой встречи:
— Я думаю,
Что кресло сделать легче.

— Не знаю.
— Все узнаете сейчас...—
Начальник начал излагать заказ.
Почти с волненьем, в мыслях ворочая
И временем не тратясь на огляд,
Жуан охотно взялся за подряд,
Как говорят, пошел напропалую,
Неосмотрительно беря в совет
Пословицу:
Семь бед — один ответ.

Казалось,
Что всю жизнь его звала
Так весело звеневшая пила,
Раскраивая ножки табуреток.
Прожилки, обнаженные пилой,
Запахли ароматною смолой,
Как пахнут по весне
Лишь лапы веток.
Под звон пилы таежный дух кедровый
Ему благовещал о жизни новой.

Но все ж
Была задача не по нем.
Летели ночь за ночью, день за днем,
А мозг его и замысла не зачал.
Он памятью летел во все концы,
Припоминал музеи и дворцы,
Где прежде насмотрелся всяких всячин,
Но вся Европа старая, хоть тресни,
Не подсказала
Ничего о кресле.

Но в творчестве
Частенько неудачи
Бывают от завышенной задачи.
Не заносись, мой друг, умерь полет,
А то и возвратись к земной отметке,
Шагни опять от старой табуретки,
Фантазия вновь силу обретет,
А уж потом-то будет не до смеха
Всем столярам
И мебельщикам века.

Почти на грани
Краха и паденья
Жуана охватило озаренье.
Ему сначала у себя в углу
Представить спинку кресла выпал жребий,
Похожую на модный дамский гребень,
Замеченный в Мадриде на балу.
На чертеже, уменьшенное вдвое,
Предстало вскоре кресло,
Как живое.

Начальник сразу
Поднял друга шансы:
— Красивое, хоть приглашай на танцы!
Да только где найдем материал?
Конечно, кедр сойдет, он точно розов,
Но спинка!.. Под карельскую березу!..
Чудесно, да, но кто ее нам дал? —
Тут распиловщик подал голос слабый:
— А не сойдут березовые капы?

Так называют
В черноте берёст
Бог весть с чего явившийся нарост,
Килою именуемый по-сельски.
Он весь в извивах, а извивы те
Почти не уступают красоте
Своей прославленной сестры карельской.
На третий день Жуан скользил по скатам
На поиск их
С охотником-бурятом.

Охотник из поселка
С давних дней
Здесь промышлял куниц и соболей,
Не раз встречался с мишкой-воеводой,
Знал от дерев-гигантов до куста,
Глухие украшавшие места
С их неживою и живой природой,
Где, промышляя, знатный Цыденжап
Частенько видел
Этот самый кап.

В одной низинке,
Вспугнутые лайкой,
Взлетели куропатки белой стайкой,
Охотник вскинул верное ружье...
По выстрелу в урочище таежном
Краснодеревщик наш
Вполне надежным
Увидел охранение свое,
Особенно потом, когда под елью
Они лапшу с курятиною ели.

То был привал!
А до того привала
Прошли две впадины, два перевала,

Поднявшись, задержались на одном.
Заснеженная даль чуть-чуть дымилась,
И все, что взору с высоты явилось,
Казалось не реальностью, а сном.
Восторженный Жуан с горящим взором
Хотел излиться
Нежным разговором.

Но с Цыденжапом,
Как и до сих пор,
Напрасно затевал он разговор,
Напрасно до поры искал в нем друга.
— А где Байкал?
— Э, там...
— Иркутск?
— Э, там...—
Охотник все показывал, а сам
Размахивал рукою на полкруга.
Ах, если бы не эта осторожность,
Не вспомнил бы Жуан
Свою острожность.

Они огонь приятельства зажгли
Не раньше, чем в распадине нашли
Четыре капа годных к пилораме,
Как я уже писал и вновь пишу,
Заправили домашнюю лапшу
Двумя ощипанными петушками.
А у Жуана, только бы кормежка,
Была всегда за голенищем ложка.

Теперь ему,
Поевшему отменно,
Пришла на память Марфа Тимофевна,
Ее стряпня, заботливость ее,
Столь зримая над скатертью из снега.
И не случайно.
Есть у человека
На близкие события чутье,
В котором может быть уловка даже:
Вдруг вспомнить тещу
С думой о Наташе.

В обратный путь
Уже на склоне дня

Их повела готовая лыжня,
Блестевшая в лучах незаметенной.
Мой друг летел пернатою стрелой,
Как будто бы спешил к себе домой,
К жене и теще, а не в дом казенный.
Там вечером, когда уже смеркалось,
Предчувствие Жуана оправдалось.

На тумбочке в углу,
Где спал сосед,
Еще с обеда ждал его конверт,
По службе вскрытый некими руками,
А в нем листок, а посреди листка
Зелененькие контуры цветка
С пятью наивнейшими лепестками.
Подумал: «Шуточки Аделаиды!» —
И скомкал,
Чертыхаясь от обиды.

Зачем бы это ей,
Не мог понять,
Листок разгладив, поглядел опять.
Таких цветов не видел он в природе.
Задумался:
«Цветок!.. Зачем цветок?..»
И вдруг его потряс догадки ток:
«Да это ж детская рука в обводе,
Да это ж сына моего рука,
Протянутая мне издалека!»

Да как он сразу
Буквиц не заметил,
Написанных по краешку:
«От Феди».
Глаза его зажглись: казалось, пар
Выбрасывал он вздутыми ноздрями,
Как свежими горячими углями
Не в меру перегретый самовар.
Так невменяемый
Впадает в радость,
А невменяемость в любви — как святость.

Пошла,
Пошла,
Пошла куда-то вкось

Ума и сердца золотая ось.
— Т-сс, он свихнулся! —
Фразы повторенье
Лишь вызывало подозренье к ней:
— Да это же рука любви моей,
Рука моей любви и примиренья!
Да это же рука, что, в мир явясь,
С обоих наших душ
Смахнула грязь!..

Друг оказался на свою беду
В то время у начальства на виду.
Меж тем сенсационное известье
И звание высокое «отец»
Его, такого пылкого, вконец
Душевного лишили равновесья.
А от начальства,
Чтоб избегнуть фальши,
В такое время надо быть подальше.

А тут еще ему,
Сама страстна,
Своих страстей добавила весна,
Тайгою закачалась подхмелевшей,
Рекою расковалась, сбросив плен,
И новым руслом — руслом перемен
Направила конфликт, давно назревший.
Но срыву не найти бы оправданий,
Когда б не эти
Комнаты свиданий!

Встречали в них
Мужей отгороженных
Весною понаехавшие жены
Из дальних городов и деревень.
Огнем любви и нежности сгорая,
Счастливцы уходили в двери рая
И возвращались лишь на пятый день.
Смотреть на них,
Блаженных от избытка,
Ревнивому Жуану стало пыткой.

В столярной,
Проходя свои этапы,
Пилились, гнулись и сушились капы

С далекой Цыденжаповой версты.
Жуан в горячке стал довольно часто
Оспаривать вмешательство начальства:
— Не вы, а я конструктор красоты! —
Жуан-отец, тоскуя о свободе,
Совсем забыл,
Что не на том заводе.

Уже назавтра,
Став на путь регресса,
Мой друг шагал на раскорчевку леса,
На заготовку смолянистых дров,
На просветленье просек долговерстных,
И вскоре душу просветлил он в соснах,
Так воздух был покоен и здоров.
Не странно ли,
Что, к лесу непривычный,
Он даже мыслить
Стал философичней.

На раскорчевке,
Размышляя днями
Над с кем-то,
С чем-то схожими корнями,
Зверьем и человеком в том числе,
«Природа,— думал он,—
Весь срок безмерный
В своей лаборатории подземной
Искала формы жизни на земле.
Еще не все взошло.
Нам и не снится,
Какая красота в корнях таится!

Взойти всему
Мешал огонь и бури,
Что не взошло,
Рождается в скульптуре,
В изваянных пеньках, корнях, сучках,
В причудливых извивах их и складках,
Как у Коненкова в его догадках
В его лесовичках-полевичках.
Нас лишь искусство в неком наважденье
Ведет к истокам
Нашего рожденья».

Примерно так
О чудесах корней
Он разговаривал со мной поздней,
Что позабавило меня, но вскоре
Печальным красноречием своим
Друг заразил меня любовью к ним,
Внушил смотреть, как говорится, в корень.
Но в корневищах,
В их узлах и плетях
Встречались больше
Змеи мне да черти.

Куда спешу?
Жуан еще корчует,
На верхней полке в камере ночует,
Тоскует, любит, суткам счет ведет,
Еще не зная, что в таежной хмари
Он отличится на лесном пожаре
И сократит свой срок на целый год.
Есть у любви особенное свойство,
Людей толкающее
На геройство.

Во знойный день
Был воздух весь пропитан
Парами леса, как парами спирта,
Хоть солнце, занимавшее зенит,
Едва светило в ореоле ложном,
И потому все ждали нетревожно,
Что их всего лишь тучка осенит
И покропит дождем, но осенила
Огня и дыма
Дьявольская сила.

Сначала,
Не сливаясь с хвойным фоном,
Огонь запрыгал по высоким кронам,
Куда-то пряча за собой следы.
Все подивились этакой безделке,
Поскольку прыгали всего лишь белки,
Как первые предвестницы беды.
Жуан подумал:
Может, средь проделок
Игра такая есть
У рыжих белок!

Потом на просеке
С рогами врозь,
Дыша ноздрями, появился лось,
Он к небу вскинулся, где солнце меркло,
С глазами уже полными огня,
Как будто вспомнил: где моя семья? —
И возвратился в огненное пекло.
Жуан подумал:
Может, зверь бедовый
Всего дивил
Губой своей пудовой!

Но вот,
Глухой озвучивая лес,
Стал нарастать и хруст, и резкий треск,
И гул, и дикий крик попавших в нети,
Как будто споенные сатаной,
Ломая все, ватагою хмельной
Бежали красно-бурые медведи.
Над просекой, чтоб взять ее нахрапом,
Уже и счета не было их лапам.

— Пожар!
— Пожар!
— Пожар! —
Ужасен в зной
Всепожирающий пожар лесной
С его огнем и нестерпимым жаром.
Как он изменчив, если поглядеть:
То бурым дымом пляшет, как медведь,
То огненным взлетает птерозавром,
То медлит,
То спешит в багряной злобе,
Чтоб воплотиться
В памятники скорби.

— Пожар!
— Пожар!
— Пожар! —
Уж не одну
Обуглил он за просекой сосну,
Как спичку, не одну спалил он елку,
Теперь же продирался сквозь кусты
По краю — к перемычке в треть версты,

Ведущей через просеку к поселку.
Жуан не оробел:
— Ва-а-лите лес!..—
И бросился огню наперерез.

С большим огнем,
Нагрянувшим на хвою,
Бороться трудно,
Как с большой водою.
Он понизу и поверху течет,
С ним в поджигателях любая палка.
Такая началась лесоповалка,
Что был часам потерян всякий счет.
Считали только у огня и ветра
В горячке отвоеванные метры.

Для многих —
Чем опаснее работа,
Тем выше мера нравственного взлета.
Жуан усталый, прислонясь к сосне,
Глядел на суету почти бесстрастно,
Лишь чувствовал и думал:
«Как прекрасно —
Стоять вот так, со всеми наравне!»
Сам Цыденжап, презренье поборовши,
Тряс за руку:
— Однако, ты хороший!..

Но строг закон.
Тушителей он истых
Вновь разделил на чистых и не чистых,
Одни — домой, другие в жалкий строй
С его в рядах дистанцией короткой,
С его особой жалостной походкой,
Которую обрел и мой герой.
Как обещал в начале сей тетради,
Сказать о ней
Теперь мне будет кстати.

Солдат на марше,
Говоря без лести,
Несет себя, как единицу чести,
А колонист, не зная что нести,
С руками позади,

С душой в полоне,
С плечами неподвижными в наклоне
Ногами приучается грести.
Хотя и оживило строй отчасти
В тот вечер
Чувство доброе в начальстве.

Начальство было радо,
Что в угаре
Никто не скрылся при лесном пожаре,
А каждый пятый бился, как орел,
Хотя для всех была опасность явной.
Особенно геройствовал чернявый,
Тот, с гонором, что кресло изобрел.
За что майор,
Прибывший к чернолесью,
Команду подал:
— Разрешаю песню!

Легко сказать!
У песен вольный мир.
Попробовали — вышло тыр да пыр,
Не стройно получилось и не стойко.
В том и загадка, что мотив простой
Заставил непривычный к песне строй
Заняться в ритме самоперестройкой.
Особенно когда Жуан бывалый
И в песне оказался запевалой.

Гей-гей, шевелите ногами,
Шагайте вперед веселей.
Судьба посмеялась над нами,
А мы посмеемся над ней.

Гей-гей,
Шагайте вперед веселей!

Гей-гей, мы слетели с орбиты,
С наземного сбились пути.
Сегодня за мятых да битых
Небитых дают до пяти.

Гей-гей,
Шагайте вперед веселей!

Гей-гей, разочтемся в утратах,
В душевных печалях своих.
Не будем искать виноватых
И сваливать все на других.

Гей-гей,
Шагайте вперед веселей!

Гей-гей, в нашей горестной драме
Погибнет и зло и злодей.
Судьба посмеялась над нами,
А мы посмеемся над ней.

Гей-гей,
Шагайте вперед веселей!

Душа иная,
Пока песню пела,
Пересмотрела собственное дело.
Мне дороги душевные суды,
Умеющие видеть, что подсудно.
В наш трудный век
Попасть в беду не трудно,
Труднее с честью выйти из беды.
Вот почему для самооправданья
Душе необходимы испытанья.

В судьбе героя нашего возник
Особенный, послепожарный сдвиг.
Неслыханно,
Негаданно,
Нежданно
Она взлетела сразу, как в броске,
Когда на отличительной доске
Вдруг появилось имя Дон-Жуана.
Все поняли, что значил этот знак:
Прыжок к свободе,
А не просто шаг.

Еще через неделю
При обходе
Врач подкрепил надежду о свободе:
Не из какой-то личной доброты,
Не из того, что слышал понаслышке,

Освободил его совсем от стрижки,
Бритья усов и даже бороды,
А по закону — это подтвержденье,
Что где-то близок
День освобожденья.

Не раз он укрощал
Порыв гордыни,
С надеждой встречи думая о сыне,
Не раз в нем горько плакался отец,
Не раз ночами, занятыми бденьем,
Сменялись ожидания сомненьем,
Сомнения надеждой. Наконец
Неспешная старушка Справедливость
Дала свободу
И сняла судимость.

Побритый,
При усах,
Почти чубатый,
С двухлетней половинною зарплатой
Он наконец-то вышел на простор,
Простившись без особого печальства
С друзьями-столярами и начальством,
Взгрустнув над креслом...
Кстати, до сих пор
В Иркутске, Красноярске повсеместно
Еще стоят жуановские кресла.

Таланты против прочих
В том колоссы,
Что чаще задают себе вопросы.
Когда иной живет навеселе,
Талант, идя к ответу, тратит годы.
Чем оправдать перед лицом природы
Свое существованье на земле?
Вот коренной из коренных вопросов! —
Сказал бы на сей счет
Любой философ.

Пока мой друг
Под музыку колес
Везет в себе мучительный вопрос,
Что породил талант, дотоль незнамый,
Давайте мы его опередим,

На крыльях легкой мысли полетим
За посланной Жуаном телеграммой
В ту пятистенку с Кузьминою-старшей,
С Наташею и бунтарем Федяшей.

В ту пору
У Федяши, у Голу́бы
Уже вовсю прорезывались зубы,
Уже улыбка на лице цвела,
Уже и по часам, а не по числам
Росли в его глазах оттенки смысла,
Слеза и то осмысленней текла.
Теперь Наташа даже замечала
Свое в нем
И Жуаново начала.

Он в их началах,
Вроде баш на баш,
Забавный представлял фотомонтаж
С чертами в состоянии раздора,
Но у природы много доброты,
Она, чтоб примирить его черты,
На то имела чудо-ретушера,
И Федя из презренья к разнобою,
Казалось, становился
Сам собою.

И мать,
А чаще бабушка сам-друг
Тетешкали его в две пары рук,
Капризы, взгляды брали на замету,
В науках воспитанья так росли,
Что малыша знакомить поднесли
К настенному отцовскому портрету.
— Вот папа твой! —
Ему сказала мама,
А тут и подоспела телеграмма.

Жена Жуана, напрягая лоб,
Перетрясала скромный гардероб,
Наряды, позабытые доселе,
Подолгу примеряла на себе,
Но, к ужасу, на ней, на худобе,
Все платья, как на вешалке, висели.
Мать, видя в ней утраченный объем,

Не стала охать.
— Ничего!.. Ушьем!..

Ушитая со стороны обратной,
Наташа стала даже элегантной,
О чем и не дозналась.
Знать бы ей,
Что муж ее, а он не похвалялся,
Вот за такими только и гонялся,
Особенно в Испании своей.
Скажу вам,
Стройность он любил в девчатах,
Высоких, по-цыгански площеватых.

А утром
На трамвае продувном
В коляске,
В охранении двойном
Федяша, любопытствуя не в меру,
К вокзалу повторив маршрут отца,
Доехал до трамвайного кольца
И покатил по роковому скверу,
Перечеркнув коляскою своею
То место боя,
Что прошло под нею...

Тем временем
На ближнем перегоне
В зашарпанном, расшатанном вагоне
Стоял Жуан в проходе у окна.
Мелькали потемневшие копешки,
Загончики неубранной картошки
С пожухлою ботвой у полотна,
Топорщился в следах колесных стежек
Подрезанной пшеницы
Рыжий ежик.

И мил был мир
В его земных трудах
С гирляндами стрижей на проводах,
С лошадкою и шустрым самосвалом,
С комбайном на дороге грунтовой,
С высоким небом,
С тучкой дождевой,

С великою загадкой даже в малом,
С последнею любовью, пьяной в дым,
Зато уж трезво
Выстраданной им.

Еще он пребывал
В мечтах немелких,
Состав уже пощелкивал на стрелках
И выгибался, сжатый с двух сторон
Вагонами и службами вокзала.
А встретит ли?
Вот что его терзало,
Пока цветами не зацвел перрон,
Пока не заприметил орлим оком
Свою жену, стоявшую с ребенком.

А та страшилась
Даже и глядеть,
Как из вагона этакий медведь
Устало выйдет, хмурый и косматый.
Жуан же, возвращаясь к миру благ,
Уже успел зайти в универмаг
И обернуться снова франтоватым.
— Смотри! —
И Тимофевны локоток
Тихонько подтолкнул
Наташу в бок.

Пока,
Огнем и ветром обожженный,
Супруг к ней шел
С улыбкой напряженной,
Она, самосудимая стыдом,
Она, самоказнимая, навстречу
Федяшу выше приподняв к оплечью,
Себя полуприкрыла, как щитом.
— Вот папа твой! —
Шепнула по наказу
Уже знакомую Федяше фразу.

Глазами любопытства
До испуга
Отец и сын смотрели друг на друга.
Родные дважды — кровью и судьбой,

Товарищи по временам опальным,
Как в четком отражении зеркальном,
Увидели себя перед собой.
Вносили некий элемент химеры
Лишь разные
Зеркальные размеры.

Глаза Федяши
В блеске интереса,
Как у отца, широкого разреза,
Глядели то смешливо, то всерьез,
А губы жили в перемене зыбкой
На тонкой грани плача и улыбки,
В соседстве близком торжества и слез,
При этом вопрошавшими глазами
Он то и дело
Обращался к маме.

Душа отца,
Воскресшая в пустыне,
Переживала все, что было в сыне:
Такой же интерес, восторг и страх,
Надежды и сомнения — казалось,
Что каждое движенье повторялось,
Явленное на Фединых губах.
— Иди ко мне, иди! — снижая звуки,
Он протянул
Натруженные руки.

Нет, как бы мамы сладко ни кормили,
Душа ребенка тяготеет к силе,
Сказать точнее —
К сильной доброте.
На зов отца Федяша отозвался
И сразу же, к восторгу, оказался
Что ни на есть на самой высоте,
У новой жизни на вершине самой,
Над папою,
Над бабушкой,
Над мамой.

Когда Жуан,
Герой заглавный наш,
Шагал с Федяшей, лучшим из Федяш,

Дотоль не видевшим отцовской ласки,
С женой и тещею, известной нам
По доброте и рыбным пирогам,
С коляскою, с котомкою в коляске,
Все думали:
«Счастливая семья!»
Не ведая того,
Что ведал я...

Спел песню я,
А если песнь поют,
Не голосом, душою устают.
Высоким не прикинусь перед вами,
Походкою не стану удивлять.
На цыпочках всю жизнь не простоять,
Большими долго не пройти шагами.
Шесть песен спел я про любовь земную,
О Муза-сваха,
Дай мне спеть седьмую!

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

О, донна Анна!

А. Пушкин. Каменный гость

Мой друг Жуан,
Мытарствуй не мытарствуй,
Семья как государство в государстве,
По-своему живущее века,
Изменчивое строем и размером,
В котором будешь если не премьером,
То уж министром-то наверняка,
С особым правом робкого совета
При выкройке домашнего бюджета.

Учти, Жуан,
В Сибири для устоя
Семья почти не знала Домостроя.
Жену любили, если горяча
Была не столько в кухне и ночевке,
Сколь равная на той же раскорчевке,
Умевшая, как муж, рубить сплеча,
Да чтобы ухитрялась, как ни трудно,
И матерью хорошей быть попутно,

На этой фразе я услышал вздох.
В ней усмотрев, должно быть, мой подвох,
Насмешливый Жуан почти бедово
Скосился глазом темным, как прострел,
И долго-долго на меня смотрел
С печальной высоты пережитого.
— Ну-ну,— сказал,— благодарю, учитель,
И засмеялся,—
Бедный сочинитель!

Сидели мы,
Приняв лишь по единой,
У тещи возле дома под рябиной,
Плодоносившей только первый год.
Жуан поднялся, с ней тягаясь в росте,
Три ягодки сорвал от спелой грозди,
Испробовал и покривил свой рот,
Да и позднее при тираде длинной
Так и остался с этой горькой миной.

— Мой друг поэт,
Ты думаешь, что я,
Я, Дон-Жуан, лишь выдумка твоя,
Лишь тени тень, живущая фиктивно?
Не льсти себе, хоть и приятна лесть,
Не ошибись, пойми — я был, я есть
Вполне осознанно и объективно,
Иначе бы любые испытанья
Не принесли такого мне страданья.

Мой друг поэт,
Не тщись из доброты
Воображать, что по несчастью ты
Влюбил меня, женил, толкнул к разбою.
Нет, милый, нет, сквозь радость и беду
Не ты меня, а я тебя веду,
Тащу тебя три года за собою.
Так в нашей дружбе, бывшей между нами,
Мы поменялись главными ролями.

Мой друг поэт,
Тебя в твоем стыде
Увидел я, ты помнишь, на суде,
Готового тогда к моей защите.

Да, да, хотел тебя я отвести,
От самобичевания спасти,
Себя же от тебя освободить и...
Ну, словом, подчеркнуть
Тем жестом странным,
Что чувствую себя
С тобою равным.

Когда Жуан за все мне отпенял
И, строгий, под рябиною стоял,
Решалась наша дружба — либо, либо?
Возвышенная в святости живой,
Рябиновая гроздь над головой
Горела и светилась вроде нимба.
Смущенный, встав,
Сказал я без лукавства:
— Дай руку, друг,
На равенство и братство!

Чем вызван в друге
Этот новый крен,
Какие же причины перемен?
То кресло ли его, лесной пожар ли,
Любовь ли, сын ли — жизни высший дар?
Жизнь, дорогие, интересный жанр,
Люблю работать в этом древнем жанре.
Но если быть в нем голым реалистом,
То будешь не поэтом,
А статистом.

В грядущее
Нужна вся наша сила,
Все, что до нас,
Что в нас,
Что с нами было.
В Жуане, если без обиняков,
Все впечатленья жизни стали купней
Ему его грядущее доступней,
Как выходцу из прожитых веков.
А человек, по замечанью тещи,
Чем умственней,
Тем опытней и проще.

У тещи
В одеянье кружевном

Красивым был ее старинный дом.
Весь с топора и лобзика всего-то,
Смотрелся он на самый строгий взгляд.
Жуан сострил:
— Напрасно говорят,
Когда хулят,— топорная работа!
Так смотрится, уже не бога ради,
Икона древняя в резном окладе.

Жуан шутил-шутил
Да как пальнет:
— Вся эта улица на слом пойдет,
Участок стал для города потребным,
А тещин домик с канителью всей
Есть предложенье вывезти в музей,
Открытый где-то под открытым небом.
— Эге, Жуан, не будешь ротозеем,
Глядь, домик станет и твоим музеем.

— Со мной не то,
В строительной программе
С моими, брат, не цацкались домами.
Хотел бы хоть в один вернуться, но
Мне всюду с ними просто наважденье.
Домов, где жил я, с моего рожденья
За ветхостью с десяток снесено.
Не будет места в той эпохе дальней,
О, друг мой,
Для доски мемориальной!

Так мы шутили,
Подобрев к домам,
С придумкою и правдой пополам
Припоминали прошлые проказы,
За словом не ходили далеко,
И было нам так вольно и легко,
Как будто и не ссорились ни разу,
Пока не стало видно из-под грозди,
Как в уникальный дом
Толкнулись гости.

В гостях сидел
С большим сознаньем прав
Почти что прежний свадебный состав,

Как вроде бы игралась на усадьбе
Не по годам отсчитанная в срок,
А по страданиям, что выдал рок,
Досрочная серебряная свадьба,
Но не кричали «горько» шумовато,
Поскольку въяве
Было горьковато.

Была на теще гения печать.
Достало б ей гостей поугощать
И тем же салом, тою же ветчинкой,
Картошкой, студнем из телячьих ног...
Так нет же, а сварганила пирог
С той самой рыбно-луковой начинкой
И «дурочку», прикрытую со сметкой
Под честною
Фабричной этикеткой.

Добро и зло —
Две стороны медали.
Вот выпили и с добротою стали,
Сердца открыли, сжатые в тиски.
Ну, что такое зелье?
Так — водица!
Но как свежо зарозовели лица,
Тугие развязались языки.
У бывшей в напряжении Наташи
Опали плечи
В памятном вальяже.

Какой-то дед спросил, беря пирог:
— Преуважаемый, а как острог? —
Старик был стар, но в памяти и силе,
Пожалуй, посильней внучат иных.
То был заглавный корень Кузьминых,
Отец отца Наташи — дед Василий.
— Острогов нынче нет! —
Мой тезка — в колкость:
— А если нет острогов,
Где же строгость?..

Что мой Жуан
Был встречен как герой,
Меня и то коробило порой,

Как будто он не лес пилил на трассе,
Не пни в глуши таежной корчевал,
А с некою задачей побывал
В почетной экспедиции на Марсе.
Наверно, проявлялся в тот момент
Судьбы сибирской
Некий рудимент.

Сибирь, мой край,
Затмивший все края,
О, золотая каторга моя,
Приют суровый праотцев бесправных,
Где барско-царских не было плетей,
Но лыко нам неведомых лаптей
С железом кандалов прошло на равных.
Народом ничего не позабыто,
Что в жизни поколений
Было бытом.

Сибиряку сама живая данность
Внушала и суровость и гуманность.
Почти в любой семье сибиряка
Для беглецов считалось делом чести
На самом видном и доступном месте
Поставить на ночь кринку молока.
И, тронутую грешными устами,
Крестили заскорузлыми перстами.

Сибирь моя,
В просторах безграничных
Ты принимала всех иноязычных,
У всех поныне свой особый лик,
Но все сильнее вечное стремленье,
Чтоб после вавилонского дробленья
Здесь снова обрести один язык.
Твои небостремительные башни
Уже давно затмили
День вчерашний.

Сибирь моя,
Ты вся в кипучей стройке,
Вся в переделке, вся ты в перекройке,
Любовь моя, ты вся из новостей,
А если вместе с «дурочкой» угарной

Был заведен мотив рудиментарный,
За то не будем осуждать гостей.
Таков порядок:
После крепкой влаги
Запеть надрывно
Песню о бродяге.

Не пела лишь Наташа,
С видом чинным
Неугомонным занимаясь сыном.
А Федя деловито, без конца,
Переходил, как ангел примирений,
С ее колен на теплоту коленей
Легонько подпевавшего отца,
Как будто этой хитростью наивной
Хотел связать развяз
Любви взаимной.

Жена сидела
Рядышком с Жуаном,
Дразня супруга профилем чеканным,
Девически смягчавшимся в былом,
Коса все с тем же золотым избытком
Ее венчала свитком, словно слитком,
Красиво свитым греческим узлом.
Отбившиеся локоны горели,
Как лепестки цветка
На длинном стебле.

По части стебельков
И прочих трав
Мой друг при опыте был не лукав,
А искренне смотрел на все, и даже
Все старшее в природе почитал,
Поэтому не о душе мечтал,
Мечтал о теле — тело было старше.
Меж тем бродяга песенный помалу
Лишь подошел
К священному Байкалу.

Есть в русской песне
Высшая отрада,
Дойдет до песни, ничего не надо,
Лишь песню дай — поющие не пьют.

И сам влюбленный в песенное диво,
Жуан впервые думал неучтиво:
«Черт побери, они еще поют!»
Тут вроде бы из-за Федяши в певни
Пришлось вмешаться
Марфе Тимофевне.

Так Федя
И на этот раз помог
Переступить той горенки порог,
Где бревна неприступные в оплоте
До сей поры его дивили той
Старинной первозданной простотой
И чистотой своей открытой плоти.
Они в линейно ровных строчках пакли
Еще, казалось,
Древним лесом пахли.

Подумал:
«Красоте не нужен лак».
Послушал: «Что ж Наташа медлит так?»
А как ей было, мучаясь расплатой
И продолжая в робости любить,
К нему через порог переступить
Бабенкою паскудно виноватой?
На шорох оглянулся по тревоге —
Жена уже стояла на пороге.

К застывшей у проема
Скорбным знаком
Жуан шагнул отяжелевшим шагом,
Да так, что пола заскрипел настил.
Наташа своей грешно-золотою
На грудь ему упала головою.
— Жуан, прости!..
— Мой сын тебя простил.
— А ты, Жуан? — заговорила снова.
— Молчи!.. Ни слова!..
Никогда ни слова!..

Не он ли
При долине перед взгорьем
Два года возносил себя над горем?
Не он ли у обрыва на краю,

Облаянный сторожевыми псами,
Мужскими, небегучими слезами
Два года отмывал любовь свою?
Превозмогая горести и боли,
Поднялся над самим собой
Не он ли?

Для страстного
Любовь — душевный оттиск,
А вместе с тем и смысла трудный поиск.
Но истина давалась нелегко,
Внушалась болью, вставшей над интригой.
Перед любовью вечной и великой
Все злое, однодневное — мелко.
Для страстного не может быть иначе,—
Простив однажды,
Страстный любит жарче.

Не помирила теплая постель,
Супругов не помирит колыбель
И не сведут любые комитеты,
И кто бы ни просил и ни грозил...
— Жуан, сначала свет бы погасил!..
— Пусть, пусть горит до самого рассвета!..—
Хотя любовь при свете лучше зрима,
Она стихами неизобразима.

— Молчи, молчи,
Не приступы стыда,
Придумали одежду холода...—
Жуан болтал с шутливостью игривой,—
Ты косы расплети по всей длине,
Люблю тебя на золотой волне
Лицом ко мне с улыбкою счастливой!..
Молчи, молчи!..—
Теперь, сказать не к ночи,
Заговорил он тише и короче.

Но в жарком буйстве
Расплетенных кос,
В глазах жены был некий парадокс,
Который женщину в любви прекрасит,
О некоей загадке говорит:
При жажде счастья взгляд ее горит,

При полном счастье почему-то гаснет.
А разве бы все это, небезгрешный,
Жуан заметил
В темноте кромешной?

Так в горенке
С любовью, страстно спетой,
Метался свет до сутеми рассветной.
Себя не ставя во главу угла,
Жуан при полном торжестве задора
Не вел себя нахально, как обжора:
Поел — и отвалился от стола,—
А как бы говорил хозяйке Нате:
Нет, нет, вы этот стол
Не прибирайте!

А утром,
Давшим счет хорошим дням,
Он обновленным встал по всем статьям,
По-новому решительным и смелым.
В колонии, затронутою ржой,
Он обновлялся смутною душой,
Но прозябал нетерпеливым телом.
Теперь, когда поднялся и умылся,
Душой и телом
Заново родился.

Чаевничать,
Опохмелясь слегка,
С остатками садились пирога,
А он, остывший, был куда вкуснее.
Жуан, настроенный на добрый лад,
Наташи перехватывая взгляд,
Лукаво переглядывался с нею.
Та отвечала, будучи польщенной,
Улыбкой сдержанной
И чуть смущенной.

А теща свой чаек,
Лицом тепла,
Стариночкой из блюдечка пила
На пальчиках широкого развода,
Подует и пригубит — благодать!
— Куда теперь пойдешь-то работáть?

— Куда?.. Да никуда, кроме завода.—
Жуана между тем на третьем годе
Почти совсем забыли на заводе.

Такой уж ритм
У жизни заводской.
Над плазами с тех пор корпел другой,
Уже другой руководил в цехкоме,
Директор, с ним и главный инженер
Уже другого ставили в пример,
Забыли в шумном коридорном доме,
Где с той поры, как стала тяжела,
Наташа уже больше не жила.

Работа — не обуза,
А потребность,
К работе есть особенная ревность,
Подвижник есть в профессии любой,
Но в самой трудной — самый ярый в споре.
Моряк, познавший штормы, любит море,
Шахтер, познав завалы,— свой забой,
Но изо всех ревнивых патриотов
Ревнивей всех
Строитель самолетов.

Не чудо ль,
Что простой бумажный змей,
Забава подрастающих детей,
Явился в мир надеждою крылатой,
В короткий срок успел себя явить,
Минувший век с высот благословить
И увенчать собою век двадцатый.
Не чудо ли, что в этом чудном чуде
Творят за чудотворцев
Просто люди.

Жуана поразила навсегда
Завзятая эстетика труда,
Та красота, что собрана помалу.
Ведь надо же увидеть и понять,
Что человека легче оживлять,
Чем жизнь давать холодному металлу
И придавать ему в пределах нормы
Разумные, причудливые формы.

Металл, он мертв,
Но все же в чувстве стиля
Не терпит безрассудного насилья —
Битья, рванья его тончайших жил,
Лишь в доброте к нему — залог успеха.
Все эти истины, как мастер цеха,
Жуану, между прочим, я внушил,
Когда он стал смотреть
В очках спесивых
На нас как исполнителей пассивных.

Любая самолетная деталь
Высокую несет в себе мораль.
Она ни в чем не терпит искажений,
Его создателя спасут от лжи
Стоящие на страже чертежи...
Недаром в бурях мировых движений,
В исканиях свободы зоркий Маркс
Поставил впереди рабочий класс.

— Ба-ба, Жуан!..
Не думал, не гадал!..
Давно не видел, где ты пропадал?..—
Знакомый руку жал, как другу, исто,—
А я уж думал, в Африке самой
Передаешь богатый опыт свой,
Там, говорят, нужны специалисты...—
Высокая Жуану льстила марка.
— Хоть и не в Африке,
Но было жарко!..

Был добрый знак,
Что встреча без оглядов
Произошла перед отделом кадров,
Где у всего начальства на виду
При должности замнача иль замзава
Работала тогда Попова Клава,
Знакомая по танцам в горсаду.
Хоть кумовство мы судим так и сяк,
Но все-таки знакомство
Не пустяк.

Та Клава,
Не смутясь,

Не суетясь,
С директором установила связь —
Из трубки голос вылетал басистый:
— Вы это про кого?..
— Да про того...
— А-а, да, припомнил — как дела его?
— Досрочно вышел, и притом по чистой...—
Смолк на минуту трубки звукомет.
— Свяжитесь с Главным,
Пусть к нему зайдет.

Когда мой друг
В прическе ореолом
На мой участок заглянул веселым,
Я догадался — все пошло на лад,
Все утряслось и вправду без оглядок.
— Ну, как, Жуан, с работою?
— Порядок! —
За друга я, действительно, был рад.
— Надеюсь, что не поступился стажем?
— Нет, нет! Назначен инженером старшим!

С тех пор мой цех,
Гудящий и гремящий,
Жуан стал посещать уже все чаще,
Но был ему мой цех не мною люб,
А тем, что мог в нем заточить стамеску,
Найти в углу какую-то железку,
Какой-нибудь диковинный шуруп.
Казалось, за такое упрощенье
Жуану даже не было прощенья.

Но работяга,
Если он не робот,
До странной страсти обретает опыт.
Освоив кресла в некоем краю,
Жуан, приобретя свой стиль и хватку,
Забраковал Федяшину кроватку
И начал конструировать свою,
Способную на качку и покат,
По сложности почти что агрегат.

Однажды, для нее брусок строгая,
Он видел, как прекрасна плоть нагая,

Как матово чиста, но миг спустя,
Когда стругнул еще, из-под фуганка
Явилась темно-розовая ранка,
Подобно следу ржавого гвоздя.
Еще, еще стругнул
И, ширя взгляд свой,
Увидел ранку
Темно-бурой язвой.

То был сучок,
По юности отживший,
По времени опавший и оплывший
Целебным соком не одной весны.
Так хорошо и так счастливо сталось,
Что на стволе березы не осталось
Ни пятнышка, ни малой кривизны.
Не будь Жуан в работе бесноватым,
И не узнал бы
О сучке чреватом.

Былой сучок в березовом оплыве
Хранился темной тайной, как в архиве,
Минула жизнь — и вскрылась тайна та.
Мой друг тот брус с возможною резьбою
Разглядывал, держа перед собою,
Как Гамлет череп своего шута,
И медленно цедил не без нажима:
— Невероятно и непостижимо!

Вдруг захотелось
В меру разуменья
Приобрести рентгеновское зренье,
Прозреть через какой-нибудь экран,
Пока никем не видимые сучья
Из глубины его благополучья
Не проступили зримо, как изъян,
Тем более что жизнь к усладе вкуса
Выглаживалась, как бока у бруса.

Но в том была
Не праздная забота,—
Жену, казалось, угнетало что-то.
Теперь он отмечал в ней без труда
То странную застенчивость и робость.

То странную ответную торопность,
То жгучий взгляд куда-то в никуда,
А красота в румяности осенней
Все ярче становилась
И надземней.

И вот Жуан,
Не мешкая с раскачкой,
Пришел ко мне с той самою болячкой.
А я шутил:
— Скажу, не осердись,
Чтобы вернулись легкость и свобода,
Вам надо было начинать с развода,
Сначала разойтись, потом сойтись.
Все взрывы ревности в твоих фугасах,
Все глупости
Оставил бы ты в загсах.

Невежда в психологии семейной,
Ты стал капризней барышни кисейной,
Ты упустил спасительный момент
Из глупых статистических приличий,
Стыдясь своим разводом увеличить
Супругов разводящихся процент...—
Он засмеялся, относя к потехам
Все это,
Но, увы, последним смехом!

Пока паслись мы
На ученой ниве,
Наташа становилась все красивей,
Хотя, казалось, чуточку бледней,
Но бледность только брови оттенила,
Да только губы ярче очертила,
Да только строгость подчеркнула в ней,
Да только подкрепила, словно в споре,
Высокую отчаянность во взоре.

Такое же,
А может, и капризней,
Бывает часто в яблоневой жизни.
Когда недуг ей корни поразил,
Когда коснулась гибельная хмара,
То яблоня цветет особо яро,

Истрачивая все запасы сил.
Но вот скажи, и все сочтут за бредни
Слова о том,
Что этот цвет последний.

Напрасно хоть в очках,
Хоть без очков
Заглядывать на донышки цветков,
Там не найти обещанную завязь.
— Какая жалость! — скажет, наперед
Беды не угадавший садовод,
Припоминая промахи и каясь.
Но покаяния звучат века,
Как самоотпущения греха.

У бедной Наты
В день и раз, и два
Покруживаться стала голова,
Тесниться грудь, тошнотка появляться.
Пожаловалась матери, а та
Заметила шутливо и спроста:
— Э-э, кто-то младший догоняет братца! —
И посоветовала, чтобы Ната
Пошла к врачу
За подтвержденьем факта.

Но оказалось,
Весь набор примет
Обманчив был, как яблоневый цвет,
Не давший сил приросту молодому.
Задумчивый, как белокрылый грач
В своем халате белом, старый врач
Наташу передал врачу другому,
Тот — третьему, а там вмешался четный,
И не последний,
А всего четвертый.

И как же было
Нате не смутиться,
Когда пришла машина из больницы
С высокой фарой, меченной крестом.
Жуана не было, с ночной укладки
Федяша еще спал в ночной кроватке,
А Тимофевна прибирала дом.

Наташу так и обожгло словами
Вбежавшей медсестрички:
— Мы за вами!..

— А что мне взять? —
На свой вопрос резонный
Реакция ее была мудреной,
Необъяснимой импульсом иным,
Как страхом, заслонившим все на свете.
— Ах, да, да, да! —
Она метнулась к Феде,
Как будто ехать собиралась с ним.
Лишь с плачем сына, сердце резанувшим,
Она оторопела, как под душем.

А тут бабуся подоспела кстати.
— Моя Голуба-люба, мой касатик! —
Напев заслышав, полусонный внук
Со всею непосредственностью детства
Заулыбался и предпринял бегство
Из судорожных материнских рук.
— Не паникуй! —
Сказала Тимофевна,
И Ната успокоилась мгновенно.

Но, сделав шаг
Из-под родного крова,
Наташа к Феде устремилась снова,
Да так, что впала в еле слышный стон
В каком-то новом приступе печали.
Разбуженный, испуганный вначале,
На этот раз не испугался он,
Лишь долго удивленными глазами
Глядел на маму,
Обращенный к маме.

В беде
Никто не знает меры бедствий,
А в раннем расставанье всех последствий.
Быть может, будет сын всю жизнь искать,
Как и отец искал со страстью странной,
Оставшуюся в памяти туманной
Неведомо похожую на мать.

Во всех исканьях будет этот образ
Ему путеводительней,
Чем компас.

Не так ли в детстве,
К жизни пробужденный,
Глядел я, Музою завороженный,
В глаза ее, внимателен и тих.
Как часто, наградив душевным жженьем,
Она ко мне являлась с утешеньем,
С надеждой в начинаниях моих.
Зато теперь, когда мой мир в расстрое,
Меня забыла и моих героев.

О, сжалься, Муза,
Возвратись, приди,
Несчастье от Наташи отврати!
О, Муза, Муза, искренняя вроде,
Ты, замечавшая и тихий плач,
Ведешь себя уклончивей, чем врач
В плохой больнице
При плохом исходе.
Тебя зову я, отзовись на поклик,
Спасеньем увенчай Жуана подвиг!

Я звал,
Я упрекал ее, она же
Сиделкою сидела при Наташе,
На этот раз реальная вполне.
Свой давний долг отсиживая честно,
Она Жуану уступала место,
Когда тот приходил к своей жене,
Со стороны глядела, видя диво:
Как он красив
И как она красива!

У скромницы
И у скандальной тетки,
Почти у всех в больнице лица кротки.
Там все мы, все — и ты, и он, и я,—
Почувствовав себя намного бренней,
Становимся добрее и смиренней
Пред мрачной вечностью небытия.

Еще живем, но будет же решаться:
Кому уйти,
Кому пока остаться.

У многих неприятий
И приязней
Немало остается скрытых связей,
Не ставших связью зримой и прямой.
Однажды с послаблением недуга
Наташа стала умолять супруга:
— Мне лучше, забери меня домой! —
Тогда и повстречалися друг с другом
Мой друг Жуан
С гордеевским хирургом.

Тому бы знать,
Что, хоть ролями разны,
Они к событью одному причастны,
А поточнее — к личности одной,
И каждый дело делал без отсрочек:
Жуан, как разухабистый раскройщик,
Хирург, как многоопытный портной,
Что речь пойдет с надеждою вмешаться
О жертве жертвы
Этого красавца.

А знай он
Всю историю живую,
Свою с ней связь, такую узловую,
Помог бы этот узел расплести,
Ведь признавать бессилие не просто:
Суметь спасти Гордеева-прохвоста,
А вот Наташу не суметь спасти.
Но, ничего не ведая об этом,
Он спрятал руки:
— Слово терапевтам.

Тоска по Феде
У Наташи вскоре
На время заглушила боль от хвори.
Хоть не врачам, а только ей самой
Казаться стало, что она здорова,
А потому и запросилась снова:
— Мне легче, забери меня домой! —

Врачи про Нату что-то больше знали,
Но все-таки
Задерживать не стали.

На лестнице
В домашней кацавейке
Наташа пошатнулась на ступеньке.
Но не успела выдохнуть и «ах»
Обескураженной и удивленной,
Как, поднятая над плитой бетонной,
Притихла на Жуановых руках.
О как на этот раз она, несома,
Была легка,
Почти что невесома!

Жуан заторопился, зашагал
Так, будто бы Наташу умыкал,
Боясь услышать окрик за плечами,
Нет, не врачей, а неузримой той,
Которая следит с недобротой
За трудными больными и врачами,
Чтобы самой, скучавшей не при деле,
Однажды встать
У роковой постели.

Жуан, сходя,
На лестничных пролетах
С Наташей виражил на поворотах
И снова шел в пике, суров и лих,
С такой неоспоримостью побега
Заспорившего с горем человека,
Что встречные шарахались от них.
А он спешил с ней, словно из угара,
Из пламени
Таежного пожара.

Не зря Наташа
В страхе и надломе
Затосковала о родимом доме,
О горнице, где родилась она,
Где ярче материнского подола
Ей памятна любая складка пола,
Где ей сподручна каждая стена.

Здесь, дома, в обстановке завсегдашней,
Болезнь и та
Становится домашней.

Довольная Наташа замечала,
Что на душе Жуана полегчало.
Казалось, уже виделся просвет
И жизнь уже светлела понемножку,
Как в палисадник узкое окошко
К зиме, когда на ветках листьев нет.
Так, слабому здоровью не противясь,
Болезнь притворно
Ослабляла привязь.

Но вдруг привиделось,
Что тихо-тихо
Какая-то курносая ткачиха
На ветхом стане темный холст ткала.
Челнок мелькал легко и бирюзово,
Уток сверкал, а темная основа
К ней в душу протянулась из угла.
И вот тканье, навитое на валик,
Ткачиха та
Взяла на притужальник.

Ей стало больно,
Но в работе срочной
Зигзагом бегал огонек челночный,
Все продолжал светиться и мелькать.
Основы темной натягая жилы,
Ткачиха полоротая спешила
Свое тканье нездешнее доткать.
Сопротивлялось, билось, не хотело
По жилочкам
Разматываться тело.

— Ткачиха!.. Стой!..—
Вскричала Ната, видя,
Как посветлел настрой душевных нитей,
Давно ли цветом равных с темнотой.
О, значит, вновь чиста и вновь здорова,
Коль стала в ней душевная основа
Раскручиваться пряжей золотой.
Ткачиха дрогнула, вскочила с места.

Наташа прошептала:
— Наконец-то!

Жуан не знал,
Сидевший у постели,
О чем она?
В бреду ли?
В тяжком сне ли?
Тревожный, он не мог найти никак
К чему-то цельному и даже следа
В порывах чувств,
В обрывках сна и бреда,
В обломках мира, павшего во мрак.
Все, как мираж,— вот был и нет миража.
— Ну, что?.. Ну, что?.. Что, Ната?..
О, Наташа!..

На грани жизни,
На исходе грана
Она еще услышала Жуана,
Глаза открыла, тотчас их прикрыв,
Как бы от света,
Свет был слишком светел.
Вскочив его тушить, Жуан заметил
Наташи протестующий порыв.
— Пусть, пусть горит! —
Сказала тихогласно.—
Пусть светит до рассвета! —
И погасла.

И тихо-тихо стало,
Что в затишке
Тишей не пробежать и тихой мышке,
Стал тихим дом, за домом мир стал тих.
Почувствовав себя несчастно пришлым,
Жуан рыдал рыданием неслышным,
Упав лицом в ограду рук своих,
Но и за нею видел тонкобровый
Наташин профиль
Строгий и суровый.

Жуан не слышал,
Как, придя для смены,
Запричитала Марфа Тимофевна,

Бесслезно повела печальный сказ,
Неспешно жизнь дочернюю итожа.
— Красавица моя, да на кого же
Федяшу ты оставила и нас? —
При этом поправлять не забывала
Ей веки, прядки,
Руки, одеяло.

Во исполнение ее завета
Свет яркий не гасили до рассвета,
До полного исхода темноты.
А утром, когда стал уже не в новость
Ей смерти страх,
И строгость и суровость
Покинули Наташины черты.
Казалось, кто-то в ней, уже любезный,
Смягчился и разжал
Кулак железный.

Как школьницу
Когда-то в первый класс,
Наташу наряжали и сейчас,
О новой школе зная понаслышке,
Не ведая ее учителей,
Не зная толком и программы всей,
Какие там в ходу стихи и книжки,
Какие там уроки в толще стен,
Какие сроки вечных перемен.

Друзей-свидетелей
Ее урока
На этот случай было много-много,
Они за гробом рядом шли со мной,
Иные сетуя, иные плача,
Решая для себя ее задачу,
Лишь при смерти решенную самой.
Задача та с ее концом фатальным
Ко мне пришла
Под знаком интегральным.

Случалось быть наедине с бедой,
В бессилии перед бедою той
Я говорил себе: живи, как травы,—
Прольется дождь, цветком в росе гори,

А засуха сожжет тебя, умри
Другим без пользы,
Для себя без славы.
Но возникал вопрос невольный сразу:
Тогда зачем же человеку разум?

А если есть,
Зачем он не глубинный,
Не полный, а какой-то половинный?
Пусть страхов стало менее в числе,
Но все равно мне горестно и больно,
Что столько зла блуждает бесконтрольно
На нашей изумительной земле.
Нам истины даются у могилы:
Наташа — жертва
Этой темной силы.

Когда земля
На гроб упала с гулом,
Впервые друга видел я сутулым,
Позволившим беде себя согбить,
Ошеломленным кровною утратой.
Какою непомерно тяжкой платой
За истины приходится платить,
Чтобы ему и всем от злого мрака
Вперед шагнуть
Хотя бы на полшага!

Средь Кузьминых,
Всех родственников их
Здесь было много наших заводских,
С тоской в глазах
Стоявших не для вида,
А в меру старой памяти их дружб,
По обязательству совместных служб,
Услуг взаимных, лишь Аделаида,
Пока Жуан не отошел последним,
В слезах стояла
За крестом соседним.

Мне приходилось замечать не раз:
Уход кого-то сплачивает нас,
В процессии ухода мы едины,
Нас музыка печальная ведет,

Никто не забегает наперед,
Держась благоразумной середины.
А после наши связи уже хрупки —
Похоронив, мы делимся на группки.

Шел первый снег.
Два срока есть в году,
Оберегающие красоту
С особой ревностью за человеком:
Цветение и снегопад, что сам
Догадливо прикрыл могилы шрам
Своим неторопливым первым снегом,
Но для рубца, горевшего багрово
В душе Жуана,
Не было покрова.

Он понял,
Что в душе его отцовой
Необходим для сына Феди новый
Почти что материнский уголок.
Пусть будет нечувствительным к утратам,
Пусть вырастает смелым и крылатым
Торителем космических дорог.
Да, да, пусть женский,
Черт возьми, халатик
Не затмевает красоты галактик.

Так рано
К слову доброму «отец»
Прибавилось недоброе «вдовец»
С его ходячим вариантом «вдовый».
Теперь, в любви родительской горяч,
Даже во сне заслышав Федин плач,
Жуан вставал, помочь ему готовый,
Готовый с человечностью предельной
Его утешить
Песней колыбельной.

Спи-засни, мой сыночек,
Подрастай, мой росточек,
А когда подрастают,
Дети спят и летают.

Как закроются глазки,
Полетишь ты, как в сказке,
Над родною землею
И над Бабой Ягою.

У старухи, у злыдни,
Нет заботы о сыне,
У старухи, у злючки,
Нет ни внука, ни внучки.

Злыдня зла не скрывает,
В старой ступе летает,
Вместо крыльев над мглою
Машет грязной метлою.

Спи-засни, мой сыночек,
Окрыляйся, росточек,
Подарю тебе с былью
Настоящие крылья.

Полетишь ты далеко,
Полетишь ты высоко
Над родною землею
И над Бабой Ягою...

Читатель милый,
Вспомни, что в начале
Мы песни запевали без печали.
Счастливые концы всего милей,
Но я писал без мысли, чтобы легче,
Нет, не стихи, а судьбы человечьи
В мучительных исканиях путей,
В исканиях любви — до пониманья
Ее, как высшего
В нас достоянья.

Все беды,
Лезущие даже в строчку,
Увы, неотвратимы в одиночку.
Нам не дано самим изобрести
Свой легкий путь,
Свою любовь и нежность.
К трагедии приводит неизбежность,
А к драме может случай привести,

Хотя и случай, будучи нечаянным,
В ряду других
Бывает не случайным.

Что мне сказать,
Тоской не бременя,
Когда о счастье спросите меня?
Скажу вам, склонный
К прежнему пристрастью:
Большое счастье — это, на мой взгляд,
Не только сам конечный результат,
Но и дорога, что вела нас к счастью.
И пусть никто из нас не забывает,
Что в чистом виде
Счастья не бывает.

А если так,
Зачем иных старанья,
Чтоб приуменьшить наши испытанья?
Ведь если счастье нам далось трудней,
То радость и торжественней и выше.
А если это так, зачем самим же
Обкрадываться в гордости своей.
Суровый счет ведите неудачам,
Особо тем,
Когда за всех мы плачем.

Да будет слово
Громом и набатом.
Суровый счет ведите всем утратам,
С пристрастием судите — чья вина?
Да будет вериться, что в наших буднях
Кому-нибудь на трудных перепутьях
Задаст урок Наташа Кузьмина,
Как жертва сил, пока еще несметных,
Не только темных,
Но и полусветлых.

Большой урок,
Не подчиняясь срокам,
Для всех времен становится уроком.
Безоблачной мечтая видеть даль,
Но кое-что уже предвидя кроме,
Мы мужеству учились на «Разгроме»

На том пути, «Как закалялась сталь».
О, если б и моя строка крепила
На стройке века
Хоть одно стропило!

И если бы
При виде тяжких мук
Обиженному другу верный друг
Сказал однажды, поздно или рано:
— Из многих книг, а их хоть пруд пруди,
Ты книгу, если есть она, найди
И перечти «Женитьбу Дон-Жуана»! —
Тогда б я и за гробом верил страстно,
Что жизнь свою
Потратил не напрасно!

1973—1977

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

Федоров В. Д.
Ф33 Поэмы. — М.: Худож. лит., 1983. 447 с.

В книгу вошли избранные поэмы, написанные в 1943—1977 годах: «Лирическая трилогия», «Ленинский подарок», «Проданная Венера», «Седьмое небо», «Женитьба Дон-Жуана» и др.

Ф $\frac{4702010200-143}{028(01)-83}$ 75-83 **Р2**

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ФЕДОРОВ

Поэмы

Редактор
Н. Крюков

Художественный редактор
Ю. Боярский

Технический редактор
Л. Зайцева

Корректоры
Т. Сидорова и В. Шахова

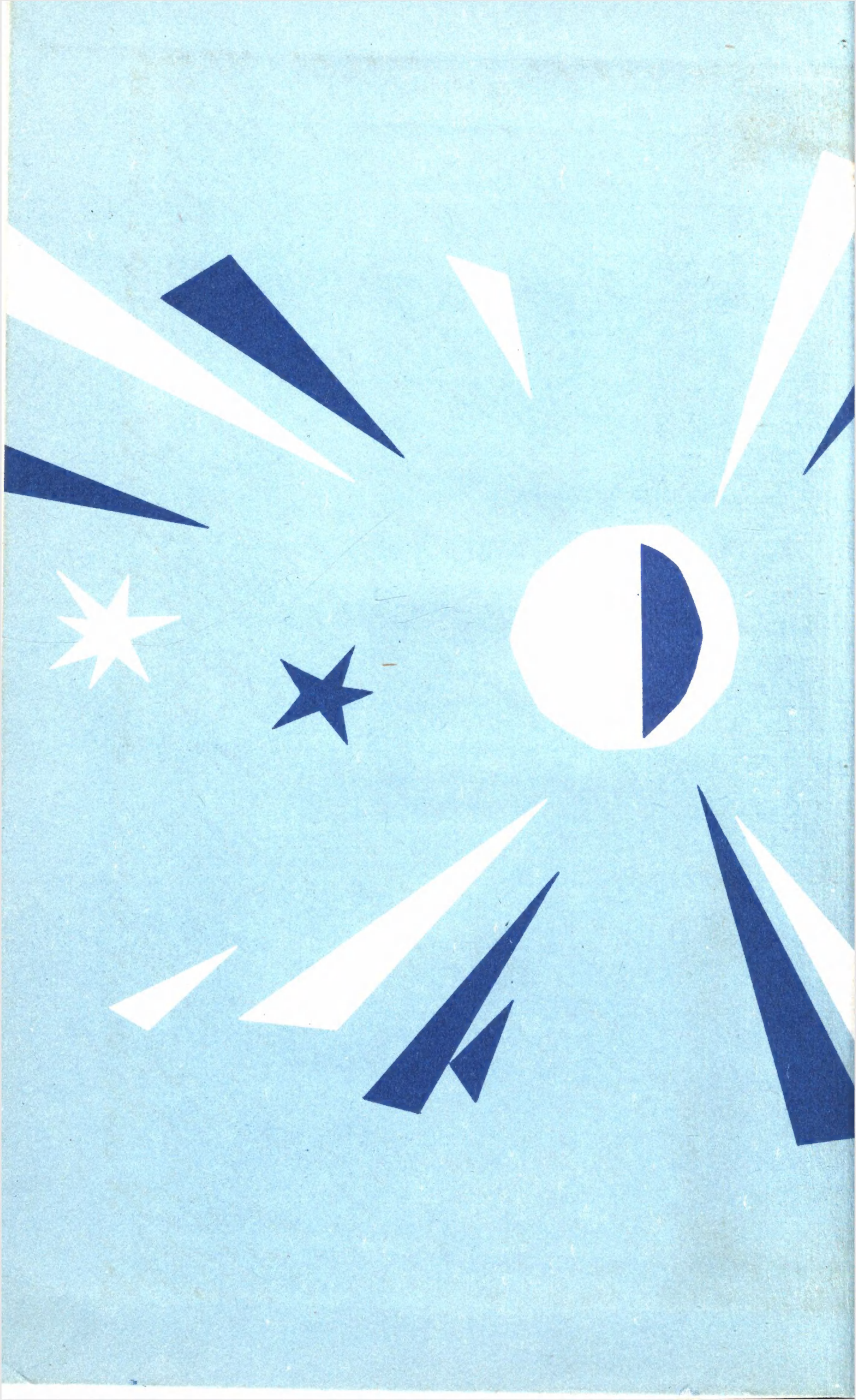
ИБ № 3159

Сдано в набор 29.07.82. Подписано к печати А07950 от 24.02.83. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 23.52+1вкл.=23,57 Усл. кр.-отт. 23,99. Уч.-изд. л. 24,7+1 вкл=24,73. Тираж 75 000 экз. Изд. № III-767. Зак. № 324. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78. Ново-Басманная. 19

Набрано и сматрицировано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект. 29

Отпечатано в Ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193144, Ленинград, ул. Моисеенко, 10.



2р. 80к

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ